



ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 7/2010

- *Инна Кабыш*
Я пропела
Стихи
- *Николай Веревошкин*
Зуб мамонта
Летопись мертвого города
- *Алексей Торк*
Участковый Рустам
Рассказ
- *Александр Джумаев*
«В вероучении моем равны
и правоверный, и неверный»
- *Дмитрий Шеваров*
Твёрдый переплет

7'2010

ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

7'2010

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Инна КАБЫШ. Я пропела. Стихи	3
Николай ВЕРЕВОЧКИН. Зуб мамонта. <i>Летопись мертвого города</i>	7
Темур ВАРКИ. Странное место для жизни — Москва. Стихи	72
Алексей ТОРК. Участковый Рустам. <i>Рассказ</i>	76
Вячеслав АНОСОВ. Б.Б. <i>Рассказ</i>	81
Алтынай ДЖУМАНАЗАРОВА. Ломаная линия. Стихи	94
Казат АКМАТОВ. Забытая застава, или Тринадцать шагов	
Эрики Клаус. <i>Повесть</i>	96
Гузаль БЕГИМ. Тень порхающего листа. Стихи. <i>С узбекского.</i>	
<i>Перевод Николая Ильина</i>	121
Елена КЛЕПИКОВА. Алма-Атинские быльки. (<i>Странички из истории нашего Города, или Маленькие рассказы о любви</i>)	123
Айгерим ТАЖИ. По подобию птицы. Стихи	137

Публицистика

Саодат ОЛИМОВА, Музаффар ОЛИМОВ. Мигранты в зоне кризиса	141
--	-----

Нация и мир

Александр ДЖУМАЕВ. «В вероучении моем равны и правоверный, и неверный». <i>К историко-культурным основаниям нашего единства</i>	157
Султан ЯШУРКАЕВ. Царапины на осколках. <i>Фрагменты Книги второй. Продолжение</i>	171

Критика

Лев АННИНСКИЙ. «Для вас — бред, а для меня — нет».	193
Из цикла «Последние идеалисты»: Андрей Вознесенский	199
Дмитрий ШЕВАРОВ. Твёрдый переплет	212
Тофик МЕЛИКЛИ. Назым Хикмет в Москве. (1951—1963 годы)	212

Эхо

Объятие свободы. Рубрику ведет Лев Аннинский	221
Summary	224

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И



МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (МФГС)

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр
КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЕДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, Эльчин,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2010

Инна Кабыш

Я пропела

В Степанакертском музее

На стенах — фотографии убитых,
в витринах — пули,
 сумки,
 фляжки — быт их,
и мама-Галя, наш экскурсовод,
нам говорит про маленький народ
и про одну его большую душу,
про танки,
 «грады»,
 вертолеты,
 Шушу.

Такая уж досталась ей работа.
— А этот?— Был у матери один,—
ее рука скользит от фото к фото.
— А эти?— Братья.
— А вон тот?— Мой сын.

* * *

Тот грузин, на рынке продавец,
торговал домашней «Изабеллой».
Рынок срыли. И пришел конец —
не застольям,
а эпохе целой.

Целой жизни — уж какой была,
и любви — какая уж досталась.
Я б в гробу хрустальном проспала
бабий век оставшийся да старость.

Мне его вовеки не забыть —
как звезда, рубинового цвета.
«Что мне пить?» — в ответ:
«Куда ж нам плыть?»

Впрочем, я и не ждала ответа.

Тамарин двор

1.

Я снимаю нынче дачу старую,
я живу бок о бок с баб-Тамарою.
Баб-Тамара — золото-брильянт.
И один лишь у нее талант,
но такой, что стоит наших всех.
У соседей — песни-пляски-смех
А у нас покой и тишина.
И мой стол — у самого окна.
Из него — немытого, без штор —
станция видна — Шатураторф.

2.

Все не свое мое — заемное:
и эта дача, и этот сад,
и это небо над ним огромное,
и эти сливы, что в нем висят.
И эти чучело огородное,
и шланг змеящийся, и струя.
Вот и в стихах моих слова — народные
и только музыка одна моя.

3.

Больше нет у нас очередей,
только эта вот — в дачный ларек:
и, казалось бы, столько людей
и когда еще выйдет твой срок.
Но то этот исчезнет, то тот:
вроде был — и уже его нет.
— Ваша очередь! — кто-то зовет,
и из тени выходишь на свет.

4.

Я принесу тебе воды
в бутылке из ларька:
невелики мои труды,
вода моя легка.

Ведь кто-то матери моей
в небесном том краю
сейчас дает вот так же: «Пей!»
как я тебе даю.

5.

Смотрит «Время» нищая старуха,
хоть глаза давно уже не те,
хоть уже и слышится вполуха:
что ей в нем — на финишной черте?

А она жалеет террористов,
но не всех, а только молодых:
«Это с автоматом он неистов,
а без автомата он жених...»

И скинхедов жалко ей, и черных:
«Тоже люди», — говорит она.
А еще артистов и ученых:
то-то жизнь, поди, у них трудна.

Не клянет погодные прогнозы:
«Это нам дожди одна беда,
а они, — кивает на березы, —
а оно», — на поле у пруда.

Обещают повышение пенсий —
«Вот спасибо, — говорит, — сынок —
президенту. — Деньги, чай, полезней
мог потратить».
— Господи, не мог!

* * *

А с бориславской черешни —
старой и толстой, как дуб,
мама смотрела нездешне —
с ягодкой красной у губ.
Мама была молодая —
вдвое моложе меня —
сверху черешню кидая
и за собою маня.
Было и страшно, и сладко
в небо, где мама, смотреть,
и приходила разгадка
к старой загадке про смерть:
если все выше и прямо,
жизни не будет конца —
только всегда будет мама.
...Пусть даже нету Отца.

Десять лет без права переписки

Десять лет без права переписки —
вот как я бы это назвала.

а стихи —

 клочки они,

 огрызки,

только чтобы сунуть в глубь стола.

Я ее у Бога не просила,
да Всевышний и не Дед Мороз,
значит, есть во мне такая сила,
чтобы гибнуть столько лет всерьез.

И хотя к концу подходят сроки,
я-то знаю, что конца им нет.

И бегут беспомощные строки

в глубь стола

без права на ответ.

...Я когда-то в школьном пела хоре

(или, может, это был детсад?):

есть любовь соленая как море,

не приходят из нее назад.

* * *

Ох, ты глупая голова,
голова моя золотая,
я же слушаю не слова —
я на голос твой залетаю.
Слов и я знаю через край —
силу их,

 высоту

 и градус.

Но вот ты говоришь «прощай»,
а я чувствую только радость.

* * *

Милые бранятся — только тешатся.
От такого счастья впору вешаться.
Я такого счастья не хочу.
Я устала, понимаешь, милый?
Я пошла б к знакомому врачу
и тебя бы вырезала силой
из себя.
Но от меня тогда
в мире не останется следа.

* * *

Прощай!
Ни в чем не упрекну.
Я наперед тебя прощаю.
Я подойду сейчас к окну
и буду ждать. Я обещаю.

Хоть уезжай, хоть уплывай,
хоть улетай в свое далеко.
Кого-то где-то убивай
иль кем-то будь убит жестоко.

Опохмелись в чужом пиру
иль переспи со всей Россией,
всегда впусти.
Не отопру,
лишь если стану некрасивой.

* * *

Я пропела это дело, проспала,
и меня не дозвались колокола,
хоть под утро и приснился мне их зов.
Было больше, чем одиннадцать часов.
Было больше, чем двенадцать.
Или — час.
Бог не выдал — это да,
но и не спас:
я пришла, когда на двери был замок:
что ж роптать теперь — он сделал все, что мог.
И не солоно хлебавши, и — без слез
шла я гордо мимо зелени и роз,
мимо птицы и яиц с табличкой «Бой»,
мимо нищенки, вздохнувшей: «Бог с тобой».

Николай Веревошкин

Зуб мамонта

Летопись мертвого города

Камертон

История последнего жителя мертвого города — осколки разбитого зеркала. Надо ли было склеивать их? Загляни в это зеркало — и в мутном, растрескавшемся стекле увидишь вымирающее существо, которое видит мир таким, какой он есть. Кому нужны воскресшие мамонты? Зачем тревожить себя звоном золотого колокола затопленной церкви? Но в мертвом городе встретились два обреченных человека и, спасая друг друга, каждый спас себя. Потому что спасется только спасающий. Выжить и спастись — не одно и то же, когда речь идет о душе. Спасающему трудно истребить в себе человека. Хотя время к этому располагает, соблазн велик, и многие преуспели.

Но история может приобрести совершенно иной смысл.

Смысл, который заключен не в книге, а в самом читателе.

Что же касается главного героя, это не плотина. Это трещина в плотине.

Небоскреб из Самана

По ночному городу брел косматый мамонт с золотыми бивнями.

Исчезающая в набухшем тяжелой влагой небе тусклая перспектива улицы за спиной зверя слегка деформировалась. Перед собой он гнал вспять невидимую, но разрушительную волну времени.

Асфальт, деревья, крыши белы от снега, а дома темны и печальны. Ни человека, ни машины, ни бродячей собаки, ни звука, ни сквозняка, ни дрогнувшей тени. Только скрип снега под ногами исполина, шелест смерзшейся шерсти и пар от шумного дыхания. Ненужные в безлюдье огни светофоров жужжат на пустых перекрестках, ритмично перещелкиваясь. Окрашивают снег на деревьях зеленым, желтым, красным.

От мамонта сильно пахло псиной. Каждый его шаг сотрясал город, но ни в одном из черных проемов окон не колыхнулась занавеска. На белом первоснежье за зверем тянулся черный, влажный, слегка парящий пунктир следов. Каждый — размером с крышку канализационного люка. Если пойти по этим следам вспять, они привели бы на север, за две тысячи километров от города, к степной реке Бурле. Зверь шел долго и очень устал.

Мамонт остановился в центре Старой площади у здания с колоннами. Вздыхнул и, ломая лапы голубых елей, свернул в сквер напротив. Он потерялся о старый постамент с новой скульптурой, оставляя на шершавом камне, на бронзовой табличке ключья шерсти, и обильно изверг парную влагу. Задрал хобот в черноту неба. Затрубил. От густого, вибрирующего, переполненного тоской звука с деревьев во всем сквере осыпался снег. Долго косматый вслушивался в тишину. Но ни тьяканья бес-

Николай Веревошкин — прозаик, лауреат Русской премии (2005), постоянный автор «ДН». Последняя публикация — повесть «Место встречи при землетрясении», «ДН», 2009, № 9. Живет в Алматы.

Журнальный вариант.

призорного зверья, ни птичьего переполоха, ни одного живого звука не донеслось в ответ из темноты. И мамонт припорошенной копной шуршащего сена побрел вверх по пустым улицам к невидимым горам.

На границе города и яблоневых садов тускло засветилось окно в высотном здании. Дом сливался с чернотой ночи, и окно, казалось, было врезано в небо.

Человек смотрел вниз, на рыжего исполина, бегущего по белому снегу. Усиливающаяся дрожь собственного тела и подоконника, тонкий звон стекла регистрировали неминуемое приближение вымершего зверя, час неотвратимой мести. Человек не боялся умереть, но он знал, что сейчас произойдет нечто намного ужаснее физической смерти, и тоска предчувствия холодным потом выступала на лбу. Исполин приближался, трубя с тоскливой яростью. Вековые карагачи трещали под его напором и падали со стоном. Мамонт встал на задние ноги и, упершись передними в стену, вытянул хобот. Волосатый, гибкий шланг изверг смрадное дыхание мертвечины, покрывшее окно морозным туманом. Он был в нескольких сантиметрах от хрупкого стекла.

И случилось то, чего не ожидал человек.

Мамонт уменьшался. И вместе с ним уменьшались изломанные им деревья, город, горы, планета. Все, кроме маленькой однокомнатной квартиры и человека, смотрящего из окна.

Мамонт стал меньше муравья. Темный город сжался до размера муравейника, но медленно продолжал уменьшаться до полного исчезновения. Земля стала круглым, гладким глобусом и все сжималась, сжималась, сжималась, пока не растворилась в черноте. Исчез весь привычный мир с его знакомыми существами, звуками, цветами, запахами, вселенскими огнями. Его поглотила тоскливая неизвестность чужого, темного пространства. Человек знал, что мамонт, город, планета, вселенная существуют в своей невыразимой, продолжающей сжиматься малости, но уже не для него...

Руслан проснулся от непереносимой муки клаустрофобии, когда сама Вселенная воспринимается как замкнутое пространство. Комната была погружена в великую немоту, знакомую аквалангистам и подводникам. Тишина нарушалась лишь невнятными, вкрадчивыми звуками, проникающими извне сквозь стены и стекла. Медленно рассеивались запахи сна. Серый свет окна и сварливые голоса ворон излучали настроение осеннего кладбищенского одиночества.

Привычная предутренняя тоска возвращения из мертвого города, где тихие покойники каждую ночь строят небоскребы из самана. Из коровьего навоза и соломы. Здание вылеплено до первого ветра, до первого дождя на пустынном, обрывистом берегу Степного моря. Птицы боятся гнездиться в нем. Но по какой-то причине Руслан вынужден жить на верхнем этаже. Башня все время достраивается. И каждый раз Руслан переселяется все выше и выше.

На крыше саманной высоты — церквушка. В звоннице раскачивается тяжелый золотой колокол. С каждым ударом гул наполняет Вселенную и обрывается в пропасть сердце в обреченном ожидании неминуемого мига, когда под тяжестью очередного этажа, очередного звона многоэтажная мазанка непоправимо накренится.

Дом построен на костях вымершего животного.

Комната содрогается и покачивается. Удар сердца может нарушить равновесие и обрушить глиняное строение. Руслан стоит в дрожащем от ветра и колокольного гула небоскребе из самана и ждет, когда землю сотрясет воскресший мамонт.

Каждое утро просыпаешься в сгоревшем и заново отстроенном доме: все то же самое, но ничего прежнего. Все неприятно чужое. Потертая и слегка обгоревшая гитара с корпусом, окантованным для прочности жестью. Горный велосипед с засохшей грязью на ободах. На рога его натянуты перчатки, отчего он выглядит существом неряшливым, но добродушным, с раскрытыми навстречу хозяину объятиями. На стене, рядом с костюмом в целлофановом мешке, висит плотно набитый рюкзак с навешанными кошками, ледорубом, веревками и палаткой. На медицинском атласе — исцарапанные, избитые о камни альпинистские ботинки. У глухой стены — стол, прочный, как верстак. К нему вместо кресла примыкает станок-тренажер. Покойни-

ком в черном мешке стоят зачехленные лыжи, вынужденные прозябать в пыльном углу без ослепительного света высоты.

Руслан закрыл глаза и долго лежал, не поднимая головы от туго свернутого спальника, служившего ему подушкой. Кровать из однокомнатной квартиры, пропитанной суровым аскетизмом казармы, была изгнана как предмет роскоши. Хозяин обходился альпинистским ковриком — карематом. В окно, занавешенное рыбацкими сетями, серой мглой струились ночные подозрения об исчезнувшем мире.

Три часа до работы. Руслан включил настольную лампу, стоящую на полу. В трехрожковой люстре год назад перегорела последняя лампочка, и она давно ограничивалась ролью сейсмического прибора. Раскрыл медицинскую книгу со страшным в своей прямолинейности названием. Попытался углубиться в чтение. Но лишь скользил по поверхности строк, параллельно размышляя о мамонте, доставшемся по наследству и преследующем его по ночам. О косматом мстительном звере, то уменьшающемся вплоть до исчезновения, то бесконечно увеличивающемся до размеров Вселенной. О саманном небоскребе с золотым колоколом на крыше, наполняющем покаянным гулом темные пространства родной глухомани. О невыносимой тоске, нагоняемой этими трансформациями пространства. Руслан уже много лет не испытывал скуки. Просто не оставил ей места в плотном расписании каждого дня. Но не мог избавиться от утренней тоски. Он утешал себя: помимо всего прочего, люди делятся на немногих одиночек, кто знает, что такое свобода и что такое творчество, и потому мечтают о бессмертии; удел их — частые приступы неизлечимой тоски от тщеты существования и невозможности вырваться за пределы отведенного им времени — и на остальных, кто убежден, что бессмертие — невыносимая скука простого биологического существования. Большинство людей творческих профессий за творчество принимают нечто другое. Как и свободу. Творчество — это жутковатый поиск неоткрытой истины, тоска по сотворению нового мира. А свобода — лишь необходимое условие творчества. Единственное занятие, достойное человека, — поиск бессмертия. Бессмертие нужно, чтобы там, за гранью времен, слиться с Богом. И стать творцом, а не тварью.

Но в своей мелочности мир сошел с ума.

Конечно, мир приблизительно то же самое мог сказать и о Руслане. И был бы, вероятно, прав. Защитившись скорлупой одиночества, он жил в человеческом обществе как инопланетянин, самоуверенно полагая, что построил свободный мир в одной, отдельно взятой душе.

Руслан смежил веки и провалился в воздушную яму дремы.

По белым снегам заполярья сквозь снегопад неспешно шел вечный мамонт. На его косматой спине сидела рыжая девушка в свадебной фате. Мамонт навсегда увозил ее в белую мглу неизвестности. Обернувшись, она смотрела через плечо простым и ясным взглядом счастливого человека.

Этажом выше сосед вошел в душ. Трубы во всем доме затряслись и загудели, а по ним яростно застучали металлическими предметами нервные, полусонные жильцы. И только утих скандальный перестук десяти этажей, как прогремел первый трамвай, сотрясая дом двухбалльным землетрясением. Вставай, вол, тебя ждет потертое ярмо!

Руслан скатал каремат в рулон и пристегнул к рюкзаку, освобождая жизненное пространство.

Ледяной душ медленно смывал ночные сновидения. Руслан зверски истязал себя упругими струями, пока не почувствовал, как кости, начиная с затылка, чуть потрескивая, превращаются в лед. Как много, однако, здоровья отнимает у человека борьба за здоровье! В такие моменты хочется ослабить цепь, на которую сам себя посадил. Появляются лукавые мысли: как правильно нарушать здоровый образ жизни. Гибельный соблазн для слабого человека. Стисни зубы и улыбайся.

Не обтершись полотенцем, он вышел на лоджию, где к крюку, вбитому в бетон стены на случай землетрясения, была привязана веревка. Подставил покрытое каплями тело холодному потоку воздуха. Мир стоял на месте. По плоской крыше соседнего дома сонные сквозняки катали пластиковую бутылку, пугая ворон.

Над утренней тоской осеннего микрорайона в сером небе прорезались снежные крылья пиков. Словно ангел воспарил над бранным миром.

Все в порядке. Галактики разбегаются. Мамонты продолжают лежать в вечной мерзлоте. Кометы, должны врезаться в планету, рассекают пространство в миллионах лет до события. В ядре плавилась магма. Континентальные плиты наезжали друг на друга, сотрясая города. Глобальное потепление неуклонно приближало новый ледниковый период. Поколение живых существ боролось с себе подобными за сомнительное право передать гены следующему поколению. Слабаки травили себя наслаждениями. Воры и глупцы добивались власти. Ученые во имя процветания свободного мира изобретали новые средства массового уничтожения. Каждую секунду рождались новые люди, которые непременно повторяют старые ошибки. Мудрая ворона мочила в луже сухарь. Он в очередной раз вошел в голодание, избавив себя от забот по приготовлению завтрака. С треском расправил Руслан руки и прошептал печальную и оптимистическую песнь барда Мамонтова, обитающего на вечной мерзлоте:

Без забот этих вздорных
Не прожить мне и дня.
Я люблю этот город,
Где не любят меня...

Прекрасен или мерзок мир, зависит лишь от того, в каком состоянии пребывает твоя душа. Но чтобы видеть его таким, каков он есть на самом деле, нужно смотреть на все глазами мертвого человека. Нет никого объективнее и добродушнее мертвеца.

Из окна, пришторенного багровыми листьями дикого винограда, сквозь красно-желтую завесу осени Руслан увидел полотно, идущее по влажной дорожке на косяках, дрожащих от напряжения ножек. Резиновые сапоги хлюпали по лужицам. Картина в тяжелой черной раме представляла собой сумрачный пейзаж, но в печальный холст чуть наискось врезана золотая рама с обнаженной женщиной. Тело в утренней тени двора светилось расплавленным металлом. Мерцающая пестрота листьев мешала разглядеть лицо. Пешая картина исчезла в соседнем подъезде.

Всякий раз, покидая квартиру, Руслан чувствует себя мягкотелой улиткой, выходящей на битое стекло.

Лестничная площадка усыпана окровавленными шприцами из круглосуточной аптеки напротив. Они названы одноразовыми. Это не конструктивная особенность, а, скорее, пожелание.

В нос бьет вонь гниющих отходов. Новоселы с пятого этажа забили мусоропровод. Не успели въехать, а уже загадили подъезд, нахамили старушкам и посоветовали Руслану поскорее навестить историческую родину. Знать бы, где она...

Внизу, под лестницей, пахнет кислой прелью лохмотьев. Раньше бомжа гнали из подъезда, и он оборудовал лежбище в укромном углу подвального лабиринта, где и устроил пожар. Жарил, паршивец, на костре из секретных материалов ушедшей эпохи персидского кота госпожи Буранбаевой. Все насквозь прокоптил. Но благодаря этому событию в доме исчезли комары. Может быть, поэтому жильцы относятся к невидимому, как привидение, бомжу терпимо. Его даже подкармливают, чтобы не покушался на домашнюю живность. Одна беда: устроил себе постель из пожароопасных рекламных листов. Их, не читая, бросают на пол, но каждый день свежая реклама свисает из улыбающихся щелей почтовых ящиков, делая их похожими на знаменитый фотопортрет Альберта Эйнштейна, показывающего язык.

С тех пор как в автобусе у Руслана украли бумажник с чужими деньгами и паспортом, на работу он ходит пешком. В неотложных случаях делает исключение для трамвая. В старых трамваях сохранилось настроение старого города. Неспешные разговоры. Сточенные рельсы. Ностальгический звон. Церкви на железных колесах, перевозящие человеческие души. Автобусы и даже троллейбусы перевозят только тела. Души в них не вмещаются. Они едут безбилетниками на крышах. И лишь в трамвае, даже в часы пик, человек может обнаружить у себя душу.

Впрочем, и в трамвае поворачивают. Всем видам транспорта Руслан предпочи-

тает собственные ноги. За долгое время у ног выработалось чувство времени на уровне мышечных ощущений. Они всегда подходят к перекрестку, когда загорается зеленый свет. Отвлечешься от мыслей, оглянешься — где я? Там, где и должен быть.

Раньше по дороге на работу Руслан проходил мимо шести книжных магазинов. Новые времена пережил лишь один из них. Но появились три казино, боулинг, пять ночных клубов, семь банков, несколько салонов красоты и массажных кабинетов, множество бутиков, бистро, кафе и баров, перемежающихся стоматологическими кабинетами. Рекламные щиты источают дразнящий запах азарта и соблазн ночной жизни. Пронзительными глазами роскошных женщин смотрят они на прохожих, одетых в обноски из «вторых рук», принуждая их испытывать муки неполноценности. Сокращая путь, Руслан пересекает утренние дворы. В мусорных баках рождаются стайки бездомных людей и собак. Вид нищих, ставших неременной частью городского пейзажа, давно не вызывает в нем сострадания. Лишь легкую брезгливость и желание быстрее пройти мимо. Должно быть, человеческая душа вырабатывает нечто, из чего делаются створки речных ракушек. Давно он оставил надежду жить в городе, где последний бродячий пес нашел хозяина, а несчастные живодеры вынуждены устраиваться дворниками.

По проезжей части бежит трусцой коричневая мумия в красных трусах. Расстрескавшиеся подошвы босых ног черны, икры забрызганы грязью. В голом черепе отражаются дома и деревья, проезжающие мимо машины и огни светофора. И по снегу, и по лужам, и по раскаленному асфальту каждое утро бежит обнаженный аскет, не обращая внимания ни на взгляды прохожих, ни на клаксоны автомобилей. Угрюмо надменный, сосредоточенный на вечности, истязает себя холодом, голодом и непомерными физическими нагрузками, чтобы обрести ЯСНОСТЬ.

Хорошо бежишь, брат. Но куда?

Каждое утро по дороге на работу Руслан проходит мимо морга, где, по слухам, санитары выдирают пассатижами золотые коронки у мертвецов. Сладкий запах мертвечины. Его нет, но он чувствуется, если знаешь, что в этих бараках.

Морг можно и обойти. Но для него это больше, чем просто пройти мимо морга. Зимой и летом, осенью и весной он идет по печальной улице, и каждый раз ему звонит поворачивающий трамвай, сотрясая мостовую и душу.

Люди у сваренных из арматуры ворот никогда не улыбаются, не говорят громко и очень редко плачут. Всякий раз другие, но, кажется, всегда одни и те же.

За кирпичной оградой с ржавыми шлемами наверху растет зимний дуб. Изломанные ветви забытыми письменами впечатаны в небо. Обнаженным его можно увидеть лишь ранней весной. Он потому и зовется зимним, что в отличие от других в самое снежное время не сбрасывает увядшие листья. Случается, осенью клены, карагачи, акации не успеют оголиться, и первый же снегопад ломает хрупкие ветви, раздирает стволы. Но зимний дуб словно выкован из железа. Он был создан природой для того, чтобы мамонты чесали о его ствол косматые бока.

Морг действует на Руслана так же бодряще, как холодный утренний душ. Ничего странного для человека, который уже много лет живет в предчувствии разрушительного землетрясения.

Его дом стоит на костях спящего мамонта.

Двор. Неприметный особнячок с обшарпанными стенами, огражденный от улиц тройным кольцом — забором, домами и деревьями. Последняя надежда наркоманов, у которых нет средств на лечение. На крыльце сидит грузный человек и раскачивается, как правоверный иудей у стены плача. На руках у него мертвая собачка. Ее кровью испачканы руки, костюм, щека. Не переставая раскачиваться, человек смотрит на Руслана глазами потерявшегося пса.

— Жулька погибла... Не могу. Не могу. Все плохо, все плохо... Займи...

...Он утонул, спасая бродячую собаку — жалкую беспородную псину с перебитой лапой. У парня было доброе сердце. Он был наркоманом.

Похоронив сына, Семенович запил. Впрочем, что значит «запил» для хронического алкоголика?

До сорока лет философия — просто наука. Странная наука. После сорока она — образ жизни. Семенович, как и большинство пьяниц, был философом. Раз-

мышлял он преимущественно ямбом. Стихи начинались гениальной фразой вроде — «Сплю с собакой морда в морду». Но всегда заканчивались одним и тем же. Семенович рассказывал. Просил прощения у Пашки, а у Бога — место в раю для сына. После того как Пашки не стало, он поверил в Бога. Иначе все теряло смысл. Даже смерть.

Природа в отношении Семеновича поступила крайне непоследовательно. Одарив шалыпинским голосом, совершенно лишила слуха. Сотрясал бы он иначе хрустальные люстры в оперных театрах, ходил бы по цветам на сцене, как по листьям в осеннем саду. Может быть, оберегая дар, и пил бы меньше. Проходя мимо дверей кабинета Семеновича, посторонние люди пугались: кто это у вас так кричит?

— Это он не кричит. Это он думает, — успокаивали их сослуживцы поэта. — Если он закричит, штукатурка потрескается.

Собаку, с которой «морда в морду» спал Семенович, звали Жулькой. Он отыскивал ее на Сайране среди таких же беспородных бродяжек, и сердце подсказало ему: спасая именно ее, погиб Пашка.

— Ты зачем привел в дом эту заразу? — напустилась на него жена. — Только блох нам и не хватало. Выброси ее сейчас же!

Свалявшаяся грязная шерсть делала Жульку похожей на сапожную щетку с засохшей ваксой. Но у этой щетки были Пашкины глаза.

— Выбросить? — побагровел лицом Семенович.

Схватил собачку левой рукой за грязную холку, правой — за шею жену и, не разуваясь, повлек их на балкон. Жили они на восьмом этаже. Вытянул руку с визжащей Жулькой за перила и повторил:

— Выбросить?

Так Жулька стала полноправным членом семьи. А когда ее помыли с шампунем «Яблочным», обнаружилось, что шерсть у нее белая. Как крылья у ангела. Семенович был убежден, что в Жульку переселилась Пашкина душа, и часто беседовал с ней. Собака, склонив голову набок, внимательно выслушивала его, стучала хвостом о пол, а в особо трогательных местах исповеди вылизывала слезы хозяина, отдававшие водкой. Он часто распалял себя до рыданий. Мужики одергивали: «Не будь бабой, Семеныч, прекрати. Это водка в тебе плачет». Женщины жалели и плакали вместе с ним. Эти особы находят особое удовольствие в вытирании соплей. Каждое воскресенье Семенович с Жулькой ездил на могилу к сыну. Просил прощения, плакал, сотрясаясь большим телом. Жулька тихо скулила.

Однажды он зашел к Руслану — человеку, пытавшемуся вылечить Пашку. Принес зеленую папку. Когда он развязал ее, выпали и рассыпались по полу пожелтевшие листки из школьных тетрадей в клеточку с почеркушками. Вид этих затертых, мятых бумажек, которых касалась рука сына, растрогал Семеновича, и он безудержно разрыдался:

— Посмотри, каким он был талантливым. А я, сволочь такая...

Человеку нужно прививать чувство вины до того, как он наделает глупостей, подумал Руслан, чтобы потом не терзать себя бесполезным раскаянием всю жизнь. Мысль была правильная и неисполнимая, а оттого горькая, как изжога. Если бы можно было раскаяться до греха. Раскаиваться — не значит распускать сопли. Раскаиваться — значит стать другим человеком. Понятно, эта простая мысль формулировалась не так прямолинейно. Но Семенович все равно оскорбился: зачем ему становиться другим человеком, если нет Пашки, что он может ТЕПЕРЬ для него сделать? Руслан пожал плечами: ОНИ живут в нашей памяти, мы ИХ живые памятники. Мы обязаны жить не только за себя, но и за НИХ, если уж так случилось. Кто знает, что такое жизнь и что такое смерть? Может быть, наша жизнь — это лишь ИХ сон. Это была темная, мистическая философия, родственная поэзии, а такие вещи доходили до Семеновича быстрее и лучше логических умозаключений.

— Хочу издать стихи, посвященные Пашке, и проиллюстрировать его рисунками, — сказал он, осушая короткопалыми руками глаза. — Но Пашка мало после себя оставил. Может быть, он что-то рисовал у вас?

По дороге к трамвайной остановке, Семенович делился замыслом книги. Неожиданно останавливался и, размахивая руками, гудел колоколом, пугая прохожих. Глаза у человека горели. На него было приятно посмотреть.

— Ты должен мне помочь, — схватил он за руку Руслана. — Мне надо завязать. Хотя бы на год. Только не хочу быть подводной лодкой. Можно завязать без торпеды?

Издать стихи в наше время, во-первых, очень просто и, во-вторых, невозможно.

Очень просто, если у тебя есть деньги. Невозможно, если денег нет. Поэзия в наш корыстный век никому не нужна. Семенович ринулся зарабатывать деньги. Он занялся тем, что презирал. Рекламой. Пиаром. Писал на заказ, подстраивался под клиентов. Таким деловым, трезвым и противным его давно не видели. На привычные застолья — с поводом и без повода — приходил с сувенирной керамической кружкой, подаренной рекламодателем, на которой под Гжель было тиснуто: «Завод имени Кирова», два скрещенных гаечных ключа и корпус с черными глазницами окон. Очень напоминало череп с костями. «Нет, ребята-демократы, только чай».

— Семеныч, какой ты стал хороший, уважаемый, — говорили женщины, смахивая слезы.

Иногда нервы его подводили, и он закатывал скандал на пустом месте. Но народ понимал его состояние, и все улаживалось миром. Просто в таких случаях говорили: «Опять Семеныч глаза чаем залил».

Книга вышла через год. Карманного формата. С цветной обложкой. С автопортретом Пашки. На себя он не был похож, но на руках держал собачку, очень похожую на Жульку. То, что казалось Руслану почеркушками, смотрелось свежо, царапало душу и воображение. Весь тираж автор раздарил. При этом очень серьезно относился к дарственным надписям. Он хотел, чтобы о Пашке узнало как можно больше людей и чтобы он жил в их душах, как в его душе.

Казалось, покаянная работа над книгой излечила его. Он все так же часто говорил о сыне, но при этом не плакал.

Саблезубыч, сосед по кабинету, договорился с одним из частных каналов об интервью с Семеновичем. Хищным прозвищем коллега был наречен не за свирепый нрав, а исключительно из-за конструкции усов, ниспадающих подобно моржовым клыкам. Это был добродушный человек, лицом похожий на Дениса Давыдова, а характером — на Пятачка из мультфильма.

— Ты, Семеныч, за все человечество не напрягайся, — увещевал он товарища в минуты отчаяния, приступы которого случались после просмотра утренних газет, — твой единственный долг перед человечеством — самому остаться человеком.

Такая позиция возмущала Семеновича, и он туманно, но яростно лопотал о капле, в которой заключен океан. Семенович был поэтом, а Саблезубыч — просто нормальным человеком. Они редко приходили к общему мнению.

Семенович основательно подготовился к встрече с электронной прессой. Он сидел, погрузившись в кресло мешком, набитым манной кашей, слегка завалившись набок. Голова свисала на грудь, отчего храп, резонируя в грудной клетке, звучал органно, мощно, прерываясь порой невнятным утиным бормотанием. Краснолицый, растрепанный, зареванный. С расстегнутой, разумеется, ширинкой. Когда телевизионщики растолкали его, Семенович первым делом расплакался, но быстро взял себя в руки и стал с подвыванием читать стихи:

В навоз на три аршина
Страна погружена.
Лишь светлые вершины
Торчат из-под г...на.

Умиляясь собственному бормотанью, он пытался между делом отечески облобызать известную в городе телеведущую.

— Семеныч, давай перенесем разговор на завтра, — вмешался в событие красный от смущения Саблезубыч. — Идем умоемся, причешемся, ширинку застегнем...

И выкатил товарища из кабинета в кресле с колесиками. Печально закурлыкали они по мраморному полу. Как журавли осенью. Когда же вернул Саблезубыч умытого поэта на место, телевизионщиков не было. И дошло до Семеновича коварство Саблезубыча, заскрипел он остатками зубов и золотых коронок:

— Сволочь! Я это для Пашки! Я в память о нем... А ты! Откуда ты такой?

Обнял товарища Саблезубыч за мягкие плечи, попытался утешить. Но схватил со стола Семенович пиратскую кружку, размахнулся и... Кровь залила лицо Саблезубыча. Зажав рану рукой, ослепший, выбежал он в коридор, преследуемый разъяренным поэтом. Саблезубыч попытался спастись за первой же дверью. К сожалению, дверь оказалась стеклянной и со звоном рассыпалась под ударом керамического сосуда. Схватили сослуживцы Семеновича под мягкие руки, принялись отбирать кружку, вразумлять, призывать к состраданию. Коридор сотрясся, звенел и сверкал, словно в нем громыхала, но никак не могла вырваться на волю молния.

Мучимый угрызениями совести, Семенович пришел к Руслану и поведал печальную повесть о бездушном Саблезубыче, вынудившем его на неприглядный поступок: с работы выгнали, как муху из кухни полотенцем.

Утешать его Руслан не стал.

— Знаешь, Семенович, в чем твоя беда? Чрезмерно ты себя любишь.

— Я?! Себя?! Люблю?! — возмутился Семенович. — Да я себя ненавижу!

— Вот именно. Любить себя, ненавидеть себя — это одно и то же. И одинаково глупо. Что такое есть ты? Божественный разум, замурованный в тленную плоть, как в скафандр. И когда ты говоришь, что ненавидишь себя, ты ненавидишь этот скафандр. А к своему телу нужно относиться проще. Как к машине. Не надо любить, не надо ненавидеть. Достаточно вовремя проводить техосмотр, содержать в чистоте, выполнять элементарные правила дорожного движения...

— Ты говоришь банальные вещи, — рассердился Семенович, — все не так просто.

— Согласен. Но согласишься и ты: система может быть сколь угодно сложной, но аварии случаются всегда по самым банальным причинам. Человеку кажется, что он страдает от несовершенств мира, а на самом деле у него элементарный запор. Извини.

Это был долгий разговор, в результате которого Семенович стал работать санитаром у Руслана. Казалось, ничто не выбьет его из жертвенной колеи, но однажды Жюлька выбежала на проезжую часть, и Пашкина душа, вспорхнув из-под колес черно-го «мерседеса», навсегда улетела к белым вершинам гор.

Они похоронили Жюльку под зимним дубом. С той стороны, где дупло заплombировано бетоном. Семеновича утешила мысль, что через несколько лет ее плоть станет частью исполинского ствола, узловатых ветвей, а душа собачки сольется с душой дерева. Тихий, опустошенный, как небо после грозы, осиротевший хозяин произнес приличествующую в подобных случаях речь. В завершение он сказал:

— А теперь я пойду и напьюсь, теперь мне не для кого жить.

— Теперь мы пойдем и напьемся вместе, — поддержал его Руслан, — ты что будешь — чай, кофе?

— Не надо меня спасать, — обиделся Семенович.

— Рад бы, да не могу. Волшебников нет. Есть единственный способ спасти себя. Спасать других, Семенович, спасать других. Мужик самой природой предназначен кого-то защищать. Если никого не спасает, его существование теряет смысл. Человек осознает свою ненужность — и включается дремлющий до поры до времени инстинкт самоуничтожения. Не отчаивайся.

— Да я и не отчаиваюсь, — нахмурился Семенович.

— Как же не отчаиваешься, когда от чая отказываешься?

Детский розыгрыш смутил и тронул Семеновича.

— Давно хотел тебя спросить, — сказал он, ковыряя в носу большим пальцем, — зачем тебе эта пепельница? Ты же не куришь.

— Это не пепельница. Это зуб мамонта, — ответил Руслан, помрачнев.

— Ты скажи! — удивился Семенович и завертел ископаемую кость в руках.

Постаревший, наивный ребенок, отходящий после слез. Руслан вежливо, но твердо изъял реликвию, поставил на место. Подошел к электрочайнику и спросил:

— Кофе, чай? Давай я тебе на горных травах заварю.

— Давай, — и снова взял в руки зуб мамонта. — А где ты его откопал?

— Длинная история, — ответил Козлов, нахмурившись.

Заструилась вода, и в кабинете запахло сенокосом. Ноздри Семеновича затрепетали. Этот трепет изобличал порочность натуры. Нетерпение.

— Ух, ты! А мы всякую дрянь пьем... А это кто такой?

С любительской фотографии на Семеновича с иронией смотрел угрюмый человек. Из косматого стога волос выглядывали глаза человека, видевшего и Бога, и дьявола. В этом лице сочеталась первобытная сила и слабость разочарования.

— Ишь, как очами сверлит, борода нечесаная! Чистый Гришка Распутин.

— Есть люди, похожие на мосты, — сказал Руслан, поворачивая портрет угрюмого человека к себе. — Встретишься с таким — и не заметишь. Для того чтобы оценить мост, нужно свернуть с дороги, посмотреть на него с реки. А времени нет. Спешим...

На экране телевизора загорелась заставка «Discovery». Над бескрайней белой тундрой, поднимая круговую метель, завис вертолет с подвешенной на тросах голубой глыбой льда, из которой торчали кривые черные бивни. Лысый француз с глазами пирата говорил о возможном воскрешении мамонта, вырубленного из вечной мерзлоты. Российские мужики в старых солдатских бушлатах, кожаных шапках и унтах, опираясь на ломы и лопаты, курили на заднем плане «Беломор» и ухмылялись, отводя глаза от камеры.

— Так, где ты раскопал зуб мамонта? — спросил Семенович, удивленный навязчивым совпадением.

— Подарок первого пациента.

Тень пробежала по лицу Семеновича, сгустилась в глазницах.

— И что с ним сейчас?

— Застрелился. Но потом все у него вроде бы наладилось.

Лоб Семеновича вспахали невидимые лемеха, покрыв его ровными глубокими бороздами. Зрачки расплылись во всю радужную оболочку. Завис Семенович.

— Как застрелился? Как наладилось?

— Убил себя со всеми пороками и мерзостями. Стал жить с чистого листа.

— А-а-а, в переносном смысле...

— Да почему же в переносном. Застрелился из пистолета. Системы Макарова. А в новой жизни старые вещи не нужны. Особенно такие, с которыми многое связано. Вот он мне зуб мамонта и подарил, застрелившись.

— Постой, постой! Что ты мне голову морочишь? — рассердился Семенович, — Как это может быть, чтобы человек застрелился, а потом подарил тебе зуб мамонта? Ты мне можешь толково разъяснить?

— Не могу, Семенович, врачебная тайна.

— Да, хорошо, если не врешь, вот так бы, — Семенович приставил к виску воображаемый пистолет: — раз — и все, живи по новой.

— Если бы «раз — и все», — с долей уныния возразил Руслан. — Риск чрезвычайный. Опаснее, чем по паутинке над пропастью.

Вкус дикой вишни

По обрывистому в ржавых пятнах каменистых обнажений полукружью берега на бешеной скорости мчался «уазик». Хвостом рыжего корсака тянулись за ним клубы пыли. Камешки из-под колес сухим дождем сыпались в пропасть.

За рулем сидел человек с угрюмым лицом камикадзе. Складки между бровями — результат особенностей характера, обильного степного солнца и пренебрежения светофильтрами — не могла уже разглядить никакая радость. Русский ежик и смуглое лицо производили впечатление негатива. Черты же лица подтверждали предположение о том, что всякий настоящий русский — на пятьдесят процентов татарин.

Время от времени Козлов мычал, как Отелло, мучимый ревностью. Болел зуб.

Он знал замечательное средство от всех страданий — физических и душевных — сигареты марки «Лайка» с мордашкой самой знаменитой дворняжки планеты. Любое, самое незначительное изменение настроения автоматически вызывало жгучее желание закурить. Было хорошо — курил, чтобы душа с клубами дыма воспарила в

небеса; что-то выводило из себя — курил, чтобы успокоиться; успокоившись, тут же прикуривал новую сигарету — закрепить настроение; а если ничего не происходило, курил от скуки. Особенно скучать, к сожалению, не приходилось. Было много причин закурить, но не было ни одной, чтобы бросить. И вот она появилась: изъеденным никотином зубам Козлова не помогало даже такое сердитое и дешевое средство, как сигарета. Зубная боль гнала его, как банку, привязанную к собачьему хвосту.

Объекты Козлова разбросаны по всему району. А район — целинный. Иное государство вместится, да еще на огород-другой останется.

Козлов спешил посмотреть, как идут подготовительные работы для строительства моста через степную речушку Бурлю. В июльское пекло ее и речушкой назвать — преувеличение. Петляет по дну широкого каньона хилый ручеек-заморыш, не способный сдвинуть и песчинку. Редкая птица не перейдет его вброд. В теплых лужах сонно томится рыба мелюзга. Но весной Бурля сходила с ума и напроць отрезала левобережье от райцентра. Много сопков искрошено ею в песок за тысячелетия. В половодье по берегам Бурли дежурили «Кировцы». Они буксировали машины, которые во время переправы превращались в подводные лодки. Долго бы еще слушала Бурля шоферские комплименты, если бы на залежных землях левобережья не решено было создать два новых совхоза, а выше по реке, в которую впадала Бурля, как приключение к плотине не возник городок со странным названием Степноморск.

Еще издали Козлов увидел: экскаватор и бульдозер, которые должны были без устали до прихода основных сил готовить подъездные пути, стояли без дела.

— Ты посмотри, что подлецы делают! — возмутился Козлов, хотя подлецы как раз ничего и не делали, и изящно, в три коленца, с раскатом выругался.

Свежий майский гром — тыфу в сравнении с этой фразой. Запахло озоном. Козлов был поэт матерщины. И тот, кто понимал в ней толк, млел от восторга, когда мощно, напористо, громоподобно козловские слова обрушивались на чью-то голову.

Как-то вышла с ним презабавная история. Был он по делам в областном центре. Мирно стоял на автобусной остановке, что напротив пединститута, никого не трогал, как вдруг промчалась мимо белая «Волга» и окатила народ водой из прилегающей лужи. Ну, он и выдал ей вслед! И тут стоявшая рядом интеллигентного вида старушка достает из сумочки блокнотик, ручку и, мило улыбаясь, говорит: «Простите великодушно, молодой человек, не могли бы вы повторить помедленнее?». И без того смущенный собственным красноречием Козлов шарахнулся от сумасшедшей старушонки. А бабуся не отстает, семенит следом с блокнотиком наизготовку и канючит: повтори да повтори. Оказалось, филолог. Всю жизнь собирала материал к книге «Русский мат». Козлов же своей импровизацией привел ее в полный восторг. Но повторить слова, идущие от сердца, не смог. Во-первых, застеснялся, а во-вторых, и сам не помнил, что сказал. Несомненно, Козлов был натурой творческой. Он редко повторялся в яростном негодовании. И воспроизвести слова, рожденные вдохновенным кипением разгневанной души, никому не удавалось. Исчезала волнующая свежесть первой майской грозы. Есть вещи, которые звучат только в авторском исполнении.

Услышав козловский «уазик», из траншеи выглянул Марат Аубакиров. Тельняшка, джинсы, солдатская панاما — все на парнишке выцветшее, дырявое, обильно украшенное масляными пятнами. Природа наделила его беличьей непоседливостью. Даже во время сна он тратил столько энергии, переворачиваясь с боку на бок, брыкаясь и бормоча, что иному увальню хватило бы на всю рабочую неделю. Да и на выходные тоже. Ну, а как он мельтешил на футбольном поле, этого вообще не передать. Не зря болельщики «Степноморца» прозвали его «Мотоциклом без мотоциклиста». Было за что. Да и мотоциклистом он был лихим. Его красный ИЖ «Юпитер-спорт», предмет зависти мальчишек Степноморска, стоял у самого края обрыва, словно раздумывая — прыгнуть или нет?

Пулей выскочил Марат из траншеи и бросился навстречу пылящей машине:

— Пал Ович! Пал Ович! Посмотрите, что мы раскопали!

Пыльный хвост нагнал машину и на некоторое время скрыл происходящее. В рыжем облаке сверкнула молния. Это назлектризованная душа Козлова действовала по объективным законам ее природы. Раскаты грома нарастали, схлестывались,

перекрывали друг друга, а заключительный аккорд был настолько мощным и непередаваемо ветвистым, что, казалось, само небо упало на землю. Пыльное облако осело, и наступила абсолютная тишина. Выхлестнув из души эмоции, Козлов стал скучным и вежливым, как Бурля после весеннего паводка.

— Почему стоим?

Тихие, обычные слова после поэтического неистовства вызывали у собеседников ощущение глухоты.

— Вот, — продемонстрировал Марат булыжник невятной формы, — зуб нашли.

— Ты что, Аубакиров, экскаваторщик или стоматолог?

— Пал Ович! Зуб мамонта!

— А хоть бы и динозавра. Что с того?

Козлов взял в руки серый булыжник. Повертел. И присвистнул. В окаменевшем зубе он увидел дупло. Замычал и спросил мрачно:

— Ты знаешь, Аубакиров, отчего вымерли мамонты?

— От браконьеров?

— Какие там к черту браконьеры. От зубной боли. Не чистили, понимаешь, зубы хоботом, не обращались своевременно к стоматологам. И вот результат.

— Ну, теперь сюда разные палеонтологи, архиолухи понаедут, — размечтался Марат, оскалив не знавшие пока бормашины зубы. — Не каждый день такие находки.

— Фактически — факт, — выглянул из-за его спины тихий, чисто выбритый бульдозерист Небрейборода и сдержанно поздоровался с начальством. Это был страстный пожиратель газет. Он читал все — от передовицы до выходных данных, не пропуская ни строчки. Речь его была настолько интеллигентной, что старый товарищ однажды не выдержал и пригрозил: «Еще раз скажешь «тенденция», морду набью».

— И чему вы так радуетесь? — не понял их настроения Козлов.

— Так там, может быть, весь мамонт. Да вдруг еще и не один. Вдруг здесь стоянка была? Пещерные люди жили, беспармак из мамонтов кушали. Здесь, Пал Ович, осторожно надо — совочком, ножичком, кисточкой, по пылинке, по соринке.

— Фактически факт, — поддержал Марата бульдозерист.

Посмотрел на Козлова и снова спрятался за спину экскаваторщика.

— Долго же они совочками ковыряться будут, — нахмурился Козлов.

Он рассматривал зуб исполина, и медленно закипала в нем ярость. Подумать только: за сколько тысячелетий этот зверюга готовил пакость Козлову!

Марат между тем, жестикулируя всем телом, развивал мысль о бесценном вкладе в науку. Флегматичный Небрейборода интеллигентно кивал головой, повторяя рефреном: «Фактический факт. Тенденция, однако».

— Ну, вот что, профессора, поболтали — и по машинам. Работать надо. План выполнять, — прервал Козлов научную беседу.

— По костям, что ли, рыть? — не поверил собственным ушам Аубакиров.

— Да, может быть, и нет там никаких костей, палеонтолог.

— Фактически — не факт, — поддержал начальство Небрейборода.

Но ковш за что-то зацепился.

Марат выпрыгнул из кабины с ломом наперевес. Поддолбил землю. Обнажилось нечто черное, гладкое, с бурой продольной трещиной.

— Бивень. Факт, — постучал Небрейборода костяшками пальцев по находке.

— Черт с ним, с мамонтом! Все мы по костям ходим. — Козлов прогромыхал очередным вдохновенным экспромтом. — Весь шарик похрустывает. На цыпочках, как балерина, ходить? Ты знаешь, сколько в зону затопления могил попало? Археологи говорят: три тысячи лет назад в пойме реки плотность населения выше, чем сегодня, была. Что за люди жили, куда ушли, никто не знает. Так что теперь, воду из моря спускать? Лег этот мастодонт поперек прогресса? Лег. Застопорил строительство? Застопорил. Мы зарплату не за мамонтов получаем. Согласен, Небрейборода?

Бульдозерист приподнял кепку и в глубоком сомнении поскреб затылок. Судя по круглой лысине, сомневался он часто.

Марат же, напротив, не сомневался ни в чем и никогда:

— Надо в район сообщить. Не нам с вами, Пал Ович, такие дела решать.

Помрачнел Козлов, напыжился, сдерживая чувства, но прорвало плотину, и на кости мамонта посыпалось такое буйство искрящихся слов, что, казалось, еще два-три коленца — и воскреснет зверь, отряхнет прах и, в ужасе бряцая окаменевшими мослами, драпанет в березовый колок, синеющий вдали.

Но, увы, мамонт остался лежать на месте, а слегка остывший Козлов подвел черту дискуссии:

— Завтра завезут железобетон. Договорились: мы этот клык не находили. Мы его не заметили. Вперед, а там разберемся!

— Лично я по костям рыть не буду, — заупрямился Марат.

— Наука не простит. Факт, — выразил солидарность Небрейборода.

Козлов швырнул зуб на заднее сиденье, в сердцах хлопнул дверцей «уазики» и полез в промазученную кабину экскаватора. Железная клешня с натугой вгрызлась в спрессованную веками землю. Экскаватор взвыл от напряжения, пытаясь вырвать кусок земной плоти. Затрещали тысячелетние кости. С печальным осуждением наблюдали за палеонтологическим погромом Небрейборода и Марат, да одинокий коршун, высматривающий с высоты добычу среди рыжих сопков. Когда пошел чистый грунт без примеси мамонтовых костей, Козлов задрал вверх хобот ковша.

— Давай, ковбой! Нам не о прошлом, о будущем надо думать.

— Куда уж нам, Пал Ович! Мы, Пал Ович, пешки... — промолвил обиженный за науку Марат и в сердцах так пнул камешек, что тот перелетел через край обрыва и долго падал в каньон, но, куда упал и упал ли, не было слышно.

— Но, но... Что значит пешки? Странно такое слышать от студента. Пусть даже заочника. По этому мосту трубы для самого, прикинь, протяженного в мире водопровода повезут, комбайны, шифер, понимаешь, кирпич...

— Унитазы, — грустно продолжил перечень Марат.

— При чем здесь унитазы?

— Верная примета цивилизации. Трудно без них представить будущее.

Марат поднял обломок мамонтовой кости и спросил грустно:

— Скажите, Пал Ович, а если бы здесь человеческая могила была?

— Кончай треп, — нахмурился Козлов, — до обеда далеко, а мы с тобой философию разводим. В рабочее время работать надо, а философствовать — на экзамене по историческому материализму. Все по костям роют. А если бы этого не делали, по земле до сих пор ходили бы динозавры, а не философствующие лентяи.

— Мы для них, — Марат кивнул в сторону березового колка, полагая, что именно оттуда за ними наблюдают сонмы будущих поколений, — мы для них тоже будем мамонтами. Они тоже по костям рыть будут. С хрустом.

— И правильно, — одобрил Козлов грядущее варварство потомков, — лично я предпочитаю, чтобы над моими костями не дурацкая тумба стояла, а завод, допустим, железобетонных конструкций. Вот это я понимаю — памятник!

— Или унитаз, — в тон ему добавил Марат, — тоже, понимаю, памятник.

Тишайший бульдозерист Небрейборода не имел привычки махать после драки кулаками. Особенно в присутствии начальства. Он сосредоточенно ковырял носком кирзового сапога грунт возле норки тарантула и молчал о чем-то важном. В душе он был художник и все свободное время вырезал сапожным ножом голубей. Голуби, несмотря на разные породы дерева, были до скуки похожи друг на друга.

Можно было бы долго рассказывать о талантах Небрейбороды, если бы челюсть Козлова не пронзила ни с чем не сравнимая боль. Он замычал и бросился к «уазику». К Галине, никуда не сворачивая, на максимальной скорости к Галине... На обратном пути в Степноморск он планировал заехать на Козловский залив — искупаться и пару раз забросить спиннинг. Но зубная боль была сильнее даже рыбацкой страсти.

— Бу-бу-бу-бу, — сказал Козлов.

Галина сверкнула очками из-под белой паранджи и усмехнулась.

— Нет, Козлов, я не могу выйти замуж за человека с такими зубами.

— Бу-бу-бу? — удивился Козлов.

— Потому что мой муж должен быть человеком культурным.

— Бу-бу-бу? — не понял Козлов.

— Культурный человек, — объяснила Галина, — следит за своими зубами, и у него никогда не бывает насморка.

— Бу-бу-бу! — возразил Козлов.

— Про насморк — это так, к слову. Открой пошире рот и помолчи.

Игла с хрустом вонзилась в десну.

Нет ничего труднее, чем объясниться в любви стоматологу.

Козлов потом часто думал, как бы сложилась его жизнь, если бы не проклятый мамонт и дикая зубная боль, загнавшая его в сверкающее никелем и фаянсом логово самого изящного истязателя на планете. Не только его жизнь, но, возможно, судьба страны потекла бы по другому руслу, не разбуди он спящего зверя и не успокой его страдания женщина в снежных одеждах с холодным взглядом милосердной садистки. Она изменила его судьбу, а мамонт потряс основы всего государства.

С годами человек становится мистиком.

Но в тот день, сидя с широко открытым ртом в стоматологическом кресле, Козлов был ни в чем не сомневающимся, бесшабашным материалистом. Упругое бедро Галины прижалось к его локтю, и он погрузился в полный покой.

Из окна зубоврачебного кабинета был виден город, в сотворении которого не последнее участие принимал сидящий с открытым ртом Козлов. Город строился на холме, покрытом зеленой шерстью травы в рыжих проплешинах дорог и тропинок. Ревели и лязгали гусеницами бульдозеры, пылили «КамАЗы», скрипели краны, суетились и кричали люди, перестреливались отбойные молотки. Закроешь глаза — война войной, а вырвешься за пределы этого хаоса — кажется, что мир оглох, и все спят.

На торце ближнего здания, раскачиваясь в люльке, художник Гофер рисует огромную тень, якобы падающую от маленького березового прутика. Этой авангардистской гиперболой он как бы утверждает: «...я знаю-м город будет-м, я знаю-м саду-м цвель...». Этот маленький человек с восторженным лицом прозревшего слепца исповедовал странную философию. По его словам, все люди на планете подключены к одному большому общему разуму. «Ты — это я», — убеждал он первого встречного и не верил людям, которые утверждали, что не могут рисовать. Это подрывало его мировоззрение. Он горячился, не понимая, для чего они притворяются. Как это: не уметь рисовать? Зачем это: не уметь рисовать? Художник мыслит пространственно и любое дело, любой предмет, любой замысел представляет весь сразу, целиком, поэтому он может сделать все. А человек, не умеющий рисовать, даже самую простую вещь способен постигать лишь по частям. Гофера оскорбляла такая неполноценность, он был уверен, что самым главным предметом в школе должно стать рисование. Пытаясь доказать, что все дети художники, он стал педагогом. Но так горячо принялся за дело, что вскоре был изгнан из школы за рукоприкладство.

В открытую фрамугу с четырех сторон сквозь приглушенный шум стройки доносился голос Высоцкого: «Парус, порвали парус...».

Строящиеся в глуши города производят впечатление поселений на чужой планете. Замкнутый в себе мир. Да и жители их смахивают на внеземные существа. Раньше Козлов думал, что дело в постоянной новизне, меняющемся пейзаже стройки. Нервы, напряженные ожиданием пытки, подсказали ответ, поразивший его своей очевидностью. У молодого города, в отличие от Оторвановки, перевезшей своих мертвецов на новое место, НЕ БЫЛО СВОЕГО КЛАДБИЩА, и потому он ничем не был связан с землей, на которой стоял.

С одеревеневшим языком и онемевшей челюстью Козлов смотрел на призрачные от белого кирпича дома, ажурную телевышку и красную трубу центральной котельной, Дворец культуры, прозванный театром на Поганке, поскольку стоял он над оврагом, по дну которого протекал захламленный строительным мусором ручей. «Паша, я сегодня по дороге в школу двенадцать кранов насчитал, — говорил с важным глубокомыслием седогривый учитель пения Давыдов, сдувая с кружки пивную пену. — И это только в нашем маленьком городке. Скоро, скоро мы коммунизм построим». — «Скоро, — соглашался Козлов. — Пиво допьем, тринадцатый кран завезем — и построим». — «Не будь циником, Паша. Тебе это не идет, — хмурился Давыдов, но, отпив глоток холодного пива, продолжал восхищаться действительнос-

тью: — А наши пиво научились делать. Нигде я не встречал пива лучше степноморского». Валерка Сысоев краснел от смущения и, с треском разминая сушеного «морского» чебака, оправдывал родной пивзавод: «Да это нам агрегат такой замкнутого цикла из Германии завезли. Чуть чего не доложишь или чего переложешь, он, зараза, сразу останавливается. Мы к нему и так, и эдак, а он — только по инструкции». Больше всего на свете любил Сысоев долгую, задушевную беседу, но пива не пил. Людей изумляло такое извращение. «А ты чего не пьешь?» — сердились они. «Мне нельзя. У меня аллергия на алкоголь», — с печальной гордостью отвечал Сысоев и, чтобы посрамить не верящих, отпивал маленький глоток из запотевшей кружки. Тотчас же лицо его покрывалось красными пятнами, и он шмыгал носом, задыхался и чихал. Есть же на свете такие замечательные болезни!

Бронзовотелые, бессмертные боги, любили они возлежать в жаркий субботний день в дырявой тени берез пляжной рощи и ждать, пока над янтарным пивом осядет снежная пена. Хозяйка желтой бочки, сдобная тетя Лена в белом халате, надетом на влажный купальник, считала смертным грехом разбавлять напиток водой. Правда, она не была совсем уж святой и слегка недоливала. Разговорчивый Гофер имел обыкновение комментировать впечатления первой кружки. В ячменном степноморском пиве были растворены души импрессионистов. После первого большого глотка в нем просыпался Гоген, и художник переселялся на райский остров Таити. Березы наливались густой, плотной зеленью. Купальники женщин вспыхивали тропическими цветами. Шум, смех, плеск, сочные удары по мячу доносились сквозь зной приглушенно. Солнце растекалось по песку, резко очерчивая смуглые тела пляжниц. После второго глотка в Гофера вселялась прохладная душа Сезанна. Мир делался чище, но туманнее, клубился космическими массами и новой тайной. В бездонной голубизне моря отражались кубы облаков и плотины. Насладившись глубиной и объемом, Гофер делал третий глоток, и тяжелая, цельная прозрачность материи дробилась на искрящиеся, брызжущие атомы цвета пуантелиста Синьяка. Вода вибрировала синими каплями, а пляж — золотыми песчинками. Затем мир начинал кружиться в эротическом вихре Дега. Тела, деревья, песок, вода и небо приходили в движение, краски смазывались и светились инверсией. Чтобы остановить это неистовое вращение и увидеть мир глазами Ренуара, Гофер делал маленький-маленький глоток. Наступало сладкое умиротворение. Тела женщин, стволы берез, проплывающие байдарки и само солнце светились теплым фарфором. Наступало таинство последнего глотка, и в душе расцветал золотой подсолнух Ван Гога. Глаза увлажнялись от знойного, непереносимого счастья. Тело Гофера сливалось с волнением Земли, которое ни один из импрессионистов так и не смог передать в своих полотнах, а душа — со всем человечеством.

Козлов обратил взор на парк, который был, собственно, диким лесом, окруженным оградой. В нем выделялись два пятна: озеро и стадион. Посредине озера — резиновая лодка. Какой-то лентяй ловит карасей. Уж сразу бы закидывал удочку с балкона. Стадион странно безлюден. По полю бегают друг за дружкой две собачки. Трубочка из окна Дворца культуры забавляется беседой с заблудившейся коровой. Просунув морду между прутьями ограды, она в вожделии мычит, соблазненная зеленым газоном футбольного поля, и трубный глас сострадания вторит ей. Странно. Сегодня же наши играют с «Зарей».

Застрекотал зеленый кузнечик. Над крышей отчего дома пролетел Колька Дубровный, помахав двойными крыльями папке с мамкой. Дом стоит у хлебозавода и вкусно пахнет хлебом. Из окна своего кабинета грозит кулаком участковый Тарара, мечтающий установить на крыше РОВД зенитную установку для борьбы с воздушным хулиганом. «Кукурузник» улетел за плотину, где Степное море сливается с небесами, чтобы поздороваться с заслуженным тренером республики фотографом Сатуняном. Седой человек с биноклем на большом волосатом животе степенно ответил на приветствие с вышки, пацаны на байдарках и каноэ помахали самолету веслами. Бабочки разноцветных парусов скользят по синеве, «днестрянка» ритмично вспенивает воду веслами — чемпионы республики по народной гребле готовятся к союзу.

За эллингом залив. Затопленная березовая роща. Прибежище щук, магнит для спиннингистов. По берегу идет Кумпалов, время от времени забрасывая в прохлад-

ные глубины привязанную к леске звезду. Там, на дне, деревья увешаны блеснами, как елки новогодними игрушками. Белый срез сопки отражается в воде. Затопленный карьер. С десятиметрового обрыва прыгают пацаны. Большинство солдатиком — ногами вниз, и лишь самые отчаянные — ласточкой. Над пляжем Дубровный делал вираж, чтобы выразить восхищение и напомнить о себе шоколадным степноморским девчонкам.

Летит Колька, пугая стаи диких гусей и уток, над живой картой родного захолустья. И там, где Бурля, прорезая каньон в сопках, вливается в Степное море, светится белая юрта. Директор совхоза «Целинный» Ибраев встречает одноклассника-космонавта. И видит летчик удивительную картину: Ибраев фотографирует земляка на память в собственных шортах. И такие это шорты, что в одной штанине умещается сам космонавт, а в другой — его жена. За устьем Бурли в прибрежную сопку врезают новое здание насосной станции и одновременно укладывают трубы в рост человека, тут же пряча в насыпной грейдер¹. Стрела дороги ведет в никуда. К перспективному месторождению урана. Эту тайну знают только КГБ, ЦРУ и каждый степноморец.

Самолетик превратился в комарика и растворился в синеве.

По гребню плотины, расчесывающему седые волосы реки, длинной вереницей, дерево за деревом, мимо мозаичного панно, воспевающего героический труд первоцелинников, переезжает в Степноморск из посадок в Ольховом урочище лес. На возвышении у будки охранника стоит демиург здешних мест Есим Байкин. Заложив руки за спину и выпятив живот, он зорко высматривает — не схалтурил ли кто с поддонами, на всех ли деревцах повязаны тряпочками ветки, направленные на юг. Березы и сосны держат равнение на начальство и мелко дрожат листочками и иголочками.

Плотина бурлит и воркует. Под мостом над водопадом одичавшие голуби занимаются любовью, раскрашивают бетон гуано и высиживают птенцов.

Человек толстый и добродушный, Байкин, когда дело касается озеленения Степноморска, становится жестоким тираном. Перед горожанами стоит утопическая задача — догнать и перегнать по количеству деревьев на душу населения Алма-Ату. Душе беспартийной достаточно взрастить три дерева, душе партийной — не менее десяти. В нетерпении увидеть город-сад, Есим повелел высаживать взрослые деревья. Скептиков много. Особенный пессимизм вызывают зимние посадки. Вырытые экскаваторами ямы на улицах города, куда опускали переселенцев из леса, зовут братскими могилами. Улицы и переулки поделены между организациями. Каждая ограждает свои деревья от посягательств домашнего скота штакетником, выбеленным известью. Посадки метятся табличками, напоминающими кресты. На них краской-серебрянкой выведены фамилии руководителей, отвечающих за определенное количество насаждений в целом. К стволам, как бирки к ногам покойников, привязаны ярлычки с фамилиями людей, непосредственно отвечающих за конкретные деревья. Ранним утром, заложив руки за спину, несет Есим, не спеша, свой живот на работу — пешком, всякий раз другим маршрутом. А чуть сзади и немного сбоку верной женой катит потихонечку черная «Волга». И горе тому ответственному, на участке которого стоит засохшее дерево. Коровья же лепешка на асфальте приводит Байкина в ярость. Он самолично обучает домохозяек частного сектора, как прививать коровам культуру поведения. Идет сзади за буренкой и, едва та вознамеривается поднять хвост, тут же прижимает его шваброй. Через пятнадцать дней такого воспитания ни одна степноморская корова не позволяет себе вольностей. Терпела до городской черты.

Где-то за пределами зрения Козлова стучала металлическими инструментами Галина. Райский предвечерний свет лился через широкое, во всю стену, окно. Век бы сидел в этом кресле и флиртовал со стоматологом:

— Бу-бу-бу?

— Лучше помолчи, Козлов, а то ведь возьму и соглашусь.

— Бу-бу-бу? — не поверил он.

— А почему бы и нет? Если, конечно, курить бросишь.

— Бу-бу-бу! — поклялся Козлов.

— Открой рот и помолчи.

Козлову уже вырезали все, что можно было вырезать без особого ущерба для

фигуры, — аппендицит, гланды. И он знал: любая операция страшна лишь в воображении. Не надо представлять, как будут резать твою живую, трепещущую плоть, ковыряться холодным скальпелем в твоих внутренностях, как будут рваться волокна, отслаиваться ткани и сочиться кровь из разорванных капилляров. Чтобы подавить страх, нужно вытеснить эти мысли из головы — и ты будешь чувствовать лишь боль. А любую боль можно вынести. Под отвратительный звук бормашины, тошнотворный запах паленой кости он дал себе зарок никогда не курить, никогда не пить спиртного, никогда не есть сладкого и трижды в день чистить зубы. «Конечно, хорошо бы иметь личного стоматолога», — подумал Козлов и сосредоточился на тепле, проникающем через локоть от упругого бедра женщины, сверлящей его зуб.

Металл задел оголенный нерв, и Козлов взревел.

— Тихо! Тихо! Потерпи! Терпеть можешь?

Терпеть он не мог. Но терпел.

Истерзанный Козлов, чувствуя привкус крови во рту и легкое головокружение, вышел из кабинета Галины и попал в плотную, кипящую от возмущения толпу. Люди не были безнадежно больными. Напротив — пышущие здоровьем парни и девчонки, мужчины среднего возраста, крепкие старички и одна интеллигентная старушка в кружевной шляпе, с «Глиняной книгой» Олжаса Сулейменова. Сквозь гам слышался звук рассыпаемого гороха. По паркету в нетерпении и волнении перетаптывались три десятка бутс на алюминиевых шипах. В толпе выделялись белые и голубые футболки с огромными красными цифрами на спинах. Здесь были две команды в полных составах, с запасными и судьями. В трусах и гетрах. С болельщиками.

Закрыв телом двери донорского пункта, весь в белом, как ангел у врат господних, стоял главный врач Найман и потрясал руками, пытаясь успокоить буздящих. Глаза его были полны усталости и укора.

— Прошу тишины, мы не на стадионе, — громоподобно басил он. — Фогель, чего прешь, как лосось на нерест? У тебя какая группа? Не знаешь? Надо бы знать. Вторая. А у Аубакирова четвертая. Это редкая группа. Твоя не годится.

— У меня тоже не вода из колодца, — обиделся Фогель.

Козлов протиснулся через толпу.

— Господи, Козлов, и ты туда же...

— Бу-бу-бу! — объяснил свое безобразное поведение Козлов.

— Ну, твой рабочий. Что дальше?

— Бу-бу-бу! — затряс перед носом Наймана четырьмя пальцами Козлов.

Врач тяжело вздохнул и открыл дверь:

— Таня, возьми у него кровь, — распорядился он тоном одолжения.

Толпа зашумела, требуя справедливости.

Миловидный вампир Таня похвалила вены Козлова и, вонзив иглу, в двух словах рассказала об аварии. Марат торопился на матч. На заринском повороте не удержал руль и свалился с грейдера. Состояние тяжелое. В коме.

С перетянутой жгутом рукой Козлов лежал на кушетке, смотрел в потолок, на котором волновалась тень кленовых листьев, и не мог избавиться от нелепой мысли: это месть мамонта. Не надо было тревожить его кости. Передряга, в которую попал Марат, была на его совести. Не вмешайся он в событие, оставь в покое вымершего зверя, все бы пошло другим чередом.

Сдав кровь, Козлов шел по коридору вдоль донорской очереди и мрачно мычал, здороваясь со всеми подряд — футболистами, судьями и болельщиками.

За автобусной остановкой прятался от орлиного взгляда хирурга Каражигитова режиссер народного театра «Степноморье» Владислав Кнюкшта, лишенный на днях слепой кишки. Он напоминал пескаря из сказки Салтыкова-Щедрина, но пескаря уже выпотрошенного. Белая пляжная панама, черные очки, фрак, больничные штаны арестантской раскраски и сандалии на босу ногу. Под мышкой, естественно, «Литературная газета». Из кармана торчит «Курьер ЮНЕСКО». Лицо в конспиративных целях прикрыто «Театром». Неотложные творческие задачи вынудили его на побег.

Козлов указал головой на сиденье рядом с собой.

Кнюкшта осторожно, как беременная женщина, сел, придерживая маленькое, но круглое брюшко двумя руками.

— Репетиция, — объяснил он, — но им, живодерам, разве объяснишь? — Посмотрел на профиль Козлова и восторженно: — А знаете, вы очень похожи на бело-гвардейца.

— М-м-м? — удивился странному комплименту Козлов.

— У нас нет актера на роль белого офицера. Подошел бы Парамонов, но Парамонов играет комиссара. Пробовали Ермакова, да он и сам просится, но какой из него белый офицер? Нос картошкой, «чокает», я уже молчу о походе. Выручайте.

— М-м-м! — запротестовал Козлов.

— А у кого оно есть, свободное время? В нашей стране, увы, безработицы нет. Приходите. Пьесу написал самодеятельный драматург. Некто Медведев. Человек с богатым жизненным опытом. Бывший осужденный. Можно сказать, политический. На дуэли из охотничьих ружей стрелялись с комсоргом из треста. Ухо отстрелил. Его теперь зовут Ваня Гог. Шерше ля фам, шерше ля фам. Работает кочегаром в центральной котельной, или, как говорят в народе, ЦК. Очень интересная пьеса. На местном материале. Специально к спектаклю в содружестве с местным поэтом Малихиным пишет песни местный композитор Шухомин. Это будет бомба! На областном смотре мы просто обречены на успех! Рванет так, что в Москве услышат. Спектаклем заинтересовалась республиканская молодежная газета, — слово «республиканская» Кнюкшта произнес в нос. — А люди какие играют! Элькин, Сабитов, Сметухина, Арнольд, Шарипов, Гайворонский, Гердт — вся молодая интеллигенция города. Кстати, вашему стоматологу доверена роль Маши, сердце которой разрывается от любви, с одной стороны, к красному комиссару, а с другой — к белому офицеру...

— М-м-м? — заинтересовался Козлов.

— Так зачем же откладывать? Сейчас же и едем!

Козлов осторожно похлопал по челюсти: не помешает ли?

Режиссер слегка отстранился и, прищурившись, с минуту изучал Козлова, как некое произведение искусства.

— А что если в сцене прощального свидания с Машей у Малинина жутко болит зуб? — поделился он творческим озарением. — Это добавит образу новые краски. Сделает его более трагическим.

— Замечательную вещь написал, Медведев, — подсел Козлов к мрачному драматургу, с ревнивой досадой наблюдавшему за сценой.

С подозрением покосился автор «Первой борозды» на лысеца и насторожился.

— Густо, сочно, остро...

— Ты что — проголодался?

— С чего ты взял?

— Термины у тебя какие-то кулинарные.

— Нет, правда, классика. Современная классика. Один маленький недостаток.

— Ну? — не поверил местный классик.

— Совсем маленький. Но досадный. В сцене прощания Маши с белогвардейцем Малихиным. Конечно, он ее классовый враг, козе понятно. Но она же его любит. Так? Почему бы ей на прощанье не поцеловать его — страстно, долго, прямо в губы? Прильнуть, понимаешь, всем телом, а потом как бы с трудом оторваться. Прощай, вражина, навсегда, вырвала я тебя из своего сердца, как молочай из огорода. Через это всю трагедию классовой борьбы можно передать. А? Согласен?

— Поцеловать, говоришь? — задумался драматург, забарабанил черными от въевшейся угольной пыли пальцами по крутому лбу. — С трудом оторваться? А что? Но у него же зубы болят.

— В том-то и дело! — энергично зашептал Козлов в ухо драматурга. — Это только подчеркнет мощь чувства, которое сильнее всего. Даже зубной боли.

Медведев поскреб в замешательстве массивную челюсть и крикнул из темноты:

— Алле! Владислав! Можно на секунду прервать репетицию?

И пошел враскорячку вниз, к освещенной сцене.

Когда он вернулся, Козлов спросил:

— Убедил Мейерхольда?

— А куда он денется? Я — автор.

— А вот в сцене первого свидания в вишневом саду. Там так и напрашивается первый поцелуй, — совсем охамел Козлов.

— А вот хрен тебе горький вместо поцелуя, — осерчал Медведев.

— Жалко тебе, что ли?

Драматург скрестил на груди руки и молчал с надменной обидой.

— Ну, нет так нет. Хотя пьеса от этого, несомненно, проиграет.

— Вот что я скажу тебе, Козлов. Во-первых, Козлов, я скажу, что ты Козлов. А во-вторых, Козлов, я скажу, что только дурак женится на красивой женщине. Хочешь совет? Увидишь красивую — отвернись и зажмурься. Я в твоём возрасте тоже в каждой курице жар-птицу видел.

— Талантливый ты человек, Медведь, проницательный, но злой, — опечалился Козлов, — а талант должен быть добрым. Согласен?

— Отвали.

— Значит, договорились?

— Ладно, будет тебе первый поцелуй. Но учти, — Медведев погрозил пальцем, — это все. И запомни: нет ничего печальнее счастливого конца.

— Извини, Медведь, я был не прав, — покаялся Козлов, — ты не талантливый, ты гениальный.

И он в волнении поспешил на сцену репетировать свой первый поцелуй со стоматологом Галиной. Святое искусство!

В ночном небе протарахтел знакомый мотор. Это местный Антуан де Сент-Экзюпери летел в ночи спасать хлеботора, которому требовалась срочная операция. С высоты Степноморск выглядел маленькой галактикой в крошечной тьме. Невидимый Дубровный помахал крыльями знакомому фонарю, всем знакомым девчонкам и растаял в космосе. На залитой светом плотине замерли в бесконечном поцелуе влюбленные, не обращая внимания на водителей большегрузных машин, считающих своим долгом высунуться из кабин и щедро поделиться личным опытом. В спортзале сердцем города взволнованно и гулко стучит баскетбольный мяч, азартно орут игроки. У подъездов домов с грохотом забивают «козла» и чешут затылки над шахматными партиями женатые люди. Холостяки, как мошки на огонь, спешат к летней танцплощадке, прозванной нерестилищем. Заслышав раскатистое: «Раз... Раз... Два... Три... Проверка!» — с моря и окрестных озёр слетаются тучи вампиров. Едва слышный писк сливается в коллективный рев бомбардировщика дальней авиации. Комарам нравится мини. Комары без ума от мини. Гитары вопят мартовскими котами, музыканты трясут патлами. Ребята они неплохие, но есть у них одна заморочка: любят петь по-английски. Студотрядовцы из иняза визжат от восторга: так им нравится степноморское произношение. Гремит и стонет ВИА, сотрясая вселенную.

Но стоило сделать несколько шагов в темноту из этого уютного светового облака — и ты погружался в другое тысячелетие. Там, влажные от невидимых туманов, дули над реками и озерами без названий древние ветры. Тревожно шелестела листва, шуршали травы под ногами крадущихся зверей, тоскливо кричали ночные птицы, и стогами свежего сена на фоне молодой луны темнели силуэты мамонтов.

Затонувший ковчег

...Белая степь содрогнулась от подземного взрыва, и одинокий колокол разверзся. Березы вперемешку с осинами, сбросив с ветвей туман инея, рассыпались вее-ром. Разрывая древесные корни, из темных недр в облаке пара восстал лохматый зверь. Страхнув с себя по-собачьи комья мерзлой почвы, снег, изломанные стволы, он поднял к тусклому холодному небу хобот и хрипло протрубил час возмездия. Темные бивни, изогнутые лирой, вибрировали от яростного напряжения.

Мамонт колыхнулся стогом зимнего сена и, шурша слежавшейся шерстью,

трубя и размахивая хоботом, двинулся прочь в пустоту степи, оставляя за собой глубокие синие следы.

Козлов знал, куда ведут следы. Рано или поздно этот разгневанный клубок непричесанной шерсти с налитыми кровью глазами настигнет его и пронзит черным бивнем, а потом будет долго топтать безжизненное тело.

Козлов слышал хруст собственных костей, и звук этот был невыносим...

Козлов проснулся от гулко-го, раскатистого грохота и с недоумением посмотрел на ледяное бельмо окна. Рановато для первого грома. Оттаяв заледеневшие усы и бороду ладонью, он вытянул губы трубочкой и выдохнул вчерашний перегар, целясь в авоську с булкой хлеба. К досаде мышей она была подвешена на обрывке обесточенного провода. Вместо люстры. Струя пара окутала на мгновенье авоську и кольцом растеклась по потолку, проросшему иглами инея.

Кому — хоромы, а кому и стог соломы.

Скосив глаза на буржуйку — переделанную в печь металлическую бочку из-под солярки, — он увидел разорванный изнутри замерзшим чаем заварник. Шоколадный лед повторял его формы. Лишь носик и крышка белели на ледяной скульптуре. Пол был усеян фарфоровой скорлупой.

Надо было вставать и идти в спальню, где в четыре ряда сложены поленицы дров. Но для этого требовались героические усилия. А Козлов, увы, не был героем. Он закрыл глаза, пытаясь погрузиться в теплый омут дремоты. Вот так бы уткнуть нос в овчину и спать, спать до майского тепла. Вспоминать приятное, летнее. Рыбалку. Грибы. Красивых женщин на пляже за плотиной. Но снилась всякая гадость: лежит он в вечной мерзлоте, а над ним — только белая степь и белое небо. А кости ноют, ноют.

Снова загрохотало. Будто накрыли железной бочкой и ударили обухом по дну. Косматый мамонт вонзил бивень в угол промерзшей квартиры и потряс весь дом.

Козлов сел, сбросив с себя два одеяла с торчащими клочьями ваты и полусъеденный молю персидский ковер. Спал он на полу совершенно по-дикому: в овчинном полушубке, унтах, сшитых из собачьей шкуры, шапке и рукавицах. Очень удобно в смысле экономии времени на раздевание и одевание.

Отворив заледеневшую дверь, он услышал сквозь скрип дрожащей лестничной клетки оглушительный бас: «Поберегись!». И тотчас же, гулко считая ступени, на него покатились чугунная батарея отопления. Она словно удирала от преследующего ее мата. В проеме дверей соседней квартиры визжала ножовка по металлу, и лом ритмично крушил плитку. Батарея между тем развернулась с мерзким звуком и застыла, повиснув на ребре.

Сверху, тяжело отдуваясь, спускался участковый Тартара. Скособочившись, он волок обитую дерматином входную дверь с номером «13».

Кобура съехала на середину живота и болталась листиком на чреслах Адама.

— Привет, Ович, — сурово поздоровался он, перешагивая через батарею.

— Что случилось, Еич?

— Да ну их, мародеров, — переводя дух, печально пожаловался Тартара. — Я уж и так, я уж и сяк. Даже пистолетом грозил. Ноль внимания. Тащат все, что под руку попадется, прихватизаторы хреновы. Метут все подряд. Главное — доску выломают, две покорежат. Ни себе, ни людям. А ты разве в пятнадцатый не переехал? Туда же вроде все остатки со всего микрорайона свезли. Гляди, как бы оторвановцы твою квартиру не разбомбили. Рубановскую выскоблили — один бетон остался. Я ж им еще говорил: вернутся люди летом из Тюмени — как им в глаза смотреть будете?

И разочарованный в земляках Тартара зашепшил прочь, выскребывая рубановской дверью на промерзшей стене китайские иероглифы.

— Посторонись! — заорал на Козлова нежданный мужик зверской наружности. Он догнал наконец-то сбежавшую батарею и теперь, прижав ее обжигающий холодом бок к обнажившемуся пузу, торопился на улицу, по-медвежьи раскачиваясь из стороны в сторону и побряхтывая. Потная морда искажена мученической гримасой. Глаза сумасшедшие. Дорвался человек до халявы, того и гляди, пупок отморожит.

Шустрая бабенка в драной фуфайке, испачканной навозом и известью, про-

шмыгнула в подъезд и, с ходу отпихнув Козлова, влетела в квартиру. Схватила со стены зеркало и ринулась вон.

— Ты это куда? — удивился тот и растопырил руки, пытаясь остановить грабеж.

— Отстань, дурак бородатый! — протаранила его по-хоккейному костлявым плечом бабенка, прижимая добычу к груди, и была такова.

В запорошенном снегом лестничном пролете загудели колокола. С верхних этажей волоком спускали чугунные ванны, и они бились днищами о заледевшие ступени. Зазвенело разбитое окно. «А-а-а, козел слепошарый! Ты ж мне ногу сломал!» — перекрыл грохот погрома жалобный вопль. Козлов закрыл дверь с табличкой «Не влезай — убьет!», не желая разделить участь неизвестного добытчика, раздавленного ванной. Подошел к окну и выскреб в толстом слое льда прорубь. Соседний дом угрюмо уставился на него пустыми глазницами десятков оконных проемов.

Нет цвета чернее, насыщеннее и безнадежней, чем эти провалы в бетонных черепках. словно сама вечность прячется в разграбленном и обреченном здании.

Кроме этой черноты и бетона, от здания ничего не осталось. Были содраны балконные решетки, водосточные трубы, и лишь кусок пожарной лестницы страшно повис на уровне третьего этажа. Довершая разгром, по крыше ползали юркозадые удалы, ошалевшие от дармовщины. И все — кривые, хромые, колчерукие. И куда только девался веселый, бесшабашный народ, некогда населявший эти места? Инвалиды азартно срывали кровельное железо и сбрасывали вниз. Обнажившиеся стропила торчали ребрами доисторического животного. Оцинкованные листы планировали подбитыми птицами и втыкались в сугробы, где с риском для жизни их подхватывали пацаны и тут же грузили на крышу обшарпанного «Запорожца». Передние и задние стекла его были разрисованы трещинами-паутинами, но защищены от слепого попадания теми же листами железа. Часть сорванной кровли застревала в ветвях старой березы, чудом уцелевшей в холодную зиму прошлого года. Пацаны карабкались по корявому стволу и трясли ветви. Работа кипела с невиданным энтузиазмом. Брезгливую жалость вызывали эти люди, доведенные до крайней нищеты и наконец-то допущенные к приватизации — разграблению ничейного города.

Мимо окна промелькнула батарея отопления и провалилась в сугроб. А вслед за ней заложил крутой вираж лист шифера, едва не разбив стекло. Ударился плашмя о дорогу и, растрескавшись, осыпал осколками приватизаторов.

Немощный старик, скользя подшитыми валенками по обледеневшей дороге, пытался тащить самодельные санки. Но силенок едва хватало на то, чтобы отрывать от земли громадные самокатные пимы. Деревянные полозья скрипели и трещали под тяжестью добычи: чугунная ванна, в ней — две батареи, сверху — рама, поперек — половые доски. Концы их расщеплены. Видно, выдирались в спешке. Старушка-воробышек подталкивает сани сзади. Груз плохо закреплен и рассыпается, застопорив проезд. Деда ругают спешащие соседи, объезжая место аварии по сугробу, дед ругает старуху. Ему непременно хочется сделать еще один рейс к ничейным руинам. В этом нищем, одержимом жадностью старом хрене с печальным удивлением Козлов узнал Парамонова — знаменитого некогда в Степноморске актера народного театра, механика машиносчетной станции. Он играл лирических героев — передовиков производства, по которым сходили с ума девушки. Удивительное насекомое — человек!

Мимо на красных мохнатых лошадках, запряженных в розвальни, привидениями из другой эпохи проносились жители окрестных деревень и аулов с трофеями павшего города. Вереницей тянулся пугачевский обоз в просвет между брошенными и разграбленными домами, туда, где за синей дымкой кладбищенской рощи призрачно белел элеватор. Грандиозное строение, ныне также разворовываемое. Его видно за сорок верст. Покруче египетских пирамид. И такое же теперь бесполезное. Местный небоскреб. Точнее, недоскреб. Незавершенка. Последний объект Козлова.

Да, много, много всего понастроили. Долго еще будут ломать и растаскивать.

Угрюмо смотрел Козлов из окна умирающего дома на убогую, разграбленную свою родину. Серые шиферные крыши, мерзлые котяхи на обледеневших дорогах, обломанные деревья, некрасивые люди вызывали невыносимую тоску по красоте.

Поэты и философы рождаются на свалках.

Налюбовавшись азартом массового мародерства, Козлов принес из спальни несколько полешек березовых дров. Ободрал бересту, настругал ножом щепы. Разжег буржуйку и стал ждать, когда в комнате потеплеет. Последний житель мертвого города мрачно размышлял, отчего так долго тянется самый короткий месяц в году. Еще вчера он думал, что хуже уже ничего не случится. И вот прошла ночь. А что будет завтра? Дом без крыши долго не стоит. И как пережить тоску, которая затопит дом, когда разойдутся по своим заасфальтным хижинам уставшие грабить дармовое добро оторвановцы, а по темным развалинам микрорайона зашуршит февральская метель. Он вспомнил дикое поле на месте, которое сейчас занимает черная дыра библиотеки, и Грача, увиденного через объектив нивелира — с белой рейкой в красных и черных полосках. Грач стоит вверх ногами, вниз головой над пугающей пустотой неба. Нивелир не врал. Грач гордо носил рейку, а он — связку колышков и топор. И топали они по планете, заросшей полынью и ковылем, вниз головой, смешно подпрыгивая, как намагниченные, на каждом шагу. Работа в геодезической партии была мистическим занятием. Там, где они вбивали колышки, потом вырастали, как грибы, дома. Они, пацаны, строили этот город, словно сея споры многоэтажных грибов...

В тот год Козлов переболел жестоким приступом ностальгии. Реку перегородили плотиной, и Ильинка, словно Атлантида детства, погрузилась на дно Степного моря. Конечно, конечно — водохранилища. Но в то время любили давать прозаическим объектам романтические имена. Воды сомкнулись над родительским домом, школой, речными заводами, грибными лесами, вишарниками. И не было дня, чтобы с тоской, разрывающей душу, он не вспоминал любимые закоулки, плетни и огороды, заветные места — старицы, острова на реке, друзей, живших на их краю. Если человек уезжает навсегда, это все равно что он умер... Они всей семьей переехали в строящийся город и погрузились в веселую суматоху стройки. Ее шум глушил ностальгию. Стройка была комсомольско-молодежной. Но комсомольско-молодежной она была лишь наполовину. Самый романтический объект — плотину — к досаде добровольцев, строили проворовавшиеся бухгалтеры, водители, совершившие неумышленные наезды на пешеходов, злостные хулиганы и другие правонарушители. Трудно сейчас передать его молодое тщеславие: они с Грачом были единственными мальчишками, которым позволялось входить на запретную территорию. Хотя ничего запретного там не было. Такие же люди. Такая же стройка. Вспомнил он мордастого ээка, который всякий раз просил принести ему баночку черной ваксы. Украдкой передавая контрабанду, Козлов с удивлением смотрел на нечищенные сапоги нового друга, теряясь в догадках, сколько же у него пар обуви. Но однажды его просветили, сообщив рецепт, как при помощи куска серого хлеба извлечь из ваксы спирт.

В дверь постучали.

Дико было слышать вкрадчивый, интеллигентный звук в разоряемом доме.

На пороге стоял бледный отрок. Весь в черном. Без перчаток. Черная сумка через правое плечо и электрогитара в черном футляре — через левое. Черная шапочка натянута до бровей. Не по сезону легкие черные полуботинки с тупыми носами. По лицу не определишь, где у человека больше родственников — в Азии или в Европе. Его можно было бы назвать обаятельно некрасивым, если бы не глаза неопределенного цвета, в которых тускло тлел усталый цинизм пожилого уголовника.

— Ты откуда такой жаркий?

Парнишка откашлялся в кулак, с некоторым испугом оглядывая убогое жилище звероподобного хозяина. Больше всего его поразил запах — резкий, неприятный.

— Из Алма-Аты, — сказал он простуженным голосом.

— А что — поезда еще ходят? — мрачно удивился Козлов и пригласил: — Присаживайся к огню, оттаивай.

Парнишка поискал глазами, куда бы поставить вещи: пол был не очень чист. На стене в темном пятне, оставшемся от одежного шкафа, висел велосипед, из-за простоты конструкции прозванный колхозником. Весь в летней пыли. В углу стояли лом, кайло, совковая и штыковая лопаты. И железо, и кленовые черенки в наплывах смерзшейся глины. Чуть поодаль — хорошо тронутый ржавчиной ледобур. Он повесил гитару на гвоздь, оставшийся от уворованного зеркала, а сумку после недолгого колебания поставил на единственный в квартире табурет, после чего присел на

чурбан у буржуйки и протянул к огню красные, окоченевшие руки. Проследил глазами трубу, выходящую через жестяную форточку на улицу, и спросил:

— Курите?

— Когда угощают, — ответил Козлов уклончиво.

Парнишка, пошуршав за пазухой, достал пачку «Соверена» и металлическую зажигалку. Занятная штучка — приятно тяжелая, гладкая, с откидной крышкой. Вещь. А сигарета — дрянь. Вата, а не табак. То ли дело был кубинский «Партогас». Затянешься — и атомный взрыв в легких.

— К Рубанам приехал? — попытался Козлов по лицу парнишки определить степень его родства с соседями и проинформировал вкратце, упреждая вопросы: — Месяц назад стариков в Полярск увезли. Просили за квартирой приглядеть...

Козлов поперхнулся нежным дымом и в некотором смущении развел руки.

Парнишка снова пошарил за пазухой и молча протянул конверт.

Конверт не был запечатан.

«Козлов!

Ты — моя последняя надежда.

Руслан — твой сын.

Он наркоман.

Физическую зависимость с него сняли, но некоторое время ему необходимо побыть вне своего круга. Хотя бы год. Положение очень серьезное. Трое из его друзей умерли от передозировки, один покончил жизнь самоубийством, одного осудили как наркоторговца.

Он славный, талантливый мальчик, но слабохарактерный.

Помоги ему.

Гуля».

Парнишка стянул с головы шапочку. Под ней обнаружилась короткая бархатистая шерстка, как у месячного щенка. Такие прически любят спортсмены, бандиты и люди искусства. Цвет волос апельсиновый, с седыми разводами. На затылке выстрижено «666». Весь внутренний мир наружу.

— Инвентарный номер? — спросил Козлов без выражения.

Парнишка хмыкнул. Он сидел, сгорбившись и ожидая неприятной беседы, с гримасой досады смотрел, как беснуется в буржуйке огонь. С него можно было писать портрет неудачника: крайнее слабование при непомерном тщеславии и слабо выраженной одаренности. Время от времени он выдувал в открытую дверцу струю дыма, и лицо его при этом делалось мстительным и холодным. Противным. И оттого беззащитным и жалким.

Козлов аккуратно вложил записку в конверт и бросил его в огонь.

— Я — алкаш, ты — наркоман. Вот и будем друг друга перевоспитывать, пока дом не рухнет, — сказал он, бросая вслед за письмом очередное полено.

Руслан посмотрел на него по-птичьи, не поворачивая головы: и это все?

— А мама говорила: у вас здесь рай. Золотая середина между городом и деревней. Все блага цивилизации и парное молоко каждый день. С севера бор, с юга река. Вместо центральной площади — роща. А в ней — земляника, грибы, дикая вишня и озеро. Караси на берег сами выпрыгивают. Только сковородку подставляй. А люди все такие добрые-добрые, такие добрые, что у каждого по два нимба над головой светится, и еще один, запасной. Дома на вешалке висит.

— Все правильно. Райцентр. Центр рая. Тем более, лет двадцать назад. Тем более, летом, отпуск. А насчет нимбов... Нимбы на рога перековали. Легко в раю порхать. А ты попробуй с белыми крылышками вокруг котлов со смолой покрутиться. Ангелы со СМУ «Райстрой» давно отсюда смотались. А нас, алкашей, по рассеянности забыли. Зачем нам рай? В раю самогона не гонят. В каком классе учишься?

Руслан нахмурился, оскорбившись:

— На первом курсе медицинского.

— Выгнали?

— Академический отпуск...

— Стоматологом будешь?

— Почему стоматологом? — фыркнул Руслан.

В соседней комнате слышались шлепающие звуки, и в кухню вошел, переваливаясь, пеликан. С неудовольствием посмотрел он на Руслана и остановился возле Козлова. Хозяин снял с крышки ведра кирпич, пошарил рукой в воде и выловил чебачка. Пеликан глотал рыбешку за рыбешкой и пританцовывал от нетерпения.

— Извини, брат, больше нет, — повинился Козлов. — И так мой обед сожрал. Я понимаю: для тебя это — семечки. Потерпи — вечером схожу под плотину, принесу еще.

Пеликан не поверил и сунул свой сачок в пустое ведро. С укоризной посмотрел на хозяина. Обиделся. В зоологии Руслан не был силен. Но не настолько, чтобы его не удивило появление южной птицы в суровом северном крае.

— А этот откуда здесь? — спросил он в легком смятении.

— С осени два на море залетели. Должно быть, от стаи отбились, а компас забарахлил. Заблудились. Смотрят — рыбы валом, зачем куда-то лететь? Жили на море до морозов. Лед стал — поселились на протоке под плотиной. Там вода не замерзает. Народ толпами ходил. Что за твари носатые? Узнали, что птица несъедобная — интерес резко упал. Им мороз по фигуре. Была бы открытая вода. Перезимовали бы. Правда, протока глубокая, а ныряют они хуже уток. Рыба по дну ходит. Много сачком не наловишь. Приноровились воровать. Сидишь над лункой, смотришь на кивок, а они сзади подкрадутся, рыбку стащат — и в развалку к протоке. Одна беда — снег на мокрые перья намерзает. И столько его под брюхом поназамерзало, что уже летать не могли. Как-то прихожу — одного нет. Лиса утащила. А может быть, не все знали, что пеликан — птица несъедобная. Пришлось взять. Квартирует до весны. Жилец спокойный. Вот только жрет много и гадит. Всю поленницу известью раскрасил. Давно я так тепла не ждал. Есть у меня большая и светлая мечта — выпустить засранца и квартиру проветрить. Петькой зовут. Хотя кто их, пеликанов, разберет — Петька он или Полька.

Выслушал пеликан свою печальную повесть, брызнул на пол белой известью и с достоинством поковылял к себе на поленницу.

В дверь забарабанили.

— Ну, вот добрались райские жители и до моей берлоги, — вздохнул Козлов и швырнул дощечку, а следом окурки в печь, — ангелы голозадые, горький хрен бы им попереки морды.

Но на пороге стояла вполне приличного вида старушка с заплаканными глазами. В руках она держала черную полиэтиленовую сумку с изломанными волнами Сены отражением Эйфелевой башни.

— Ой, чем это так пахнет?

— Французскими духами, Павловна. Что случилось?

— Выручай, Овеч, Григорий помер, — и запричитала, сморкаясь в шаль. — Последний мужик был на вдовьей улице. Весь бабий курмыш к нему бегал: Гриша, прикрути, Гриша, приколотит. Я — к Федору, а он заломил три тысячи. Да где ж я возьму три тысячи? А его тоже надо понять: на одну солярку какая прорва денег уходит. Да Надя посоветовала: сходи к Козлову, Козлов хороший человек, не откажет. Я тут сальца, яичек немножко принесла да «Медведя». А у вас, я погляжу, дом-то крушат, аж гул по всей Оторвановке стоит.

— Ленинград, чистый Ленинград, — согласился Козлов, принимая сумку. — Одна радость — с самолетов не бомбят. А так — хуже блокады.

— Где сам-то жить собираешься?

— До дождей здесь останусь, а там видно будет, — ответил Козлов с мрачной беззаботностью.

— Ой, я со свету-то совсем ослепла! Это кто у тебя? Здравствуйте.

Руслан поднялся с чурбана и представился степенно, хотя и неопределенно:

— Родственник.

— Уж не Валин ли сынок? — снедаемая неистребимым женским любопытством спросила начинающая вдова, забыв на мгновение о горе.

Но Козлов вернул ее к главной теме разговора:

— Место определили?

Старушка всхлипнула и снова принялась тереть угол шали.

— Определили, определили. Между Марией и Иваном. Хорошее место. Сухое. Не скучно будет Григорию со своими.

Проводив Павловну, Козлов поставил сковороду на покрасневшую от жара буржуйку. Зашкворчало сало. Пять золотых солнц слились в олимпийскую эмблему и мелко задрожали в белом сиянье, распространяя по стылой бетонной пещере, сотрясаемой ломами и кувалдами райских жителей, неземной аромат.

Козлов смахнул рукавицей со стола на пол остатки предыдущей скудной трапезы, проворчав в изумлении: «Ты посмотри — и холод их не берет! Должно быть, беженцы. Мои-то давно с голода передохли. И перестройка им, понимаешь, нипочем. Живучие твари. Что ни говори, а таракан — это звучит гордо». Тотчас же из-под поленницы выбежала мышка, но на полпути к крошкам остановилась и вопросительно посмотрела на Руслана.

— Это Машка, — представил ее Козлов, — существо воспитанное, интеллигентное. Многодетная мать. Обижать ее не надо.

Ободренная Машка схватила кусочек хлеба и шмыгнула в дровяную спальню.

Козлов подставил под хлебную люстру табуретку, и, взгромоздясь, достал из авоськи булку — серый второсортный кирпич, слегка подмороженный и заиндевевший.

Долго с легким презрением рассматривал он бурого медведя на этикетке прозрачной бутылки.

— Вообще-то мы с Машкой как существа интеллигентные по утрам воздерживаемся. Как правило, — поделился он своими сомнениями, — но уж слишком много всего случилось в это утро. Ты-то как относишься к этой вредной привычке?

Руслан неопределенно пожал плечами:

— Не каждый день с отцом знакомишься.

— Да ты, я погляжу, совсем продрог, — внезапно пробудился родительский инстинкт в Козлове.

Он пошарил в шкафу и достал два игрушечных ведерка из пластмассы. Одно белое, другое желтое. Обдул их и поставил на стол — желтое себе. Подумал-подумал и поменял на белое.

— Ну, по ведру за встречу — и за работу. А тебе мой совет — пить пей, но никогда не похмеляйся. Это мне перед смертью дед завещал. Егором звали. Если бы вовремя дали похмелиться, до сих пор бы жил...

Выпили и не поморщились. В душах пробудилась взаимная симпатия. Промерзшая берлога стала довольно уютным местом.

Козлов ножом прочертил границу по сковороде: себе отделил два яйца, Руслану три. Руслан взял нож и разрезал нечетное яйцо надвое. Потом самокритично стукнул себя кулаком по короткошерстной голове и раскрыл сумку. Промерзшую, провонявшую пеликаном Петькой квартиру заполнили запахи южной осени.

— Да, — сказал Козлов с уважением, — такую красоту и есть жалко.

— Апорт, — пояснил Руслан, — с нашей дачи. Такое и в Алма-Ате сейчас не увидишь. Вырождается.

Козлов отер лезвие ножа хлебной коркой и нарезал яблоко на ломти, как арбуз.

— Батя... Можно я тебя батей буду звать? Это ничего, что я к тебе приехал?

Козлов поднял руку в неопределенном жесте.

— Живи. А станет неумоготу — автобусы еще иногда ходят.

— Батя, а когда ты меня в последний раз видел?

Козлов перестал жевать и, уставившись на хлебную люстру, задумался, дирижируя вилок в такт исчисляемым годам. Наконец, подбив итог, сказал:

— Ну, в общем, я тебя сегодня в первый раз и увидел.

Настала пора разглядывать хлебную люстру Руслану.

— В смысле, я еще не появился, когда вы с мамой разбежались?

Козлов снова посмотрел на люстру, подергал себя за бороду и сказал сурово:

— В общем, так. Отдыхай. Заодно и барахло постережешь. А я малость поработаю. Приду — добеседуем.

— А где ты работаешь?

— О! Работа у меня важная. Работа нужная. Работы много. Могилы я рою.

Руслан выпил свои полведерка, подергал себя за нос, сдерживая гримасу отвращения. Уж лучше на кладбище прогуляться, чем нюхать духи пеликана Петьки.

— Я с тобой.

— Как раз в таких туфлях могилы и роют, — одобрил его намерения Козлов.

Полез в шкаф и вытащил валенки. Из одного извлек хорошо початого «Медведя», из другого вытряхнул мышку. Мышка была незнакомая, безымянная. Представлять ее он не стал. Переворочил в шифоньере с оторванной дверцей кучу тряпья и выбрал нечто, похожее то ли на большой платок, то ли на маленькую скатерть. Критически осмотрел ткань на просвет и разорвал надвое. Получились замечательные узорные портянки с китайскими драконами. Затем выдернул из-под ковра и двух одеял тулуп, служивший матрацем, встряхнул и сказал одобрительно:

— Совсем другое дело. Одевайся, на человека будешь похож.

И спрятал бутылку из валенка и початую бутылку от Павловны на полку.

Руслан посмотрел на обрамленные поленницей из березовых и осиновых дров коричневые корешки переплетов. Затертым золотом на них были оттиснуты фамилии старых философов. Бердяев, Федоров, Соловьев. Отдельно стояли две особо потрепанные книги — «Мамонты» и «Вечная мерзлота». Библия, Коран. «Путь Дао». Руслан относился к людям, которых очень легко занять. Достаточно подвести к книжной полке. Но вниманием его завладел предмет, стоявший между «Мамонтами» и «Вечной мерзлотой», который он принял за пепельницу. Из углубления торчали зубная щетка и наполовину скрученный тюбик пасты. Человек, который чистит зубы, отметил Руслан, не совсем пропащий человек. Он взял серый булыжник в руки. Козлов замычал, схватившись за челюсть.

— Положи на место, — попросил он поспешно.

Руслан поставил булыжник на полку, и по лицу старшего Козлова растекалась благодать.

— Что это? — спросил Руслан.

— Зуб.

— Я имею в виду это, — протянул он руку к булыжнику.

— Не трогай! — взмолился Козлов. — Я же говорю — зуб. Зуб мамонта.

— Нет, экскаватор на кладбище — как-то не по-человечески. А еще хуже, когда баллоны жгут, чтобы мерзлоту растопить. Копоть, грязь. Не кладбище, а свалка. Мертвых людей уважать надо. Они это заслужили.

— Чем это они заслужили? — спросил Руслан.

— Умерли вовремя. Лежат себе тихо. Про будущее не врут. На прошлое не плюют. Гадостей никому не делают, землю не засоряют. Хотя и мертвые, а все равно люди. Кладбище — архив истории. Жил такой Федоров, библиотекарь, так он вообще говорил — музей. Хранилище.

— Чего — хранилище?

— А людей. До воскрешения.

— Чему там воскресать? — не поверил Руслан, разглядывая пожелтевшую фотографию старика на жестяной пирамиде.

— Может быть, и так, — согласился без энтузиазма Козлов, вытапывая в сугробе правильный прямоугольник.

Аккуратно вырезал штыковой лопатой кирпич из плотного снега и пояснил:

— Чем грязнее работа, тем чище надо работать. Для самоуважения. В нашей профессии без самоуважения нельзя.

Руслан взял совковую лопату. По тому, как неуклюже отбрасывал снег, было видно, что делал он это не очень часто. А может быть, не делал никогда.

Когда обнажилась земля, Козлов острым концом лома наметил границы могилы, одновременно прикидывая ее размеры: «Главное — продолбить верхний слой, мерзлоту. Хочешь погреться? Подолби. А я схожу кормильцев проведая».

И он пошел вдоль выглядывающих из сугробов крестов и звезд, оставляя в скрипучем снегу глубокие следы, а в синем небе белые облачка дыхания. Солнце слегка золотило их. И они растворялись над могилами без следа: золотое в белом, а белое в синем. Неуловимые, как души лежащих под настом и мерзлотой людей.

Следы наполнялись небесной синевой. Попетляв между занесенных снегами памятников, он остановился у могилы без особых примет. Белое облако дыхания сменилось голубым табачным дымом. Руслан, долбя железом мерзлую броню планеты, между делом поглядывал на сутулую спину чужого существа, которое было его отцом, и думал, что мужик, которому приятно быть на кладбище, конченный человек. Козлов думал о том же, но в обратном смысле: хорошо бы, если бы люди, от которых зависит судьба народа, почаще бывали на кладбище. И не на столичном, где надгробья ставятся для тщеславия. А на родном деревенском погосте, где в забвении лежат близкие люди. Без свиты и охраны постоять над милым прахом, посмотреть на себя глазами мертвецов, которым уже нет смысла притворяться, и подумать о вечном. Какой отчаянной смелостью должен обладать обыкновенный человек, чтобы взвалить на себя страшную ношу Бога — ответственность за судьбы людей. Нужно быть наивным ребенком, сумасшедшим, мошенником или святым. Но в то, что среди пастырей народа когда-то были, есть или будут святые, Козлов не верил.

Он обошел три могилы, на которых была написана его фамилия, но остановился у Ярыгина. Белокрысы мальчишка, прищурив глаза от летнего солнца, улыбался в заснеженное пространство.

Брошенный любимой женщиной, он спился бы в тот же год, если бы не Ярыгин.

Козлов терялся в догадках: кому нужно совать нос в его почтовый ящик? Вот уже второе письмо от брата в течение месяца было вскрыто.

Возвращаясь с работы, застал с поличным добровольного цензора. Им оказался чумазый соседский мальчишка. На лбу его химическим карандашом было написано: «Ярыгин дурак». Несмотря на такую характеристику, он производил впечатление степенного человека. Из-за пазухи выглядывал одноглазый щенок.

— Послушай, Ярыгин, что ты делаешь в моем почтовом ящике? Это мое письмо. Его прислали мне. Понимаешь?

— Понимаю. А я прочитаю и назад положу.

— Нехорошо читать чужие письма, — строго сказал Козлов. — Вот тебе было бы приятно, если бы твои письма читали чужие люди?

— Мне никто не пишет, — грустно пожаловался Ярыгин.

Со скрипом открылась дверь. Послышался детский плач. Дверь хлопнула, словно выстрелила, и плач стих. Непричесанная женщина в резиновых сапогах на босу ногу, проходя мимо, переложила мусорное ведро из правой в левую руку и залепила Ярыгину затрещину. На всякий случай. Щенок юркнул за пазуху и заворчал из темноты.

Ярыгин не обиделся и не удивился.

— Вы уж извините его, — печально попросила Козлова женщина, отворяя плечом входную дверь, и пояснила, — хулиган он у меня.

Мать-одиночка, женщина нервная, задерганная, была она обременена тремя разноцветными детьми. Старший Ярыгин — любитель чужих писем — беловолос, средний — огненно-рыжий, младшая Индира — смуглая, как индианка.

— Ну, прощай, Ярыгин, — Козлов протянул руку за письмом.

Но Ярыгин по-своему расценил этот жест. Держа детскую ладонь в своей руке, Козлов почувствовал слабый удар тока, на долю секунды парализовавший дыхание.

Кто это ему на лбу афишу нарисовал?

Вечером следующего дня у почтовых ящиков случился большой переполох. В подъезде бурно митинговали жильцы. Из ящиков струился густой дым, по подъезду летали черные бабочки — лохмотья сгоревшей бумаги. Румяный пенсионер левой рукой потрясал спичечным коробком, а правой крепко держал за ворот Ярыгина.

— Поджигатель! Бандит! — выкрикивал он зычным командирским голосом.

Полуподвешенный Ярыгин держался с достоинством. Руки по швам. Глаза не бегают, а внимательно смотрят в рот очередному оратору. Одноглазый щенок крутит под ногами и твякает. Пискляво, но звонко.

— А может быть, это не он? — засомневалась однурукая тетя Зоя.

— А это что? — румяный дед с удвоенной энергией затряс коробком.

Тетя Зоя мыла подъезды, поэтому чаще других общалась с пацанами.

— Валерка, скажи — ты поджег? — спросила она Ярыгина.

Полузадушенный Ярыгин тихо, но очень убедительно отверг обвинения:

— Я не поджигал, я тушил.

— Дайте-ка спички, — попросил Козлов главного обвинителя.

В коробке спал Вася-Вася-Василек, божья коровка. Лежали трупки высохшей пчелы без жала и красивой бабочки с обтрепанными крыльями. Были там еще две бирюзовые бусинки. В смущенной тишине жильцы разглядывали сокровища Ярыгина.

— Что же ты, Петрович, напрасную бочку на Валерку катишь? — воспрянула духом тетя Зоя, выразительно жестикулируя единственной рукой. — Он что, пальцем газеты поджег?

Розовый пенсионер с большой неохотой отпустил ворот ярыгинской фуфайки, но Валерка остался в подъезде — дослушать, чем кончится канитель. Жизнь научила его относиться к подзатыльникам и прочим обидам как к чему-то неизбежному и естественному.

Через неделю позвонили в дверь. Козлов открыл. На пороге стоял Ярыгин.

— Вас вызывает Лариса Васильевна.

— Кто такая? — удивился Козлов.

— Да училка, — протянул Ярыгин с легкой досадой.

— Не понял.

— Да это... Подушечкой окно разбили... Ну, она мокрая была, а Енко нагнул. А она говорит: приведи отца, — невнятно пояснил Ярыгин.

— А я при чем?

— Да это... Мамка дерется сильно.

— Так, — задумался Козлов, — ну, проходи, поговорим. Два стекла высадил?

— Одно.

— Уже лучше.

Ярыгин подвел Козлова к хрупкой женщине и галантно представил:

— Вот.

— Вы его папа? — удивилась она, разглядывая Козлова через стекло, которое он держал в руках.

— Мама. Куда стекло вставлять?

Учительница смутилась.

— Идемте, — и застучала каблучками по коридору.

На юбочке — ни складки. Идет и вся звенит, как колокольчик. Век бы шел за ней.

Осторожно положил Козлов стекло на преподавательский стол, достал из кармана стеклорез и рулетку.

— Иди, погуляй, Ярыгин, пока мы с Ларисой Васильевной о твоём поведении поговорим.

Ярыгин положил на стекло металлический метр и выпорхнул вон из класса.

— Кем вы ему приходитесь?

— Самый близкий человек — сосед по лестничной площадке.

— Это не разобьют, — сказала она с сомнением. — В два раза толще прежнего.

— Разобьют, — разуверил ее Козлов. — А вы замужем?

— Замужем, — ответила она холодно. — Я, собственно, не о стекле хотела поговорить. Но, как я поняла, вы ему совершенно посторонний человек.

— Все мы братья и сестры. Все от одной мамки. Хороший пацан. Животных любит. А что стекло разбил, с кем не бывает. Ярыгин!

Хмурый Ярыгин тотчас же явился на зов и стал внимательно, с некоторым изумлением изучать наглядное пособие: «Падёж дополнения при переходных глаголах с отрицанием».

— Будешь еще окна колотить? — спросил Козлов, при этом алмаз, царапая стекло, издал препротивный звук, от которого учительница сморщила красивый носик.

— Гадом буду! — поклялся Ярыгин и добавил, подтверждая искренность и серьезность своих намерений. — Продам всех вождей за одну копейку!

— Верю, — сказал Козлов, но не уточнил, чему он верит: то ли тому, что Ярыгин

станет гадом, то ли тому, что по крайне низкой цене готов торговать уважаемыми людьми.

— Стекло — ладно. Стекло вставить можно, — печально вздохнула Лариса Васильевна и строго посмотрела на Ярыгина. — С успеваемостью у него плохо. Боюсь, на второй год останется.

— Так ты двоечник? — удивился Козлов.

Ярыгин скосил глаза, пытаясь разглядеть кончик собственного носа.

— Скажи, Ярыгин, о чем ты мечтаешь? Что бы ты больше всего желал в жизни?

Ярыгин думал недолго.

— Подводное ружье, — прошептал он в смущении и глубоком унынии, осознавая всю несбыточность своей мечты.

Козлов прикусил губу, пытаясь скрыть улыбку, и подумал: как легко сделать счастливым человека, не искушенного роскошью.

— Хорошо, — хлопнул Козлов в ладоши, — будет тебе ружье, лапы и маска.

— И еще трубка, — поспешно добавил Ярыгин.

— И трубка. Если закончишь год без троек. Ты, кстати, в каком классе?

— В пятом, — ответила за Ярыгина классная руководительница, изумленная вопросом родителя-самозванца.

— Договорились?

— Договорились, — ответил без особого энтузиазма Ярыгин.

Легко сказать — без троек. Тройку тоже еще заработать надо.

В молчании возвращались они домой. Козлов думал о ножках классной руководительницы. Ярыгин мрачно размышлял о грандиозности поставленной перед ним задачи.

— А ты о чем мечтаешь? — поинтересовался двоечник Ярыгин.

— Я уже ни о чем не мечтаю, — посмотрел сверху вниз на маленького заморыша Козлов. И в этот самый миг понял, что кривит душой. Ему хотелось сына. Пусть даже двоечника. Это внезапное желание удивило его. Рука совершенно самостоятельно опустилась на голову Ярыгина и потрепала соломенные вихры.

За разговорами они не заметили, как за ними увязался щенок. Маленький, чумазый, кривоногий. Он шел с гордым видом существа, находящегося при исполнении важного дела.

— Пошел домой! — строго сказал Козлов и для убедительности топнул ногой.

Иногда, чтобы оставаться в счастливом неведении, хорошо не знать язык. Песик замотал хвостом, засеменил лапками, обрадованный уже тем, что на него обратили внимание. Отбежал и спрятался за березу. Из-за ствола выглядывала лукавая мордашка и торчал подрагивающий в азарте кончик хвостика.

— У него, наверное, дома нет. В прятки играет, — объяснил Ярыгин, знаток собачьих душ, и, в свою очередь, спрятался за березу на другой стороне аллеи.

Песик лохматой торпедой вылетел из укрытия и закружился вокруг Ярыгина, визжа и подпрыгивая. Крепился Козлов, крепился, но не удержался от игры.

— погоди, я тебе сосиску вынесу, — сказал у подъезда запыхавшийся Козлов псу.

Щенок сидел с сосиской во рту, как Черчилль с сигарой, и проникновенно смотрел в глаза. Сосиска — хорошо, но мне, такое дело, хозяин нужен.

— Ну, иди, гуляй, — сказал Козлов, чувствуя себя отчего-то неловко.

Через час в дверь заскреблись. На площадке сидел щенок и стучал хвостом по полу.

— Пошел! — прикрикнул Козлов и замахнулся.

Пес лег и поднял вверх лапы.

— Ну, что с тобой делать? Звать-то тебя как?

— Дядь Паш, назови его Черчиллем, — посоветовал снизу невидимый Ярыгин.

Пес, не дожидаясь приглашения, прошмыгнул между ног Козлова в квартиру.

Козлов курил у могилы Ярыгина. Отчего так печально вспоминать самые приятные минуты прошедшей жизни?

...В дверь осатанело тарабанили. Козлов с досадой оторвался от сладостного, как сон, занятия: излияния ностальгии на бумагу. Он был из последнего поколения,

которое еще что-то помнило о затопленной деревне. Уйдет оно, и его родовое гнездо растворится без следа в проточной воде и недолгой, неблагодарной памяти земляков. Он люто ненавидел грабителя, посягнувшего на редкие и тайные минуты удовольствия, когда рука сама выводит строчку за строчкой. А умиленная душа отдыхает в благодати воспоминаний. И без того не очень правильные черты исказила желчная гримаса. Козлов поспешно, как аристократ надкушенный бутерброд, прикрыл общую тетрадь книгой. Однажды он увидел, как Сашка Шумный шлифовал ногти дамской пилкой. Вот таким же неприличным для мужика занятием представлялась ему его писанина.

И любовь к затопленной родине, и любовь к сбежавшей от него женщине Козлов старательно, но безуспешно лечил работой и этой летописью. Да, он страдал редкой по нынешним временам болезнью — ностальгией, любовью к родной глуши. И хотя никто, кроме психиатров, ее, как и просто любовь, за болезнь не считает, страдал ужасно. Первый приступ случился с ним в детстве, когда семья переехала на соседнюю улицу. Дни напролет с тоской смотрел он с сарая нового дома на крышу старого, будто с Луны на Землю, и душа его разрывалась. В те годы мир представлялся ему пространством, которое можно было обозреть с вершины самого высокого тополя в селе. Мир включал в себя Ильинку, полукружье реки, Полянскую сопку, Бабаев бор и был накрыт голубым стеклянным колпаком. Но однажды эту уютную иллюзию нарушил вертолет, приземлившийся возле большой лужи между базаром, больницей и рестораном «Колос». Утки и гуси в панике покидали лужу, люди со всех сторон бежали к шумной машине, окружая ее плотной любопытной толпой. «Космонавт! Космонавт!» — дико орали мальчишки, пробегая мимо плетня, за которым прятался маленький Козлов. Из серебряного радиоколокола, висящего на столбе посередине лужи, раскатистый, захлебывающийся от восторга голос диктора сообщал об успешном приземлении. То, о чем говорило радио, Козлов видел в щель между тальниковых прутьев. Солнечный свет слепил. Делал нереальным привычный мир. Ноги, как картофельная ботва, вросли в землю. Он стеснялся предстать перед глазами вездесущего существа и страшился большого, НАСТОЯЩЕГО мира, привезенного в Ильинку в чреве вертолета. Привкус паслена на синих губах. Из залитого солнцем вертолета вышел человек. Над головой его светился нимб офицерской фуражки. Он помахал рукой, сел в белую «Волгу» и уехал в райисполком разговаривать с правительством. Лужа и дикое поле за плетнем, из-за которого подсматривал за космонавтом Козлов, в тот день были центром мироздания. С тихим звоном трескался и рассыпался на осколки голубой колпак неба.

Тяжело перенес Козлов затопление Ильинки. Боль разлуки усиливалась чувством вины — к ее гибели и он приложил руку, строя Степноморск как надгробный памятник родным местам. Поступив в строительный институт, вскоре перевелся на заочное отделение. Не мог жить без родной дыры. Бывают такие странные болезни и такие странные люди, не способные на измену, им на роду написано быть неудачниками. Вы, надеюсь, ностальгией не страдаете? Вот и славно. Хотя, с другой стороны, что в этом хорошего — не любить родные места? Впрочем, никто о странных болезнях и тайных увлечениях Козлова не подозревал. Все знали его как хмурого молчуна, хорошего специалиста и виртуозного матерщинника. Прекрасная характеристика для настоящего мужика.

Проходило время, душа покрывалась коростой. С угрюмым усердием он выполнял и перевыполнял производственные планы, строил город, а по вечерам читал тяжелые книги в серых переплетах. Философия — мрачная наука. Утешения ее были безысходны: мир в целом устроен еще бессмысленнее, чем твоя отдельная, жалкая жизнь. С каждым прочитанным томом он становился все угрюмее. Но других книг, кроме разве что справочников по строительству, не признавал. В свое время его смешили слезы, проливаемые Галиной над романами о несчастной любви.

— Человек врет, а ты расстраиваешься, — сердился он, ревнуя ее к очередному сочинителю.

— Что ты понимаешь, Козлов, в художественной литературе! — смотрела на него Галина глазами, полными страдания и укора. — Это не вранье, это вымысел. Ты — как мальчишка на каникулах.

Она пыталась, но не могла объяснить прямолинейному и серому, как его мосты и микрорайоны, Козлову, что, когда речь идет о душе, правда и ложь имеют совсем другое измерение. Есть книги, выдуманные от первого до последнего слова, а все в них — правда. А самые лживые книги как раз те, что лишены вымысла. Она говорила и говорила, помогая себе руками, путаясь и сбиваясь, злясь на собственную запальчивость и неумение облечь простую и ясную ей мысль в слова, понятные саркастически ухмыляющемуся Козлову. А он упрямо твердил одно и то же: «Вранье — всегда вранье, для души оно или для гонорара».

Трудно земному человеку понять инопланетянку.

«Как? Ты не читал «Прощание с Матерой»? — пришел в ужас художник Гофер. — Ты, переживший затопление своей деревни? Извини, Козлов, но, пока не прочтешь, я с тобой разговаривать не буду». И, не допив свою кружку пива, убежал за книгой. Не так уж много оставалось в Степноморске людей, с которыми можно было поговорить по душам. Пришлось прочесть. Книга затопила его ностальгией. Он все еще жил там, в подводной деревне, которая представлялась ему ковчегом, лежащим на дне. Другой родины, кроме этой милой утопленницы, у него не было. Ему захотелось воскресить все, что осталось в памяти. Пусть хотя бы на бумаге. На своей короткой жизни он заметил: прошлое всегда остается без свидетелей. И судить его по своему усмотрению может любой самозванец. Он обязан был оставить свои показания.

В дверь забарабанили с новой силой.

«Да это, должно быть, Индирка, — сообразил Козлов, — конечно, Индирка, чертенок. Не может дотянуться до звонка. Надо открыть, не то дверь выломает».

Она. Под носом две зеленых сопли. Черные влажные глазищи сияют. Стоит на пороге Чебурашкой, растягивает руками уши, улыбается.

— Уйди, Чельчиль, всю соплями измажешь, фу! — сердится она и отворачивается от щенка, который в припадке радушия визжит и подпрыгивает, пытаясь лизнуть гостью в нос.

Это не Индира. Это само счастье в образе Индиры.

— А мне мамка дылки в усах плоколола! Сельги повесит! С камусками!

Вот в чем дело! Действительно, в мочках ушей аккуратные розовые дырочки. Козлов угрюмо кашлянул. Черт знает что. Пойти сейчас и отстегать эту мамку резинками от эспандера.

— Дай-ка сюда нос, Софи Лорен.

Софи Лорен, все так же растягивая уши, клует носом в платок.

— А ты все писыс, — с осуждением разглядывает заваленный бумагой стол младшая сестренка Ярыгина. — Луцсе бы делом занялся. Гол как сокол, — повторяет маленькое косноязычное эхо чужие слова.

— Не очень-то ты сегодня вежлива.

— Везливые пелевелись, — скороговоркой выпалила она очередной афоризм.

— Вот как. И куда же они перевелись?

— Не знаю, — беззаботно пожимает плечами гостья.

Козлов кладет на стул советскую энциклопедию, словарь русского языка, сопромат и усаживает на эту интеллектуальную поленицу восточную красавицу.

— Уши-то отпусти. Оборвешь. Вот тебе карандаши, вот тебе блокнот. Давай поработаем.

— Лабота не волк, в лес не убезыт, — бормочет она, как говорящая кукла, черкая что-то в блокноте, — луцсе ласказы мне сказку. Уйди, Чельчиль, блысь!

Сказки Козлов все позабыл. Приходится выдумывать на ходу.

— Жила-была сопливая девочка. И был у нее ночной горшок. Да не простой, а из чистого золота...

Звонок. Спасите наши души — для тех, кто знает азбуку Морзе. Условный знак. Это Ярыгин. Работать сегодня не будем. И сказки, слава богу, рассказывать не будем. Сегодня будем готовиться к контрольной по математике. Уж очень сильно мечтает Ярыгин о подводном ружье.

— А сказы, если в суглоб сахал полозыть — получится молозеное?

Звонок.

— У вас мои приبلуды?

Соседка. Но не растрепанная, как всегда. Волосы уложены, губы подкрашены, клипсы, бусы, декольте. Роскошная, оказывается, женщина.

— А ну, марш домой! Нашли ровно. Замучили они вас? — И Черчиллю: — Хороший песик, славный песик!

— Они мне не мешают.

Ярыгин с сестренкой молча подчинились. Проходя под рукой матери, инстинктивно пригнули головы в ожидании подзатыльника. Медвежата и медведица.

— Растут без отца — вот и липнут к хорошему человеку, — говорит она, — вы уж извините.

— Да не за что.

Но она не уходит.

— Я смотрю — порядок-то у вас холостяцкий. Давайте я вам хоть комнаты приберу.

— Спасибо, не надо, — испугался Козлов.

Но женщина решительно двинулась в ванную.

— Да у вас и тряпки нет, — растерялась она, — погодите, я за своей сбегаю.

Вернулась она быстро и с ходу, в праздничном наряде, преодолев отчаянное сопротивление Козлова, ринулась наводить чистоту.

Опешивший от такого напора Козлов стоял в коридоре, прислонившись плечом к стене, и смотрел, как она яростно мыла пол. И чем дольше смотрел, тем больше она ему нравилась. Журчала выжимаемая вода, сочно и влажно шлепалась о пол тряпка, раскачивались обтянутые тонкой материей тяжелые бедра, сверкали клипсы, позвякивали бусы, волнующе пахло домашней женщиной. Звонко таявал удивленный не меньше Козлова странным занятием соседки Черчилль. Она оглянулась через плечо, и Козлов не успел отвести взгляд. И в эту опасную, откровенную секунду он физически почувствовал, как ему не хватает женского тепла. Даже колени дрогнули. Женщина мыла пол у самых дверей, и теплая волна от ее разгоряченного работой тела окатила Козлова, словно пар из каменки. Он отступил, пропуская ее в спальню, но коридор был тесен, и, проходя мимо с ведром, она коснулась его.

— Вы не стесняйтесь, — сказала она, с томной жалостью окинув взглядом его убогую, плохо застеленную кровать. — Если надо белье постирать, мне это нетрудно.

— Да что вы! Зачем? — в ужасе запротестовал он, смутившись. — Пойду чай поставлю. Хотите чаю?

С этого вечера она приходила к нему часто. После двенадцати, дождавшись, когда уснут дети, в халате и комнатных тапочках. Тихой мышкой скреблась в дверь, опасаясь звонком разбудить любопытство соседей по площадке.

«А что, — думал Козлов, — почему бы и не жениться? Усыновлю Ярыгина, Индирку, Рыжего. Пусть будут Козловыми. Какая разница? В моем возрасте о таких принцессах, как Лариса Васильевна, уже не мечтают. Все мои принцессы скоро бабушками станут. Баба она теплая, славная. Жизнь ее, конечно, поломала. А кого она не ломала? Вся вина, что жила нараспашку. Женюсь. Вот станет Ярыгин отличником — и женюсь».

Отличником Ярыгин не стал. Страстно мечтая о подводном ружье, он старался изо всех силенок. Но силенок было маловато.

— Ну, тройка тройке рознь, — утешил его Козлов. — Тройки-то твердые?

— Твердые, — с робкой надеждой заверил его Ярыгин.

И стал счастливым обладателем подводного пневматического ружья.

Всю жизнь Козлов клял себя за этот подарок.

Ярыгин утонул, заряжая в воде ружье. Не хватило силенок дожать гарпун до упора, и сорвавшаяся стрела пробила ему легкое.

Охотился он в Щучьей заводи, густо заросшей камышом, у острова за вторым бродом. Крик его услышал моторист насосной станции. Но отыскать мальчишку среди лабиринта протоков было непросто. Обнаружили по струйке крови. Слишком поздно.

Козлов замкнулся. Жил, как речная ракушка, плотно сомкнувшая створки. Порвал отношения с матерью Ярыгина. Индирика иногда заходила к нему. Но нос он ей уже не вытирал и сказки не рассказывал. Вспоминая маленького заморыша, которо-

му он хотел стать отцом, скрипел зубами. Жизнь для него кончилась. Кто-то сжигает за собой мосты. Он сжег рукопись об утонувшей деревне.

С этих пор и стал донимать его по ночам лохматый. Особенно часто после того, как сдох Черчилль. Случилось это в год, когда развалилась большая страна. Событие это из своей глуши Козлов воспринял как еще одну, всеобщую измену, окончательно перечеркнувшую его жизнь. Он не верил холеным людям больших городов, сжигающим свои партбилеты перед телекамерами. Они говорили о свободе, но уже требовали, чтобы их называли господами.

Сначала Козлов не обращал внимания на мамонта. Снится и снится. Мало ли что кому снится. Но затем стал замечать тревожные совпадения: стоило ему увидеть ночью зверя, непременно умирал кто-нибудь из знакомых. От мрачного вестника иного мира не спасала и бессонница. Козлов постоянно жил в предчувствии беды. Это делало его похожим на нервного обитателя сейсмической зоны, то и дело в испуге обращающего свой взор на люстру, чтобы найти подтверждение внутренним страхам. Вымершее животное, кости которого когда-то Козлов раздробил ковшом экскаватора, неутомимо преследовало его в сумеречных закоулках родного захолустья.

«Нет, мамонты мне не являются, — с достоинством отмел Грач подозрения, когда Козлов поделился с ним бедой. — Бывает, с чертиками поругаешься — это да. А до мамонтов я никогда не допивался. Видно, здорово ты кого-то обидел».

«Мамонта и обидел».

«Ну, это не страшно. Мамонты давно вымерли».

«По-настоящему никто не живет, и никто не умирает».

«Это точно», — согласился Грач, ничего не поняв.

Козлов стоял уже на нейтральной полосе у границы сумасшествия, когда однажды понял, зачем по ночам приходит к нему мамонт. Так он стал могильщиком.

На кладбище у Козлова было больше близких людей, чем в мертвом городе. После Ярыгина он обошел их всех, задержавшись у пирамидки, сваренной из листового железа.

— Друг, — хмуро объяснил, вернувшись. — Как у себя над могилой постоял. Мы с ним в стройотряде любили раствор замешивать. Самое интеллектуальное занятие. Замешиваешь, а сам о чем-нибудь высоком думаешь. Завезли ли, допустим, портвейн в сельпо, и какого номера. Камни далеко не разбрасывай. Все равно назад возвращать. Человека хоронить — все равно что дерево сажать.

— Ну, ты сравнил, — не поверил Руслан. — Что из ЭТОГО вырастет?

— Из тела душа прорастает. А ты скинь, скинь тулупчик. Запаришься.

Минут через десять, хорошенько продрогнув, он сказал:

— Ну, хватит, покури. Дай мне погреться. Тулупчик, тулупчик надень.

Почва под толстым сугробом промерзла неглубоко. Пошел мягкий чернозем, который можно было нарезать штыковой лопатой. Вскрытая от твердой корки, земля парила на морозе и сильно пахла землей. Только зимой на стерильных снегах можно почувствовать этот дикий, первобытный запах. Земля кладбища пахла прошлым. Польнью и мамонтами. Сменяя друг друга, они закончили работу. Могила получилась аккуратной, с ровными краями, с четкой границей чернозема и глины.

— Сам бы лег, если бы дяде Грише не нужна была, — сказал старший Козлов с печальным удовлетворением. — Заслужил человек место на планете.

Снег, скрывший под собой осеннюю грязь, сиял райской чистотой. Непривычная, холодная тишина в душе городского человека оставляла гнетущее чувство случившейся катастрофы. Скрип только оттенял эту бескрайнюю, безнадежную глухомань. Они поднялись на насыпь, отделяющую Оторвановку и кладбище от мертвого города. Дорога была занесена снегом, и лишь посередине чернел звуковой дорожкой с неровными краями асфальт — от горизонта до горизонта, через всю планету. Словно меридиан, прочерченный ногтем Бога. Ни одной машины, ни одной живой души. И эта пустота дороги, пустота черных глазниц мертвого города под онемевшим, замерзшим небом вызывала такую бесприютную, такую безнадежную тоску, какую может испытать только душа, покидающая тело.

— Батя, — спросил Руслан в спину отцу, — зачем ты в этой дыре торчишь?

— Не все ли равно, где сейчас мне торчать, — ответил тот, не оборачиваясь. — Я — последний мамонт. Где торчать мамонту, как не в дыре?

Помолчали каждый о своем. И когда Руслан уже забыл о разговоре, отец сказал:

— Свои преимущества. Ни газет, ни телевидения. Один на один с небом. Здесь вымирать приятнее.

Потом Руслан не раз замечал эту особенность: Козлов никогда не прерывал беседы и мог вернуться к ней через день, а то и неделю. За долгие годы одиночества он привык беседовать сам с собой. Это обстоятельство способствовало тому, что, как правило, он говорил то, что думал. Но слова были полны тумана: они предназначались для личного пользования и не были рассчитаны на понимание собеседника. Он говорил как бы готовыми ответами, не обременяя себя доказательствами.

Во дворе деда Григория выла дворняжка, нареченная им Муходавом.

Но среди одинаково занесенных снегом домов жилище покойника выделялось не только собачьим воем. Тропинка в сугробе шире прокопана. Слишком много следов для обычного дня. Печальное место это накрыто невидимым облаком смерти.

— Беда, — встретила их вдова, — ходила к свояку, а он уже с утра только с третьего раза в дверь попадает. Куда ему по гвоздю-то попасть. Некому и гроб сколотить. Что делать и не придумаю.

Козлов снял с плеча лопаты. Прислонил к стене сарая. Закурил, погладил дрожащего Муходава и выпустил в небо, словно собственную душу, облако дыма:

— Гроб — дело нехитрое. Был бы материал да инструмент. Без инструмента и вошь не убьешь.

— Есть материал, есть, — опечалилась вдова и промокнула глаза углом шали. — Григорий новую лодку к лету собирался делать. Доски на чердаке лежат. Все говорил: подальше положишь, поближе возьмешь. Только от смерти где спрячешь? Все приберет. Хорошие доски, сухие. Лет десять в тени выдерживались.

— Я достану, — вызвался Руслан и позвал Муходава: — к-с-с, к-с-с.

Песик посмотрел на него умными, темными от обиды глазами — что за шутки в такой день? — и отвернулся. Стыдно стало Руслану.

Подвешенные за хвостики к стропилам, свисали паутины вентерей. Между ними зелеными птицами примостились березовые веники. Переложенные жердями доски лежали вдоль крыши. Верхние были сильно пропылены, но под ними древесина отсвечивала золотом.

— Жалко такое добро на гроб переводить. Да кому оно теперь нужно? Не дорыбачил свое Григорий. Сумеешь ли? — засомневалась вдова.

— Гроб — не лодка, — успокоил ее Козлов. — А было дело — и лодки делали.

Строгали доски во дворе. Золотые стружки падали на снег. Горько пахло смолой. Мимо, всхлипывая и причитая, черными тенями мелькали старушки. Бабы улица сузилась в печали, готова проводы своему последнему мужику. Каждой из них, не отрываясь от скорбного дела, Козлов кивал, печально размышляя о странных метаморфозах, которые переживает женщина, становясь старухой. Он помнил их красивыми и молодыми. Они следили за модой, красили губы, работали учителями, бухгалтерами, секретаршами, малярами. И вдруг наступает день, когда женщина словно возвращается в прошлый век — надевает дошку, подвязывает по-старушечьи шаль и начинает говорить на певучем языке девятнадцатого века.

Ульяна Петровна была его первой учительницей. Он, как и все мальчишки в классе, был тайно влюблен в нее. Загадочное, необъяснимое притяжение строгости и женственности волновало его пацанячье сердце.

Петух, прижатый к окровавленному чурбану, вырывается, хлопает крыльями. Чувство достоинства его оскорблено. Подслеповатая баба Уля держит наизготовку топор с прилипшими к лезвию перьями, щурится, прицеливаясь, пытаясь разглядеть жертву через запотевшие линзы очков.

— Потерпи, мой родной, потерпи, мой красавец, — уговаривает она несчастного петуха, — сейчас мы из тебя супчик сварим. Какой из тебя вкусный супчик получится!

Тюк топором — полклюва нет.

— Что ж ты, мой хороший, вертисься, — выговаривает она, сострадавая. — Так-то больнее будет.

Тюк — и на снег летит роскошный гребень.

Две бабушки стоят в соседнем дворе и ругают через забор бабу Улю.

— Ульяна Петровна, хорошая моя, что ж вы животное мучаете...

Баба Уля предпринимает еще одну отчаянную попытку лишить петуха жизни. И на снег летит его борода.

Руслан не выдерживает. Берет из рук бабы Ули несчастную, истекающую кровью птицу, топор с треснувшим топорщиком и — чак! — милосердно отсекает голову.

Безголовый петух, страшно хрипя кровавым горлом, вырывается из рук, перелетает забор и бежит по сугробам, разбрызгивая по снегу красные вишни. Взвизгнув, в ужасе убегает от него дворовый пес Муходав.

Странная жизнь, первобытная жизнь открывается Руслану. В ней самые мрачные, самые трагические моменты красивы и полны юмора. Несочетаемое, несовместимое на самом деле неразделимо. Украдкой приглядывается и прислушивается он к вдовьему народу, похожему на инопланетян. Этот народ говорил на понятном, но все же другом языке. И дело не в акценте, не в строе речи, а в особой интонации, музыкальной теме, доверительной и обреченной. В любом замкнутом сообществе образуется нечто ни на что не похожее. И довольно быстро. Изолируйте этот мертвый город — и через несколько поколений появится новый народ, разговаривать с которым нужно будет через переводчика.

Во дворе стало тихо. В доме совершался страшный обряд обмывания покойника. Руслану хотелось спросить у Козлова: что это значит и моют ли мертвецу голову. Но так и не спросил. Любопытство в такие минуты неприлично.

Незнакомый Руслану дед Григорий был большим шутником. На всех фотографиях он улыбался. Даже на той, что была вклеена в старый советский паспорт. Ни одного серьезного снимка для похорон не оставил человек.

С появлением его могилы на кладбище стало веселее.

Станные это были похороны. Следом за гробом, мимо развалин мертвого города, шли теньями из прошлого старушки. Тихо всхлипывали, перешептывались, печально завидуя покойнику: «Отмучился Григорий Трофимович». Три старика шаркали подшитыми пимами в хвосте и рассказывали друг другу истории деда Григория. Покойник был неистощимым анекдотчиком. Не жалким пересказчиком, а сочинителем.

— Приезжает он в «Овцеводческий», а там, на площади, у конторы мужиков бараньими ножницами стригут. Не только то, что на голове растет. Все. Стригут, а они то плачут, то смеются. Спрашивает Григорий: «Чего слезы льем, мужики?» — «Совхоз план по шерсти не выполнил, вот товарищ Байкин и велел всех наголо. Больно, понимаешь, вот и плачем». — «Ну что ж, дело нужное, хорошее дело. А смеетесь почему?» — «Товарищ Байкин от нас на Заринскую птицефабрику поехал, а там, слышь, план по яйцу не выполнили».

— Идем с ним как-то по городу, а впереди нас дама. Бедра шире коромысла. Григорий и говорит: «Обрати внимание, Сергей Терентьевич, какие крепкие зубы у этой женщины». — «Да где ты зубы увидел? Она же спиной к нам идет». — «С гнилыми зубами такую фигуру не отъешь».

Историю о том, как охотился Алексей Акст на диких гусей, знали все. И каждый поправлял рассказчика, обращаясь за поддержкой к самому Аксту.

Вез якобы Алексей в Новостаровку водку, алюминиевые тазы, полотенца и хлеб. Только проехал озеро Кривое, глядит — казарка, тундровый гусь, летит. Туча. А ружья нет. Что делать? Наливает он в тазы водку, крошит хлеб, расставляет все это вдоль берега, а машину в тугаи прячет. Гуси покружились, снижаются. Наклевались до потери бдительности — кто крыльями землю подметает, кто в тазу купается, кто друг другу клювы чистит, а кто и спит. Тут-то Акст к ним и подползает по-пластунски, тащит за собой тюк полотенца, и давай вязать окосевших птиц.

Алексей грустно поправляет завравшегося рассказчика:

— Не полотенца, косынки...

На самом деле ничего не было, кроме того, что когда-то, еще в старой Ильинке, он работал на автолавке. Но никто никому не говорит: что ж ты врешь-то, как газета.

Неразумный старик этот Акст. Вернулся прошлым летом из Германии, не выдержав размеренного, сытого счастья. По огурцам с медом соскучился. Приехал на старую пасеку в Бабаевом бору, упал на колени и стал посыпать голову старой листвою. Думали: рехнулся. «Что ты делаешь, Алексей, опомнись». А он плачет и кричит: «Моя земля, что хочу, то и делаю!» Воздух, видите ли, на родине сладкий. Ну, дыши, дыши, дурья башка. Он пока еще бесплатный. Выкупил назад дом, пасеку и прозябает довольный тем, что умрет там, где родился.

Как и каждый хороший мужик, Акст неуловимо напоминает пса: глаза у него совершенно собачьи — без всякой задней мысли.

Замыкает процессию пес Муходав, искреннее существо. Семенит по враждебной территории на коротких ножках, поджав хвост, оглядывается. Опасается чужих собак.

В молодости дед Григорий не просто выдумывал побасенки и небылицы, он ставил их на потеху ильинцев, как пьесы. Не на клубной сцене, а посреди улицы.

Разразился как-то над Ильинкой небывалый ливень. На площади перед райисполкомом скопилась большая лужа. Час был ранний, Григорий возвращался с ночной рыбалки. Нес в ведре трех язей. Нацепил весь улов на донки и пустил в лужу.

Петухи заорали. Недолюбленные сердитые бабы погнали в стадо коров. Григорий на них орет: куда претесь, всю рыбу распугаете. А сам выбирает из лужи закидушку. По воде крутые буруны, спина у язя черная, бока серебром сверкают.

Бабы рты и разинули.

Снял Григорий с крючка язя, тот в ведре бултыхается, а на двух закидушках колокольчики заливаются.

Бабы коров — в стадо, а сами — за бредень и давай, подоткнув подолы, бороздить лужу перед райисполкомом вдоль и поперек.

С утра похмеленный дед Задорожный башкой трясет: что такое, с чего бы это — то черти мерещатся, то бабы в луже. Микеланджело Буонарроти! Сумасшедшая деревня! Один нормальный человек на весь райцентр, да и тот в стельку пьяный. Вы бы, дуры голоногие, лучше на Береговую шли. Там Ваня Пепс уже час как зимней удочкой в колодце окуней ловит.

Не было в процессии человека, который бы не прослезился, но старики плакали от смеха. Кто-нибудь вспоминал очередной розыгрыш деда Григория, и идущие рядом, зажимая рты ладонями, тряслись в беззвучных конвульсиях, так похожих на рыдания. Старая, вымирающая Ильинка хоронила себя весело. И похороны нынче — праздник.

— Ну вот, — сказал Козлов над свежей могилой, — еще один ильинец ушел в страну ископаемых, к мамонтам. Скоро все в небесную Ильинку переселимся.

«Небесная Ильинка» — это, конечно, красиво. Но правда еще невероятнее. На свете одна Ильинка, и она — подводная.

Барабанной дробью застучали комья смерзшейся глины о лодку деда Григория, в которой он отправлялся в свое последнее, вечное плавание под причитания старух вдовей улицы и суровые напутствия постаревших друзей детства. Уткнув нос в косматый воротник шубы, сквозь редкие снежинки в оцепенении смотрел Руслан на лица последних жителей затонувшей Атлантиды, стоявших у края могилы — последнего причала короткой земной жизни. В печальном прозрении он думал, что, хороня кого-то, человек всякий раз хоронит себя.

Завыл прощальную песнь беспородный пес Муходав, добровольный плакальщик. Такого искреннего горя, такого безнадежного отчаянья не могли выдержать даже закаленные невзгодами старушечьи души.

— Цыц! — прикрикнула на пса одна из бабушек. — Мужики, прогоните собаку.

Но никто не бросил камень в дворнягу.

На поминках сказали то, что говорят на всех поминках, утешая себя и вдову последней надеждой на загробную жизнь. Но вспоминали земную, грешную жизнь деда Григория.

Человек, схоронивший другого человека, уже никогда не будет прежним. Руслан, не мигая, смотрел на язычок керосиновой лампы. В тихом пламени ему смутно открылось то, что трудно оформить в слова. Он подумал: предполагаемая вечная жизнь ничем не отличается от прошлого. Живому человеку одинаково недоступна дорога в оба конца. Эти измерения одинаково невероятны. И, возможно, вечное прошлое и вечное будущее — одно и то же. Должно быть, человеческие души, если они есть, освободившись от тела, попадают именно туда, где нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего, а есть нечто, что известно только душе. Может быть, сейчас дед Григорий стоит у порога старого дома своей Ильинки...

От этих ускользающих, как сон, мыслей его отвлек журчащий говорок Акста.

— В Новостаровке мужик жил. По фамилии Зацепило. Хреном торговал. У него от этого хренового дела сберкнижка была толще, чем «Капитал» у Маркса. Весь огород одним хреном засеивал. Специализация. Хрен тогда был в большом дефиците. Башковитый мужик был Зацепило, но хреновый. Зимой снега не выпросишь. Григорий ему в крещенские морозы полный кузов снега продал.

— Не продешевил? — спросил Сергей Терентьевич, не удивившись.

— Возил он бухгалтера Пьюшкевича по денежным делам в область, — продолжал Акст. — Это потом бухгалтеры поусохли, а тогда, до хрущевской реформы, они посолиднее были. Наш Пьюшкевич на Петра Первого походил, разве что чуток попузатее да поушатее.

На обратном пути метель началась. «Придется, — говорит Пьюшкевич, — в Новостаровке заночевать. Ишь, как метет. Так с грейдера и сдувает. У тебя в этом селе знакомых нет?»

Григорий сразу о Зацепило вспомнил. Остановил машину у первого сугроба. Нарезал лопатой снег кубиками и загрузил кузов.

«В порядке ли твоя голова, — спрашивает Пьюшкевич, — давно ли ты проходил медкомиссию? Зачем тебе этот снег? Разве мало этого добра в Ильинке?»

Укрыл Гриша пологом кузов и отвечает: «Продавать буду».

«Двадцать лет работаю бухгалтером и скажу тебе: снег зимой не имеет никакой потребительской стоимости. Я съем свои почти новые фетровые валенки вместе со старыми калошами, если ты выручишь хотя бы копейку». — «Посмотрим!»

Подъехали они к Зацепило. Дом у него из сосны, под железом. Ставни на ночь болтами закручены. Пьюшкевич побежал в ворота тарабанить, а Григорий спустил воду из радиатора, рукоятку на плечо и ходит дозором вокруг машины. Охраняет. И часу не прошло, как Зацепило вышел. Шуба на плечи накинута, рукой за поясницу держится.

«Пусти переночевать, хозяин», — говорит Пьюшкевич. А тот ворчит: «Нашли гостиницу. Вы, случаем, не взрывчатку для нового котлована везете? Пусть водитель подалее, к соседнему дому отъедет».

«Снег мы везем», — отвечает Пьюшкевич.

«Какой такой снег?»

«Белый».

«Зачем?»

Пьюшкевич плечами пожимает.

Зацепило — мужик башковитый. «Как же, снег, — думает. — Должно быть, дефицит, если в метель водитель возле машины крутится с рукояткой».

«Взойди в хату!» — кричит он Грише.

«Не могу, мне за этот груз башку оторвут. Сам видишь, не Змей Горыныч, башка в одном экземпляре».

Зацепило ворота открывает: «Загоняй во двор, у меня понадежнее сторож есть».

В крытом дворе волкодав цепь рвет. Лохматый, злой. Шкуры на пару унт хватит, да еще и на рукавицы останется. Посмотрел Гриша на пса и за груз успокоился. Загнал машину во двор, обмели они снег с валенок и в сени направились.

Хозяин — шмыг под полог: снег... Пощупал — снег... Лизнул — все равно снег.

Сели за стол. Зацепило кричит хозяйке: принеси борщ, что с обеда не доели. И удочку закидывает: «Сколько живу, а в первый раз вижу, чтобы зимой снег возили. Куда вы его, если не секрет?»

«В больницу», — отвечает Гриша.

«А что, у вас в Ильинке снега нет?»

«Снег есть. Много снега. Только наш снег и этот снег — две большие разницы. Это крымский снег. Раз в сто лет выпадает. Целебный. Ему цены нет. Им рак, туберкулез, грипп и радикулит лечат». Как услышал Зацепило про радикулит, говорит хозяйке: «Что это ты, мать, гостей прокисшим борщом угощаешь? Дай-ка нам бутылочку да пельмени с мороза занеси».

Выпили за здоровье хозяйки по стопке, пельмешками закусили. Зацепило интересуется: «И как же крымским снегом, к примеру, радикулит лечат?». Григорию выписать рецепт — раз плюнуть: «Протопить баньку. В котел залить три ведра дистиллированной воды, двести граммов медицинского спирта. Смесь довести до температуры кипения. Добавить восемьсот пятьдесят четыре грамма крымского снега, две таблетки аспирина и тертый хрен. По вкусу. Чем больше, тем лучше. Запариваешь веник. Только не березовый, а еловый. И хлещи свой радикулит на здоровье».

«И помогает?»

«Посмотри на товарища Пьюшкевича. Человек двумя ногами в могиле стоял. Смотреть было страшно — весь скрюченный, кочерга кочергой. А после трех сеансов хворь как рукой сняло. Он теперь после парной в прорубь бултыхается».

Наливает Зацепило по второй стопке и говорит:

«Слушай, земляк, а не продай бы ты мне маленько крымского снега?»

«И разговору на эту тему не должно быть. Мало тебе своего, новостаровского, снега? Возьми в огороде да лечись».

Хозяин обиделся: «Нашим снегом сам лечись».

Наливает Зацепило третью стопку и осторожные намеки делает, к мысли подводит: ваш снег белый, мой снег белый — кто заметит?

Гриша, конечно, сопротивляется, но слабо. Рад бы помочь. А вдруг экспертиза? Да и начальник не разрешит. Видишь, какой у него портфель. А в портфеле на каждый кусок снега — специальный бланк. Каждый грамм на строгом учете.

Пьюшкевич: нельзя, говорит, учет, говорит.

Зацепило давай Пьюшкевича уламывать.

После второй тарелки пельменей душа у бухгалтера мягкой сделалась, как перина. Да тут еще сальце с мороза занесли. Да с хреном, да с чесночком.

«Эх, была не была! — говорит Григорий. — Разрешим, товарищ Пьюшкевич, взять хозяйину один кусок снега? Земляки как-никак».

«Для хорошего человека не жалко», — отвечает.

«Пропадай наши калоши!»

И по рукам ударили.

Тут Пьюшкевич и вспомнил про свое обещание. Как ни крути, придется обувь есть. А валенки фетровые, новые, да и калоши, хоть и старые, а им сноса нет.

Ночью спустился Григорий с полатей воды попить и до морозу сходить. Слышит: шуршит кто-то во дворе. Вышел в сени, приоткрыл тихонечко дверь и видит в щель: хозяин с хозяйкой крымский снег в предбанник носят, а вместо уворованного грузят снег из огорода.

— Раскудрит твою по лестнице! Чтоб у тебя язык на пятке вырос, — сказал Сергей Терентьевич с одобрением, — как говорить, так разуваться.

...Душевные получились поминки. Редко собирались старики вместе. Один повод — похороны. О ком будет балагурить в следующий раз Акст, неправильный немец? А может быть, и о нем кто-нибудь что-нибудь веселенькое расскажет.

Руслан выложил вдоль смежной с кухней стены поленицу в три ряда, чуть выше колена. Уложил на нее дверцу от шкафа. На дверцу бросил полушубок шерстью вверх. Получилась замечательная постель. Он растянулся на ней, не раздеваясь. Приятно ныли мышцы и душа, изнуренная печальными хлопотами похорон.

Козлов, презиравший роскошь, привередничать не стал — лег по-старому на тулуп, расстеленный по полу у буржуйки. Подложил под голову полено. Открыл дверцу печурки, прикурил от уголька. После чего разломил заложенную щепкой книгу и, хмуро прищурившись, углубился в чтение.

Читал он «Закат Европы». Отблески живого огня бегали по страницам.

— Глаза испортишь, — сказал Руслан из темноты.

— Тебе свет мешает? — спросил Козлов.

— Не мешает. Я вообще без света спать не могу. Ты давно один живешь?

— Один? — не отрывая глаз от книги, Козлов показал рукой на книжную полку. —

Есть с кем поболтать. У меня к старой власти никаких претензий, кроме одной: не познакомила она меня с ними раньше. Если бы не они, я бы в последний день Помпеи с ума сошел. Работы нет, все бегут, все рушится. Стал читать — отлегло. И водки не надо. Прочитаешь страницы две и ходишь весь день, как пьяный. Пока лоб в лоб с Грачом не столкнешься. Тут уже, конечно, другая философия начинается.

Зуб мамонта и корешки книг мерцали в неровном свете буржуйки, то исчезая во тьме, то вспыхивая тусклым золотом букв.

— И кто у тебя самый любимый философ?

— Волк.

— Волк?

— А ты слышал, как воет волк? Лес. Ночь. Глушь. Темень. Ни души. И вой волка.

Это самая честная философия.

Руслан долго смотрел на косматый шар башки, из которого торчали лишь нос да сигарета. Струйка дыма, изгибаясь, исчезала в открытой дверце буржуйки.

Карл Маркс. Только растрепанный и бомжеватый.

— Когда я сюда на автобусе из областного центра ехал, старичка на дороге подобрали, — сказал Руслан, с иронией глядя на отца. — Мороз. Поле справа, поле слева. Ни одной тропинки, ни намек на человеческое жилье. Снег, белое безмолвие, короче, и он по обочине вдоль сугроба косолапит. Валенки выше колен, шубейка латаная, на голове малахай, за спиной рюкзачок из китайского мешка. Водитель остановился, дверь открыл, а старичок говорит: «Денег нет», — и улыбается. «Залезай, дед. Разбогатеешь — отдашь». Старичок сел на кондукторское место. Достал из рюкзака книгу на английском языке, словарь, тетрадку, карандаш. Читает, губами шевелит. Слово в тетрадку выпишет, глаза закроет, повторяет про себя. Станный какой-то.

— Человек учит английский язык. Что же здесь странного?

— Так этому человеку лет семьдесят, если не больше.

— Ну и что? Он без очков читал?

— Без очков.

Козлов сердито перевернул страницу.

— Что-то я тебя не пойму, — поделился Руслан своими наблюдениями. — Читаешь Шпенглера, а роешь могилы.

— Самое честное занятие для философа — рыть могилы. Вся философия началась с кладбища.

— Могилы всегда пригодятся, — согласился Руслан. — Из могилы не выселишь. Могилу не бросишь. Рыть могилу — лучше, чем строить город, в котором никто не живет.

— А я ни о чем не жалею, — спокойно ответил Козлов, — мне и такая жизнь нравится.

— Ты это называешь жизнью? — удивился Руслан.

— Вот когда кажется, что жизнь кончилась, она только по-настоящему и начинается.

— Это как «по-настоящему»?

— Ты когда-нибудь смотрел на всю эту суету глазами мертвого человека? Человека, которому уже ничего не страшно и ничего не надо? Только тогда и доходит, что же это такое — настоящая жизнь.

— Ничего не понимаю, — сказал, зевая, Руслан.

— Поймешь, — печально утешил его Козлов, но засомневался: — Хотя есть люди, до которых это никогда не дойдет.

Потрескивали дрова в буржуйке, гудела труба. Изредка шелестели страницы. На своей поленнице бормотал что-то пеликан Петька.

Сквозь ледяное бельмо окна пробивался посторонний звук. Руслан прислушался. Тоскливый, безнадежный вой доносился из темноты мертвого города.

— Слышишь — волк, — сказал он, приподнимаясь на локте.

— Собака, — не отрываясь от книги, успокоил его Козлов, — сейчас их здесь много, бездомных. Хозяин на север уехал, вот она и тоскует. Что туда увезешь, кроме себя да чемодана? Товарищ недавно уезжал. Собака у него была — немецкая овчарка. Прощался — плакал. Соседям оставил. Через забор жили. К людям привыкла. Перенесли будку. Ночью цепь оборвала — и к себе во двор. Новых хозяев не выпускает, не выпускает. Пристрелили. Сколько их здесь за верность перестреляли.

Он заложил страницу щепкой и прислушался.

— А может быть, и волк.

Сладко и грустно засыпать после похорон в мертвом городе у раскаленной буржуйки под одинокий вой волка, который может рассказать о жизни больше, чем все мудрые книги на земле. За ледяными окнами — мрак, тоска развалин, чужая вечность, а ты медленно уходишь в сон, как в другое измерение, где светло и покойно, где ждут тебя любимые люди.

Вой стих. Мертвая морозная тишина опустилась на мертвый город.

Из черноты ночи черный мамонт, не мигая, смотрел на освещенную неровным огнем пещеру человека, висящую в черном небе.

В студеном безмолвии брошенных домов кто-то играл на фортепиано. И звуки классической музыки были так беззащитны, так нежны и откровенны, что даже у человека без слуха наворачивались слезы.

Задыхаясь от ужаса, пыли и усталости, Руслан выбрасывал из ямы землю. Но косматые тени по краям могилы снова засыпали его мерзлыми комьями. Колющие крошки земли забивались под одежды, проникали с морозным воздухом в нос и легкие. Пыльные тени пахли холодным пеплом и пылью, дышали хрипло и азартно. Чем быстрее откапывался Руслан, тем энергичнее работали они. В последней надежде Руслан подумал: если он остановится, они тоже перестанут швырять в него землю, смешанную со снегом. Но он ошибся. Все так же скрежетали лопаты, и с шорохом разбивались о спину комья...

Сквозь затянутую льдом прорубь окна просеивается тоска. Смертельной радиацией проникает она через замороженный бетон стен. Полное отсутствие привычных шумов пробуждения: многоступенчатого водопада сливаемой из бачков унитазов воды, утробного урчания труб, невнятного бормотанья телевизора за стеной, гула машин за окнами. Глухая морозная тишина впитывала в свою бездонность лишь скрежет совка и шорох пепла, ссыпаемого в ведро.

На коленях перед раскрытой дверцей поддувала стоял чужой человек с белыми от инея бородой и усами. Выгребая из остывшего нутра железной печи золу, он воспитывал пеликана, словно Наполеон на барабане, сидящего на буржуйке. Приводя в пример скромные запросы мыши, примостившейся на хозяйском плече, человек укорял эгоистичную птицу в чревоугодии. Из рта его поднимались облачка пара, похожие на пузыри в комиксах, в которые карикатуристы вписывают реплики. Петька спокойно выслушивал попреки, но вдруг растопырил с треском крылья и надменно поднял голову. То ли изображал немецкий герб, то ли просто сушил перья.

Большой лохматый человек, разговаривающий с пеликаном и мышью, — его отец. А в той комнате, забитой поленищами дров, он, наверное, и был зачат в любви. Это безмолвное пространство, этот отстойник тоски и есть его родина. Ужасно, ужасно навсегда остаться в городе-кладбище. Болели мышцы от вчерашней работы и жесткого ложа, ныла изнуренная впечатлениями душа.

Опасное это занятие — смотреть из утренней мглы холодной квартиры в замороженное окно без штор. Человек растворяется в бессмысленности собственного существования и сливается со временем. Только время это не течет из прошлого в будущее, а бесследно испаряется. В приступе утреннего морока мир выглядит именно таким, какой он есть на самом деле, — холодным, чужим, временно населенным странными формами жизни.

— Доброе утро, — сказал Руслан так мрачно, что человек, не знавший русского языка, мог принять эти слова за что угодно, только не за приветствие.

— Какое есть. С хрена ль ему добрым быть? — ответил Козлов.

Руслан, храня убогое тепло, свернулся в позу зародыша. Он вспомнил, как нес из компьютерной мастерской процессор, а из щели дисководов на слякоть мостовой выпал таракан. Вот таким же испуганным тараканом чувствовал себя и Руслан. Потрясение от внезапного перехода из привычного виртуального мира в неудобную реальность было столь сильным, что от жалости к самому себе защемило сердце. Что-то подобное, наверное, испытал первый астронавт, увидевший с пепельной поверхности Луны родную Землю. Руслан представил себя бегущим по утреннему морозцу на автовокзал, и мысль эта его согрела. Но ненадолго. Со дна души поднялся мутный осадок обиды. Вернуться — значит простить. А простить он не мог. Между тем как набирал силу огонь в буржуйке, наросты льда, покрывшие стекла окна, наливались теплым золотом.

— Ты не знаешь, когда автобус в город идет? — спросил Руслан.

— Зачем тебе автобус? — ответил Козлов скучным голосом. — Не успеешь до автовокзала дойти, извозчики на части изорвут. Решил вернуться? Правильно. Здесь одни неликвиды вроде меня остались, порожняк. Отходы, отруби, жмых, лузга. Живо-му человеку в мертвом городе делать нечего. Не город — аппендицит.

— Ты меня не провожай. Не люблю, когда провожают.

— А кто любит?

По накатанной дороге мимо безмолвных развалин, отвернув от морозного ветра сердитое лицо, ехал на велосипеде старик в шубе и валенках. Уши подвязанной шапки и ресницы белы от инея. На багажнике — красный газовый баллон. Велосипед, покрытый изморозью, скрипит и стонет. Еще немного — и металл растрескается от холода. Зябко выглядел велосипедист на снегу.

Старое здание автовокзала было пропитано многолетней печалью разлуки.

Эта печаль въелась в пыльные трещины стен, в тусклые окна, щербатые плиты пола, в схему автобусных маршрутов района за восемьдесят пятый год, давно не соответствующую реальности. Автобусы в села не ходили, да и многих сел уже не было. Пружины заскрежетали, и дверь захлопнулась с необратимостью гильотины, отсекая морозные клубы пара. Положив друг другу руки на плечи, десять допризывников окружили рыжего гитариста и весело орали: «О-е-е! Шире Вселенной горе мое!..» Но по голосам и лицам рекрутов было видно, что горе их не столь безбрежно. Они были не прочь вырваться из этой студеной дыры куда угодно.

— В город? — спросил человек невнятным голосом заговорщика.

Он стоял, прислонившись плечом к косяку двери, и пристально смотрел в щель между ондатровой шапкой и поднятым воротом полушубка. Руки в карманах, ноги, обутые в собачьи унты, скрещены. Руслан кивнул.

— Налево за углом «Жигули». Только тихо.

— Автобус скоро отходит, — засомневался Руслан, озадаченный конспирацией.

— Догоним и перегоним, — успокоил его шепотом человек. — Охота тебе четыре часа по ухабам трястись. Возьму как за билет в автобус.

«Жигуленок» был присыпан снегом. Бока красные, а сверху от капота до багажника — белая перина. В салоне, как в сугробе, съезжившись, уже сидели два утомленных ожиданием человека: одноглазый дед на переднем сиденье и закутанная в шаль женщина. Была она таких размеров, что возникали сомнения: поместится ли еще один пассажир. Руслан поздоровался, но ему не ответили. Женщина посмотрела на него недоброжелательно и спросила сердито:

— Долго еще ждать?

Руслан, сдержав раздражение от немотивированной и ровной, как мороз, враждебности незнакомых людей, пожал плечами, пристраивая гитару между колен.

— Бросил бы в багажник, — посоветовал дед.

Из зеркала на Руслана неодобрительно смотрел единственный, но зоркий глаз. Водитель пришел через час.

— Заправиться надо, брат. Рассчитаемся, — обернулся он к Руслану и, отсчитывая сдачу, поведал леденящую кровь историю о коварстве пассажиров. — В про-

шлый раз довез четырех. Вот, говорят, останови у того проходного двора. Остановил. Они дверцы раскрыли и — фьють! — в разные стороны. За свой счет прокатил. Ну, поехали!

Поехали окольными путями, но доехали, однако, недалеко. Въезд на грейдер возле заметенной снегом будки ГАИ перегородили зеленый «Москвич» и черные «Жигули». Дверцы захлопали, как затворы. Четыре серьезных мужика, сердито скрипя снегом, шли сквозь редкий снегопад. Сразу видно: не хлеб-соль предлагать. Водитель с тихой тоской выругался и, улыбаясь, вышел навстречу со словами:

— Мужики, свояков в город везу, гадам буду.

Хмурые, мужественные лица стражей мертвого города заглянули в салон.

— Сваяков, говоришь? Мы тебя, Бидон, предупреждали. Морду разбить или фару? — спросил человек, похожий голосом и лицом на артиста Караченцова.

Выбор был не простой.

— Лучше морду, — подумав, решил извозчик-нелегал, похитивший клиентов у ревнивых обладателей патентов.

И в тот же миг желание его исполнилось. Впрочем, досталось и фарам.

— Миша, у тебя сколько клиентов?

— Два, бригадир.

— Забирай еще двоих. А ты, — обратился бригадир к Руслану, — полезай в черную машину. Ты с ним расплатился? Деньги! — заорал он густым басом на конкурента, лишившегося в одночасье из-за пагубной страсти к незаконной наживе одного зуба, двух фар, чувства собственного достоинства и веры во все человечество.

И повезли Руслана в качестве трофея, отбитого в бою, назад к автовокзалу.

— Долго ждать? — спросил Руслан, разглядывая осиротевшее здание разлук и березовую аллею, засыпаемую снегом.

— Плати за четырех — и хоть сейчас поедem, — облокотясь о руль, ответил, зевая, без особой надежды боевой бригадир частных извозчиков. — Тебе теперь какая разница. Автобус ушел. Куришь? Кури, пока некурящий клиент не подошел.

Часы проходили за часами, пачка таяла, бригадир дважды засыпал здоровым сном, храпел и чмокал во сне, а клиент все не шел. Небо набухало вечерней мглой, и снегопад переходил в буран. Начиналась очередная репетиция конца света.

— Ну, кажется, приехали, — скрипучим со сна голосом сказал водитель.

— Родина! Я вернулся! — в сердитом отчаянье прокричал Руслан снежному ветру, развалинам мертвого города и распростер руки для объятий.

— Эй, блудный сын, дверцы кто за тебя будет закрывать? — не разделил его чувств суровый бригадир частных извозчиков.

Окно квартиры Козлова тускло светилось сквозь буран неровным и грустным огнем. А под ней и над ней в сквозных дырах продуваемых этажей гудела метель.

Смерть окружала этот затухающий огонек. Смерть хозяйничала в оккупированном ею темном пространстве.

Руслан задохнулся от внезапной и короткой, как пощечина, жалости к угрюмому, одинокому человеку, южной птице и маленькой мышке, так легко брошенным им у жалкого тепла буржуйки. Белые вихри кружили в долгом вальсе развалины мертвого города, остатки березовых и сосновых аллей. От тебя ничего не зависит, скулила метель, и от меня ничего не зависит, и ни от кого ничего не зависит. И это единственная настоящая независимость, которой добиваются глупые люди. Тебе уже никогда не вырваться из этих руин, окруженных белым бесконечным ветром. За этот буран, в этих руинах можно спрятаться от всех. От прошлого, от будущего, от настоящего. От самого себя. Здесь тебя никто не найдет. Здесь тебя никто не будет искать. Здесь ты никому не нужен.

Сладкая, мстительная обида на мать и отца, выставивших его за дверь, как нашкодившего щенка, наполняла душу надменной гордыней тяжелого рока. Как хорошо быть никому не нужным. Даже самому себе. Промаяхнуться мимо тусклого огня, подвешенного в буране, и уйти в ночь, куда толкают его колючие лапы ветра. Раствориться навсегда безымянной снежинкой в чужом гудящем пространстве.

Но трудно промаяхнуться мимо слабо мерцающего окна, если за ним не видно других огней.

Утром к Козлову зашел Яшка Грач, старый приятель. Шуба и унты скрипели от мороза, а ледобур, который он снял с плеча, впитал в себя столько холода, что температура в квартире сразу понизилась на несколько градусов.

— Где твой птеродактиль, — спросил неожиданный гость первым делом, с опаской выглядывая из коридора. — Ты бы прикрыл свой дровяной склад.

И убедившись, что враг за дверью, вытащил из-за пазухи котенка. Белого, как первый снег:

— Увидел Бог: одинок человек — и создал кошку с собакой. Вот подарок принес.

— Ну, ты там, если что-нибудь хромое, подбитое встретишь, так тащи, нам только этого и не хватает, — мрачно поблагодарил Козлов и тут же сделал неутешительный прогноз: — Теперь или он Машку сожрет, или Петька его закроет.

— Что ты машешь крыльями, старенькая мельница? Я же от души...

Слегка обиженный холодной реакцией на подарок Грач снял когда-то мохнатую, но сильно облезшую шапку, и под ней обнаружилась обширная лысина.

— Здорово, — сказал он Руслану и тут же поинтересовался у Козлова: — Кто такой?

— Сын, — кратко ответил Козлов.

— Иди ты! — не поверил Яшка и протянул руку Руслану. — Яков Грач, специалист по аэрокосмической съемке.

Познакомившись, снял с ноги необметенный унт и поставил его на стол.

— Разве это шов? — спросил он с горечью.

Внимательно осмотрев подошву, Руслан честно сознался, что в сапожном ремесле разбирается слабо.

— Только дратву переводит, — хмуро разъяснил Яшка. — Видишь — шов не заглубил. Через неделю сотрется. А почему?

— Почему?

— Совести у человека нет, вот почему. А я в прошлом году на Линево на сети его наткнулся и — веришь, нет — не снял. Нет, с такими нельзя поступать благородно.

Козлов внезапно вспыхнул.

— Что значит «нельзя поступать благородно»? — фыркнул он. — Человек благородный в любом случае поступит благородно. А если ты, извини, чмо, то и поступишь как чмо.

Козлова всякий раз бесило, когда смысл прятали за пустые фразы. В таких случаях он непременно обдирал слова донага, до сути. Как шелуху с лука, пока не начинало резать глаза. Грач возразил. И завязался яростный спор. Причем если Козлов рассматривал проблему подлецов и благородства больше с этической и философской стороны, то Грач переводил разговор в плоскость практическую: надо ли у нехорошего человека воровать сети или достаточно просто вытрясти их.

Уставший спорить Грач махнул рукой, достал из кармана штопаной-перештопаной шубейки мятую пачку «Примы», закурил, стряхнул пепел на пол и спросил с укоризной:

— Курить-то можно?

Козлов пригласил его к чаю. С недоумением осмотрев стол, гость спросил растерянно:

— Ты что же — завязал?

Смутившись, Козлов подтвердил это страшное предположение. При этом похлопал, оправдываясь, ладонью по груди слева.

— Молодец, — с осуждением похвалил Яшка и загрузил.

— А что за праздник сегодня? — поинтересовался с легкой досадой Козлов.

— Ты меня знаешь, Бивень. Я праздников не признаю, — ответил Грач с холодным достоинством, — у меня всего один праздник: первый день оставшейся жизни. Настроение у гостя окончательно испортилось.

— Что-то тебя давно не было видно, — сказал Козлов.

— В Каратале у свояка гостил. Цветной лом собирали. Он на тракторе гусеница-

ми трубы поливальных агрегатов плющил, чтобы в кузов больше вошло, а я грузил. Считай, месяц культурное пастбище громили.

— Как они там зимуют?

— Ваську помнишь? — спросил Яшка, помолчав.

Козлов кивнул.

— Повесился, — сказал гость, как показалось Руслану, с одобрением. — А Федьку?

Козлов пожал плечами.

— Схоронили. Земля промерзла, как камень. Баллоны жгли, чтобы оттаять. Петьку знаешь?

— А что с ним? — испугался Козлов.

— С ним как раз ничего. Такими смерть брезгует. Волкодава у свояка застрелил и шкуру ободрал на унты. А потом мне же их и продал. Хорошая была собака. Сидела на цепи, никого не трогала. Посмотри, какая шерсть. С такой шерстью только в снегу спать, — печально погладил унт Грач. — Банзаем звали.

Гость все больше мрачнел. Пришлось доставать «Медведя» из валенка. После первого тоста за упокой души Банзая Яшка заметно ожил:

— Ничего, родина прокормит.

Большую часть своей безработной жизни он проводит в лесах, на реке, озерах. Рыбачит, охотится, собирает грибы да ягоды. Тебенюет, короче. Этот подножный корм Яшка и имел в виду, говоря о кормящей его родине. В мертвом городе он хандрил, вел себя по-скотски, но стоило ему оказаться один на один «с родиной», как становился вполне приличным человеком. Настолько более приличным, насколько безлюдней и диче были места. Его лежбища в глуши, где не ступала нога нормального человека, породили множество легенд о снежных людях и беглых каторжниках. Собственно, после первой божественной рюмки Грач ни о чем другом и не мечтал. Обрасти бы густо рыжей шерстью. Разучиться говорить. Уйти в перевитые хмелем тугаи. Стать снежным человеком и окончательно слиться с родиной.

— В прошлый год все лето батрачил. Дрова старушкам колот. Сто тенге за кубометр. Трубы какой-то гадостью посчастливилось красить. Зеленый ходил, как лягушка. Получил шиш без масла, — закончил печальную повесть Яшка, — а родина, она не обманет. Поедем со мной в Ковылевку окуней ловить? Неделю назад кум мешок привез. Промерз, как сосулька. Теперь лежит, соплями оттаивает. Как один — горбачи. Меньше килограмма нет. Завтра свояк в Пески за товаром собирается, подбросит нас к бабе Вере. Из города южного в сторону выюжную.

— Не могу, — отказался Козлов, — Петьку надо кормить. Я его и так на голодном пайке держу.

— Ну и вонючая птица, — сморщил нос Яшка. — Ладно, нюхай. А мы со студентом смотаемся. Хоть чистым воздухом человек подышит.

— Грач, а что это ты пепел в тарелку стряхиваешь? — рассердился Козлов.

— А что такого? — удивился Яшка такому чистоплюйству.

— Да нет, ничего. Тарелка-то моя.

— Извини, перепутал.

Звероликий Яшка был частью природы и, как она, врал редко. На следующий день свояк вез его и Руслана на дребезжащем «Жигуленке» доперестроенного возраста по пустынной трассе. Яшка решил с вечера заехать к бабе Вере, переночевать, а с утра пробурить лунки на заветном месте, о котором под страшным секретом сообщил ему кум, по-видимому, никогда меньше мешка не ловивший.

Вдоль дороги клубами замерзшего тумана тянулись лесополосы, временами надолго исчезая. Их захлестывала волна бесконечного сугроба. На выглядывающих из снега кустах метров через тридцать — пятьдесят сидели сороки. Навстречу лишь однажды попался возок. Лошадка с белой от инея гривой. Возница и дама — в тулупах. Лошадиное и человеческое дыхание смешивается в одно облачко.

Они сошли в том месте, где от основной трассы отходил грейдерок, занесенный снегом. Просто один длинный сплошной сугроб.

— А кто б его чистил? — позабавился удивлением Руслана Яшка. — Его уж

который год не чистят. Забытые люди, — кивнул он в мглистую даль, где в печальном одиночестве сжалась, как собака в пургу, утонувшая в снегах деревушка.

Вдоль невидимого под снегом грейдера стояли столбы. Были они без проводов и казались распятиями. Начиналась поземка. И столбы, и далекая деревушка словно висели в воздухе. Даже тропинки не было протоптано к жилью.

Над затерянным миром стоял морозный вечер, разрывающий душу печальной красотой. Грач, привыкший к безмолвию и первобытности пейзажа, медведем торил тропу в глубоком снегу. За плечами — старенький рюкзак, на плече — самодельный ледобур. Чем пристальнее смотрел Руслан из-за Яшкиной спины на деревню, тем большее испытывал беспокойство. Казалось, они шли не по круглой планете, как коза к колышку, привязанной к солнцу, а по маленькому, заснеженному астероиду, бесцельно пронзающему холодные пространства. На этом каменном обломке, кроме деревушки, ничего не было.

— Ни огня не видно, ни дыма, — поделился он своими сомнениями.

— Где не живут, — успокоил его Яшка, — а где керосин и дрова экономят. До тепла еще далеко.

Нет ничего радостнее и одновременно печальнее одинокого собачьего лая в вечерней деревушке. Они шли по сугробам единственной улицы. Все было бело от снега, и только окна темнели. В нежилых домах с выломанными рамами они зияли космической чернотой. Поземка переходила в метель. В акациевом квадрате увидел Руслан пирамидку. Студеный ветер, разрезаемый звездой из листового железа, жалобно скулил. Напротив памятника и стоял дом бабы Веры. С улицы по самые окна он был занесен снегом. Под сугробом были и калитка, и двери, и ворота крытого двора.

— Да нет, — развеял страхи Руслана Грач, — баба Вера с черного входа живет, с огорода.

С переулка через пролом в плетне они вошли в огуречник, но и здесь перед дверью был наметен свежий сугроб. На этот раз заволновался и Грач.

— Может, уехала куда? — предположил Руслан.

— Отсюда одна дорога, — хмуро показал Грач глазами на небо.

Из черной дыры, протертой в заледеневшем окне, за ними следил зеленый недоверчивый, немигающий глаз.

Внутри крытого двора скрипнуло, стукнуло, звякнуло, зашелестело.

— Это каких мне гостей метель намела? — строго спросила из темноты старушка.

— Дров-то до весны хватит? — спросил Грач, прислушиваясь к психоделическим звукам занимающегося в печи пламени.

— Солопову избу дожигаем, — вздохнула баба Вера, — а не хватит, за Симонову примемся. Народу много свои хаты побросало. Не на одну зиму хватит.

— Поди, опять, баба Вера, кашей из отрубей угощать будешь? — грубовато пошутил Грач.

— Да когда я тебя, бесстыдник, отрубями кормила? — обиделась старушка. — Картошки полон погреб. Мешок пшеницы натерла.

— Это как «натерла»? — спросил Яшка, подмигнув Руслану.

— А то не знаешь? — не удосужила его ответом хозяйка, застеснявшись незнакомого человека.

— Баба Вера у нас — что твоя мышка-норушка: по колоску, по колоску — полный ларь натаскала, да ладошками и обшелушила. А это гостинец тебе от кумы.

Грач вытащил из рюкзака кусок сала.

— Ой, да куда столько, — всплеснула руками старушка, не сумев скрыть радости. — Вот мы на нем сейчас картошку и поджарим.

Она поставила на плиту большую сковороду и как человек, долго молчавший, все говорила, говорила и не могла наговориться:

— Когда семья ПОЛНАЯ была, я на этой сковороде жарила. А когда остались одни с Толиком, все по привычке на большую семью готовила. Нажарю, сяду перед сковородой и плачу. Всех вспомню. И Мишу, и Таню, и Федю. Была бы работа, разве

б Федя уехал? Может быть, все еще образуется, все наладится. Вернутся — а дом цел.

— Может быть, и образуется, — мрачно сказал Грач.

Баба Вера зажгла керосинку, и ее грустный свет вырвал из сумерек пожилого зеленоглазого человека, совершенно лысого и безбородого, с лицом пятилетнего ребенка. Он сидел в углу, закутанный в шаль, и сосредоточенно крутил кубик Рубика.

— Как жизнь, Толик? — бодро приветствовал его Грач.

Толик не ответил, ниже нагнул голову и еще быстрее стал вращать игрушку.

— Толик у нас молодец, — похвалил его Грач. — Толик у нас настойчивый. Толик у нас упорный. Десятый год крутит кубик. Крути, крути, может быть, что и получится.

— Одна у него забава, — вздохнула баба Вера. — Вот так весь день сидит в уголку тихонечко, крутит свой кубик. Да и в темноте крутит. Помру, что с ним-то будет?

— А не помирай, — посоветовал Грач, убавляя фитиль в керосиновой лампе, — ты, баба Вера, на радостях весь керосин на нас сожжешь.

Трещали дрова в печи. Буранила мягкой лапой в окно. Суежилась у плиты старушка, рассказывая метельным гостям истории из своей жизни. И каждая история была веселее предыдущей. В плохо протопленной избе она ходила в пимах, дошке и шали. Но по мере того, как становилось теплее, потихоньку снимала верхнюю одежду.

— А где же дед Иванов, старый самогонщик, — спросил Яшка, бодро потирая руки. — Я ж ему зимнюю блесну и мормышки привез. Обмыть бы надо.

— Помер, добрая душа. Две недели как помер, — пригорюнилась баба Вера.

— Схоронили, значит, деда Иванова, не половит больше окуней на новую мормышку, — опечалился Грач. — Пропала деревня — выпить не с кем.

— Да как же схоронишь по таким морозам? Нас здесь и осталось — три старухи да две калеки. Могилу вырыть некому. Лежит дед в своей хате до тепла.

Тихо и пусто стало в душе и доме. Будто всего и осталось на Земле людей, что Грач, Руслан, убогий Толик со своим кубиком-рубиком, баба Вера да покойный дед Иванов. Где-то далеко-далеко были свет, тепло, газеты и телевидение, над ночной метелью кружили спутники, но отсюда, из забытой деревни, все это воспринималось как нечто, не относящееся к делу. Виртуальной реальностью. Оставалась лишь философия существования. Тихая борьба покорных, терпеливых людей за жизнь.

— Вот, баба Вера, из Алма-Аты, — протянул Руслан последний апорт, который намеревался съесть на морозе у лунки.

Старушка взяла в слабые руки румяное, крупное яблоко с далекого юга.

— Надо же, — сказала она, любуясь этим чудом, — зимой — и яблоко. Такую красоту и есть жалко. Посмотри-ка, сынок.

Толик забеспокоился, не зная, как взять яблоко, не выпуская из рук кубик. Баба Вера помогла ему разобраться в этой неразрешимой задаче. Обнаружив в руках яблоко, он принялся сосредоточенно вертеть его.

Грач аккуратно разгладил газетный лист, в который было обернуто яблоко, и долго в тусклом свете керосиновой лампы с глубоким вниманием читал мятые строчки. Закончив чтение, сказал:

— Надо же, какие приятные газеты бывают. В какой, оказывается, замечательной стране живем. Прямо самому себе завидуешь.

Ночная метель волнами сугробов укрывала убожище нищеты. В воздухе поблескивала снежная взвесь.

— Видишь столбы? Пойдешь по створу через камыши, наткнешься на вешку. Там и бури лунку, — объяснил Грач.

Но на рыбалку они не пошли, а пошли на кладбище. Место вечного упокоения было занесено буранами. Из обнесенной штакетниковой оградой белой пустыни торчали темные кресты и ржавые звезды. Расчистили место с краю.

В чистом после метели поле, смотря под ноги и мелко семена рыжими пимами, торил замысловатые тропы Толик. Был он одет в овчинный полушубок и крест-накрест, как дошкольник, перевязан шалью. Руки в вязаных рукавицах свисали без движения.

— Что он делает? — спросил Руслан.

— Письма инопланетянам пишет, — сухо ответил Грач.

— Инопланетянам?

— А кому еще? Последняя надежда на них. Вот так натопчет письмена и будет кубик вертеть до следующего бурана или снегопада.

— Интересно, что он им пишет?

— Кто ж его знает. У него своя азбука, — сказал Яшка, постукав землю ломом. — Так ее не возьмешь. Надо бы баллоны пожечь.

Пока прикатили из заброшенной бригады шины, пока ждали, когда они прогорят, черня белые снега копотью, пока рыли могилу, перевалило за полдень.

Похоронили деда Иванова в предвечерний час.

Обнажив лысину, Яшка сказал полагающуюся в таких случаях речь, которую со вниманием выслушали все жители села, — несколько старушек, приبلудная семья из мест, охваченных межнациональным конфликтом, и маленькая рыжая собачка непонятной породы. Толик не пришел прощаться с соседом. Он занимался более важным делом: вытапывал в снегу знаки, видимые и понятные лишь существам, смотрящим на него сверху.

На поминки метельные гости не остались.

— Свояк должен подъехать, волноваться будет, — объяснил Грач ситуацию бабе Вере.

И они пошли вдоль снежного вала, вдоль столбов-распятий к трассе. Тропинку, которую они протоптали вчера, занесло ночной метелью. Оглядываясь, Яшка махал бабе Вере: иди домой, не морозься. Но старушка не уходила, махала в ответ слабой рукой, прощаясь. Маленькая черная точка в белых снегах, рядом с забытой деревней.

— Как полярница на льдине, — сказал Яшка простуженным голосом.

Снял меховую рукавицу и оттаял ладонью льдинки с ресниц.

Бабу Надю в эту зиму обворовывали несколько раз. Украл поганое ведро. Кто на него позарился? Таскали дрова. Сперли мясо, вынесенное в сени на мороз. В безработном городке, стремительно вырождающемся в деревню, воровство считалось не преступлением, а народным промыслом. Стоило вывесить белье на просушку, оставить во дворе топор ли, лопату и отвернуться на минуту, как все это мгновенно исчезало. Было — и нет. Ветром сдуло. Тащили все подряд. Но чаще всего посягали на живность: поросят, телят, гусей, уток, кроликов. После первых потерь в профилактических целях баба Надя привязала Бимку поближе к курятнику. Затявкает — она к окну. Да что через ледяные узоры в безлунную ночь разглядишь? То ли хозяйка спала крепко, то ли пес лаял тихо. Наутро только и осталось оплакать кур.

У местных сыщиков и участкового Тарары богатый опыт — раскрывают дела, как семечки щелкают. Беда только, что дел — выше крыши. Вот и приходится самим потерпевшим разыскивать пакостников. Одну бабусю так и прозвали — комиссар Каттани. Трижды у нее воровали уток, и трижды она находила преступника по свежим следам. Причем во всех случаях — одного и того же. На первый раз, настращав, простила, как водится. На второй слегка прибила поленом, но пожалела. А уж на третий сдала милиции. Тьфу ты, полиции.

И надо сказать, что именно в соседях у бабы Нади как раз и живет комиссар Каттани, неутомимая охотница за утокрадами.

Пришла, осмотрела место преступления и говорит:

— Не горюй, кума, найдем супостатов. Главное, чтобы они улики не успели съесть.

Измерила шагами расстояние от Бимкиной будки до взломанной двери и спрашивает:

— А собака, значит, не лаяла? Так, так... Если собака не лает, что она делает? Хвостом виляет. Думаю, в сарай забрался твой хороший знакомый. Может быть, даже родственник.

— Что ты говоришь, — замахала на нее руками баба Надя, — как можно такое думать! Собака у меня доверчивая, интеллигентная. Она даже на чужих не лает.

Главный свидетель, Бимка, сидел тут же между старушками, внимательно слушал разговор, поворачивая голову от бабы Нади к Каттани. Обвисшее ухо закрывает глаз, хвост подметает снег. Выражение морды счастливое. Все, что говорила о нем баба Надя, было, увы, правдой. Этот страж пережил крайнее для собаки унижение: однажды у него украли цепь вместе с ошейником.

Посмотрела на него с осуждением комиссар Каттани, покачала головой.

— Весь в тебя, — укорила она соседку и строго наказала на будущее: — Сейчас, Надежда, такое время, что и самому себе верить нельзя.

Не раскрывая творческий метод комиссара Каттани, скажем, что к вечеру проныцательная старушка вычислила похитителей и накрыла их с поличным как раз за поеданием улик. Но чтобы сдать негодяев правосудию, нужно было заявление потерпевшей. Баба Надя заволновалась: так их из-за меня в тюрьму посадят?

— Да почему из-за тебя? — удивилась соседка. — Не из-за тебя, а из-за ворованных кур. Посмотрите на чокнутую: ее же обокрали, и ей же неудобно. Я бы таких, как ты, кума, штрафовала.

Всю ночь баба Надя не спала. А утром решила сходить к грабителям. Посмотреть им в бесстыжие глаза и пристыдить. Не совестно, мол, одинокую пенсионерку обворовывать? Уговорила за компанию комиссара Каттани, пошли.

Дом без ограды, без сарая. Одна калитка лежит — в снег вмерзла. Вроде решетки, о которую в грязь ноги чистят. Крыша от снега прогнулась, вот-вот обвалится. Одно окно досками заколочено и соломой забито.

А когда вошли внутрь, баба Надя едва не расплакалась. Она и не думала, что люди так могут жить. Хуже, чем куры в ее сарайке. На кровати в фуфайке, шапке и валенках, отвернувшись к стене, лежал мужчина. Он кашлял, изо рта шел пар. Девочка лет тринадцати растапливала ломаным штакетником печь. На плите в ожидании тепла сидели мальчики помладше, бледные и сердитые. На них была одна шуба. Они выглядывали из нее сиаемскими близнецами. Кроме расшатанного стола и табуретки, в доме ничего не было. Даже занавесок. На подоконнике стояла посуда — поллитровые банки, обрезанные под стаканы пластмассовые бутылки и кастрюля без ручек.

Девочка, волчком взглянув на бабу Надю, отвернулась.

Мужчина с кряхтеньем повернулся, посмотрел на незваных гостей печальными и угрюмыми глазами.

— Сашка, Петька, вы бы табуретку поставили, что ли, — укорил он сидящих на плите чумазеев.

Но пацаны посмотрели на него с недоумением и остались сидеть на плите.

— А хозяйка где же? — спросила баба Надя.

— К маме уехала. Погостить, — ответил мужик, сбрасывая руками ноги с кровати.

— Погостить, — передразнила его девочка, вытирая грязными ладонями глаза, и сердито уличила отца во вранье: — Бросила она нас. Зачем мы ей, безногие да двоечники?

— Кто двоечники? — возмутился младший из братьев. — Какие мы двоечники, если в школу не ходим?

— Вот я сейчас встану да ремнем тебя перетяну, — пригрозил отец дочери.

Он наконец-то сел и, изнуренный усилиями, тяжело дышал.

— Встанешь ты, — снова передразнила его девочка, — лежи уж, вставало.

Мужчина посмотрел на нее, на старушек, на свои ноги и сказал:

— Вы уж простите их. Они у меня хорошие. Все из-за меня.

Сердце у бабы Нади разрывалось. Чувствуя, что вот-вот расплачется, она потянула соседку за рукав: «Идем...».

Возвращались старушки молча. Только снег сердито скрипел под ногами.

Долго баба Надя не находила себе места. Сидела у окна, смотрела на заснеженные яблони-дички, на незнакомых птиц, клюющих побитые холодом яблочки, и плакала. Потом откинула край скатерти, взяла лежавшие под ней деньги, пересчитала, прикинула и пошла в дежурный магазин. Купила три булки хлеба, немного крупы, немного вермишели да сахару и отнесла все это в дом без ограды.

— Когда нечего будет есть, — наказала она девочке, — не воруйте, а приходите ко мне. Много ли нам надо. На хлеб денег не будет — картошка есть.

Так баба Надя взяла на себя функции государства. Всю зиму она снабжала похитителей кур дровами и продуктами. Нашла из старого тряпья одежду для детей и настояла, чтобы они снова пошли в школу.

— Жалей их, жалей, — ворчала суровая комиссар Каттани, потерявшая веру в человечество, — отблагодарят они тебя, как же! Держи карман шире. Остудись, кума. Чего за других-то потеть?

Впрочем, однажды вечером баба Надя видела собственными глазами, как эта гроза грабителей грузила в санки Петьке и Федьке дрова из своей поленницы. При этом сердито ворчала: «Только бабке своей придурочной не разболтайте. А то знаю я вас, куроедов».

Наученная горьким опытом баба Надя беспокоилась о квартире сына. Как и многие учителя-степноморцы, жил он с семьей большую часть года у полярного круга, а домой наезжали лишь в летние каникулы. Квартира же в многоэтажном доме оставалась под присмотром соседей. Конечно, баба Надя навещала ее время от времени, проверяя сохранность имущества. Разграбление козловского дома сильно напугало ее. И на саночках, потихоньку она стала перевозить посильные вещи из городской квартиры в свой домик, в Оторвановку. Однако же были там неподъемные для нее Светино пианино, книжный шкаф и массивный стол с выдвижными ящиками.

— Какие деньги, тетя Надя, — обиделся Козлов, — мы же с вашим Витей друзья были. Почти родственники. Перевезем. Вот найдем салазки попрочнее — и перевезем.

Хорошие салазки были у художника. Сварены из нержавеющей стали, полозья широкие. Он на них по ночам ворованные дрова из парка возил.

Квартал, где жил художник, обитавшие в бараках первостроители Степноморска прозвали бар-городком. Коттеджи для специалистов, возводивших плотину, были построены вокруг березовой рощи и напоминали дачный участок. Энергетики откопывали строить очередную ГЭС, и дома их заняли постоянные начальники. Когда же город стал потихоньку вымирать, здесь появился народ попроще. Художник, живший в одном из уцелевших коттеджей с гордой, но странной для вымирающего поселения надписью через всю стену: «Не продается», прирабатывал редкими заказами. Писал по фотографиям портреты покойников. Прошло благодатное для живописцев время, когда, как грибы после дождя, вырастали клубы, школы, детские сады и библиотеки. Каждому нужно было панно. Человек хрупкий, невысокого роста, любил он рисовать крепких людей и резвых коней, скачущих с развевающимися по ветру гривами в степном раздолье. Большой спрос был на портреты членов Политбюро. Кабинет без вождя — все равно что церковь без иконы. Денежная была халтура. Памятником ушедшему благополучию из сугроба выглядывал ржавеющий остов «Москвича». Из-под снежного одеяла торчали лишь серебряные рожки оленя, заимствованные у «Волги».

Но сейчас его, как и Козлова, кормили покойники. Ну и что? Все искусство вышло из кладбища. Все, что делает человек, — только надгробья. Он же не пишет смерть. Напротив: своей кистью воскрешает мертвецов. Этим можно было утешиться.

Художник был одет в фуфайку с желтыми заплатами на локтях и ватные штаны с брезентовыми наколенниками. Он церемонно отставил ногу, словно собираясь поклониться в изысканном поклоне и обмести рыжим малахаем подшитый валенок, но ограничился лишь тем, что снял овчинную рукавицу и протянул через забор руку.

— Гофер — существо без родословной. Национальность — человек.

Он не представлялся. Он дарил себя, как редкую книгу, с изящным автографом.

Руслан представился, но Гофер не разжимал кисть. Карие, большие, как у существа, ведущего сумеречный образ жизни, глаза жаждали общения. Крылья носа вздрагивали, жадно обоняли незнакомца. Пухлые губы загадочно улыбались в надежде на ответное любопытство. Не дождавшись интереса к своей персоне, художник спросил:

— Не встречал людей с такой фамилией?

Руслан отрицательно покачал головой и попытался освободить озябшую руку.

— И я не встречал. Одна фамилия на всю планету, — опечалился художник, но тут же просиял: — Гофер — это дерево, из которого Ной построил ковчег. Странная фамилия, не правда ли?

Изнуренный долгим рукопожатием Руслан пожал плечами.

— Должно быть, в детдоме что-нибудь перепутали, — успокоил странный человек нового знакомого и тут же намекнул: — Не подкинули же меня инопланетяне.

Соскучившийся по новым людям и общению художник Гофер был сделан из прозрачного стекла и открывал душу первому встречному.

Старожилы знали о его несчастье: красивой жене, которая не могла простить ему прозябания в этой дыре и при каждом удобном случае подчеркивала его ненужность, всячески унижала при посторонних. В молодости звал он ее своей музой. Ехидные соседки до сих пор за глаза — Муза Карапуза. Зная о такой напасти, Козлов отклонил приглашение хозяина войти в дом. Они беседовали, опершись с двух сторон о штакетниковую ограду, и Козлову было печально видеть, как сильно поредела березовая роща за эту зиму. Еще год-два и от нее вообще ничего не останется. Скуку тихо умирающего городка время от времени сотрясали дичайшие, бессмысленные преступления, а раз в год кто-нибудь непременно вешался. И, как правило, на одной и той же березе, прозванной в народе виселицей. Ее хорошо было видно со двора художника. Старое и необыкновенно красивое дерево: кряжистое, разлапистое, узловатые корни, словно когти хищной птицы, вцепились в землю. На ее ветвях вырос целый город вороньих гнезд. Роща бар-городка была практически вырублена на дрова, но эту красивую березу с мрачной историей не тронули. Директор местного краеведческого музея Кузьмич души в ней не чаял. Огородил жердями и повесил табличку: «Памятник природы. Охраняется государством». А какой-то мрачный шутник дописал: «Вешаться категорически запрещено!» Однако дерево с неотвратимой силой притягивало самоубийц. Оно плодоносило покойниками. И снимали этот страшный урожай в самые мрачные месяцы — в феврале и ноябре. Все чаще тоскующие глаза Гофера пристально вглядывались в ее печальную крону. Несколько раз он принимался писать ее с натуры и даже придумал название: «Грачи улетели», но всякий раз на крыльцо выходила жена и говорила тоном учительницы начальных классов: «Ты бы лучше делом занялся».

Художник не стал жадничать, но, когда он выкатил из сарая свои замечательные салазки, на крыльцо вышла жена и сказала, не поздоровавшись с Козловым и Русланом:

— Ты бы сначала навоз вывез.

Гофер беспрекословно повиновался. Когда жена ушла в дом, печально пожаловался шепотом, отряхивая рукавицами снег с ватных брюк:

— У меня нет имени. «Ты бы почистил у коровы...», «Ты бы принес воды...», «Ты бы подмел двор...». Тыбы, да Тыбы. А еще: «Ну-ка, накопи дрова, ну-ка, подай, ну-ка, сбегай...». Что это за Нука? Нука Тыбович. Как можно у человека отнимать имя?

— Терпи, — утешил его Козлов, — что нам, безработным, остается делать?

А сам подумал: если мужик жалуется на жену посторонним людям, совсем плохи, должно быть, его дела.

— Вот тут ты не прав, — возразил, нахмурившись, художник. — Человек с талантом никогда без работы не останется. Другое дело, денег за работу не получит. А работать будет. Работу у него из глотки не вырвешь.

Козлов спорить не стал. Перевернул санки и стал елозить по снегу, оттирая от свежего навоза, чтобы не запачкать пианино.

Печальный художник обнажил голову. Растер лысину снегом. И снова натянул малахай, делающий его похожим на самурая. Такие странные вещи он делал время от времени, чтобы избавиться от унылого чувства обыденности. Когда-то он носил рыжую копну волос, пуловер, связанный, по его утверждению, из шерсти мамонта, был свободен, как ветер, и ничто ни с кем его не связывало, кроме дружеских уз. Воспитанный в детском доме, был он неприспособлен, бескорыстен и лишен преступного, унижающего человека инстинкта собственника. Единственное, чего ему не доставало, — дома, родительского тепла. В поисках семьи объездил в свое время всю

страну. Он не любил большие города, а маленькие деревни ненавидел. Но когда впервые увидел Степноморск, сразу понял: нашел то, что искал. Особенно когда заглянул в парикмахерскую. Самую красивую девушку, живущую в раю, звали Раей. Он покорила ее сердце тремя сонетами Шекспира, которые декламировал исключительно в подлиннике. Звучание иноземной речи очаровало юную парикмахершу. Рыжий, спеленатый простыней принц сидел на вращающемся троне, и парикмахерская была полна венчальным звоном хрустальной туфельки. Через несколько лет Рая спросила: «Ты не собираешься уезжать из этой дыры?» И он ответил: «Дорогая, из рая не уезжают. Из рая изгоняют». Он еще не знал, что рай очень легко превратить в ад.

— А я шесть холстов нарисовал, — печально похвастался Гофер, — идемте, покажу.

— В другой раз. Торопимся, — отказался от приглашения Козлов, опасаясь кособокого взгляда хозяйки.

— Подождите минутку.

Художник ушел в дом и вскоре вернулся с охапкой картин. Прислонил их грудой к ограде и стал расставлять в снегу, вдоль сугроба.

— Рая ругается: материал перевозжу. Пейзажи сейчас действительно спросом не пользуются. Но у меня этих холстов — как гуталина у Матроскина. Когда в организациях портреты выбрасывали, я их все подбирал. Сейчас милое дело — пишу по вождям. Одно плохо: краски нынче дороги.

На сугробе один за другим появлялись летние пейзажи: подпирающие небо богатырские березы — одинокие в поле, редкие в перелесках, сгруппированные в густые рощи. Краски чистые, плотные. Дрожь пробирала от этого обильного цветения на хрустящем от мороза снегу. На всех полотнах сочно горела радуга. И небо, полуденное и на закате, и трава, щедро обрызганная полевыми цветами, и белоствольные березы были выписаны слишком правильно. От этой правильности на душе становилось грустно и трогательно. Было забавно думать, что из-за этих трав и берез строго смотрят сейчас серьезные люди, руководившие некогда большой страной. Но если внимательно приглядеться, картины действительно были наполнены прозрачными, как мыльные пузыри, людьми, которые не застили собой пейзажа. Сквозь их невесомые тела просвечивали травы и деревья, дожди и воды, небо и радуга. Душами умерших и уехавших, не пожелавшими покинуть знакомые места, были эти светлые и печальные призраки.

— Красиво, — сказал Руслан, чтобы сделать приятное художнику, и шагнул в снег, желая разглядеть особенности мазка.

— Красиво, — грустно согласился Гофер, — когда издали. Райский пейзаж: озеро, березы, золотая поляна. А подойдешь поближе — болото. Дохлая корова смердит. На поляне — консервные банки, свалка. Молодые деревья на веники обломаны. Лучше издали любоваться. И к человеку, и к картине близко подходить не надо. Тайна, дымка пропадает. Обязательно какую-нибудь гадость обнаружишь и подумаешь: а спасет ли красота этот мир? И надо ли спасать этого уродца? Вот ты говоришь — красиво. А для чего красота, в чем ее смысл? Красота без смысла, без цели — пошлость. Красота цветов и женщин, запахов, красок, всего живого имеет один смысл, одну цель — продолжение жизни. Нас через эту красоту заставляют любить еще не рожденные дети. Красивые картины, красивые книги пропитаны спермами новых книг, новых картин, новых жизней. Вот что такое красиво.

Гофер внезапно помрачнел и закончил уныло:

— Конечно, в этом мире не так уж много смысла. Поэтому он вынужден время от времени притворяться красивым, чтобы выжить. Для этого и нужны художники. Бог — великий живописец. Одни закаты чего стоят.

— А почему везде радуга? — боясь обидеть художника, спросил Руслан.

Но Гофер не обиделся. Весь просияв, он торжественно процитировал:

— «И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и всякою душою землею во всякой плоти, которая на земле», — и, отряхнув от снега понравившуюся Руслану картину, протянул ее через ограду: — Дарю.

— Еще чего, — испугался Козлов внезапной щедрости живописца.

- От подарков не отказываются, — обиделся Гофер.
Козлов сконфузился.
— Ну, спасибо. Пусть пока у тебя повисит. Стены побелим — заберем.

Фотография в рамочке, выпиленной лобзиком из фанеры, висела между книжных полок. Девочка стояла в проеме двери балкона. Кто-то зеленым фломастером подрисовал ей лихие гусарские усики. За спиной ее падал снег, и смутно прорисовывался молодой город. Снег, судя по настроению, был тоже молодой, первый. Тот самый, что излечивал тоску и поднимал душу в небеса. Руслан посмотрел в запыленное окно и увидел развалины того же города. Их тщетно пытался заштриховать сегодняшний снегопад. Но он не поднимал душу в небеса. Ветер часто менялся, и колючие снежинки перечеркивали бездонную черноту пустых окон крест-накрест.

Красивые люди смущали Руслана. Они отражали божественное, недостижимое совершенство и жили особой, недоступной ему жизнью. Встречаясь с красивым человеком, он испытывал скованность, чувствовал себя едва ли не неполноценным. Украдкой посматривал он на девочку, а когда отец и баба Надя отвлеклись, замеряя размеры пианино, поскольку сильно сомневались, можно ли вынести инструмент в дверь, Руслан снял фотографию со стены и сунул во внутренний карман куртки.

О таинствах любви, как и большинство его ровесников, Руслан узнал из порнофильмов. Он смотрел на женщин с презрительной, циничной осведомленностью оскорбленного ранним прозрением мальчишки. Есть вещи, о которых нужно узнавать вовремя. Слишком раннее или слишком позднее откровение может сломать человека. Но в этой пустой, холодной квартире с ним произошло нечто, не имеющее отношения к физиологии, да и вообще к женщинам. Никогда он не переживал первый снег так, как тот, что увидел за спиной незнакомой девочки на забытом в пустой квартире снимке.

Баба Надя вспомнила, что пианино заносили через балкон, и Руслана послали к Павловне за веревками. Впрочем, веревки не понадобились. Пианино, не без труда, но вынесли все-таки через двери. При этом Руслану отдавили ногу, да так, что ноготь на большом пальце почернел. Но это не испортило ему настроения. Он чувствовал себя праздничным разноцветным шаром, готовым в любую секунду сорваться и улететь в небеса. Впрягшись в салазки, тащил через мертвый город сквозь усиливающийся снегопад черное пианино, и оно екало нутром, а ему слышался в случайном сотрясении струн замечательный мотив. Он насвистывал его всю долгую дорогу до домика бабы Нади и подбирал слова. Получилась песенка о петухе с отрубленной головой. Руслан не любил бардовскую песню, и его очень удивило, что с тех пор, как стал жить в мертвом городе, он только тем и занимался, что изменял самому себе.

Пока счастливая окончанием хлопот баба Надя вкусно шумела на кухне, Руслан брэнчал на расстроенном инструменте, пытаясь совместить в одно целое слова и музыку. Он еще не догадывался, что к настоящим словам музыку придумывать не надо, она появляется вместе со словами.

Петух с отрубленной башкой,
Куда ты побежал, родной,
Рябиной брызгая на снег?
О, как стремителен твой бег!
Сверкая радугой хвоста,
Бежишь. Какая лепота!

Петух с отрубленной башкой,
Гляжу я вслед тебе с тоской.
Как ты несешься вдоль плетня
Все дольше, дальше от меня,
Изящно так и так легко...
Но не забыл ли ты чего?

Петух с отрубленной башкой,
Бежать тебе туда на кой?

Остепенись. Уже ты труп.
Прямой дорогой в жирный суп
Несешься мимо свежих дров,
Пугая серых воробьев.

Петух с отрубленной башкой,
Неведом нам с тобой покой.
Жизнь — коротка или длинна —
Всегда кончается она.
Пора, дружок, остановись.
Остепенись, остепенись.

О, петушиная башка,
Чего ты смотришь свысока
И с юмором на петуха?
Тебе не нравятся бега?
Поснисходительнее будь,
Прокукарекай: «В добрый путь!»

Петух бежит от топора.
Конец плетню — взлетать пора
За тын, за синие леса,
За поле — прямо в небеса,
Где солнце — золотая рожь,
Там счастье наконец найдешь.

Давно у Руслана не было такого счастливого дня, но к вечеру настроение его внезапно переменялось. Он подумал, что люди в его положении не имеют права на простые поступки. Например, не имеют права портить жизнь красивым девушкам. Передается ли наркозависимость с генами? А почему нет? Несомненно, склонность к никотину передалась ему от Козлова. Для наркомана и прокаженного банальное стремление завести семью, стать отцом — преступление против человечества.

— Батя, ты как думаешь, имеет право наркоман жениться?

Посмотрел Козлов странным взглядом Иоанна Грозного и ничего не сказал. А вечером, когда каждый лежал на своем тулупе, а по промороженным стенам северным сиянием бегали сполохи от раскаленной буржуйки, ни с того ни с сего ударился в воспоминания.

— В крещенские морозы я похоронил Федора Перятина, а через месяц — Игната Ермакова. Фронтовики. Один без рук, другой без ног. Руки по плечи. Ноги — по самый корешок. Протез не за что зацепить. До войны часто дрались друг с другом. То ли девок поделить не могли, то ли силу девать некуда было. Меня, понятно, в те годы в пятилетних планах еще не было. Я это так, со слов старушек говорю. А помню их уже инвалидами. Жили в соседях, огород к огороду, двор ко двору и баня общая. В деревнях соседи редко дружат. То жены полагаются, то скотина плетень повалит и на чужой огород забредет, то кот кота обижает. Мало ли причин пособачиться. А эти — не разлей вода. Тетя Фрося, жена Федора, так говорила: «Эх, мужики, сложить бы вас вместе, какой мужик получится! Да еще и на маленькую собачку останется».

Они друг друга иначе как Обломками не звали. Игнат повеселей был, а Федор, безрукий, часто не в духе пребывал. Сойдутся вместе — и ну друг друга подкалывать. «А скажи-ка, Федя, как ты со своей Фросей спишь?» — «Зашибись. А вот как ты от своей убегаешь?» — «Да с чего мне от нее убежать?» — «Ну, это уж у Нюрки твоей надо спросить. Есть, значит, причина».

У них разделение труда. Если куда за чем сбегать, Федор на два двора старается. Если чего простругать, приколотить, вырубить — тут уж Игнат отдувается.

Рыбаки были заядлые. Еще солнце не встало, бабы коров в стадо не выгнали, а безрукий безногого уже несет по переулку Овражному к Заячьей губе, где у них лодка к жернову прикована. Усаживает Федор Игната в плоскодонку. Тот воду вычерпает, замок отомкнет, весла в уключины вставит. Федор животом в нос уткнется, оттолкнет посудину от берега, ждет, пока однополчанин лодку кормой развернет. Заплывут в

камышы под сопку Полынную на прикормленное место. Игнат цепью кол обматывает, удилища настроит, жмых в воду побросает и достает «Беломор-канал». Ничего нет слаще первой папиросы на рыбалке. Да, если бы первой сигаретой, первой рюмкой наш брат мог успокоиться... Две затяжки, десять капель — оно, может быть, и полезно. Так мы пачками, стаканами. Проглоты! Ну вот, прикурит Игнат и Федору в губы вставит. Место там было красивое. Сопка в синих окнах отражается. Камыш густой, высокий, лилии белые. Тишина. Курит Федор, смотрит на поплавок из гусяного перышка. Страсть как хочется самому язя выудить. Аж трясется. «Подсекай, — шепчет, — подсекай... Эх, раззява! Ты до пяти про себя досчитал, нет ли? Сколько я тебя учил: как поплавок в воду уйдет, считай до пяти — тогда и подсекай. Ты ж ему червя заглотить не дал».

Вот так смотрит, смотрит на поплавок, губу закусит, поморгает, поморгает да и скажет: «Что за жизнь — ни язя вытащить, ни ширинку застегнуть. Петлю сделать и то не могу. Вчера так в носу зачесалось, а почесать нечем. О комарах, фашистах, я уж молчу. Вот так бы свалиться за борт — и на дно...»

«Давай, давай, прыгай, — говорит Игнат, — я тебя еще и веслом по башке огрею, нюня ты ильинская».

Великий был утешитель.

А Федор опять за свое: «Помнишь, как я на гармошке играл?» — «Мне ноги, а не голову оторвало. А помнишь, какой я был танцор?» — «И нет чтобы наоборот: тебе, скажем, руки, а мне ноги оторвало». — «Размечтался. Уж лучше кому-нибудь одному — и руки, и ноги. Тебе, допустим. Кончай, Федя, из соплей сгущенку делать. Какие мы с тобой калеки? Башка есть? Есть! Орудие главного калибра имеется? Имеется! Осечку не дает? Я тебя спрашиваю». — «Да вроде бы нет». — «Не слышу». — «Никак нет, не дает осечки». — «Чего же нам плакаться? Ты лучше посмотри, какая красота вокруг. Рай, чистый рай. По сто граммов фронтовых?»

Федор голову запрокинет и рот, как птенец клюв, раскроет. Игнат из фляжки в крышечку отмерит дозу и другу в колодец зальет. Федор крякнет, посмотрит просветленными глазами на окружающую действительность — действительно красота!

Я пацаном у Заячьей губы с берега рыбачил. Часто с ними встречался. Помню, один раз сильно есть захотел, а хлеба попросить стыдно. Вот я и кричу: «Дядя Игнат, вы на червя или на хлеб рыбачите?» — «На "кобылку"». — «А у меня хлеб кончился. Хлеба не дадите?». Он из буханки пятерней мякоть вырвал, смял, смял и бросил мне. Ну, а ручки, сам понимаешь, какие на рыбалке бывают. Пролетел хлебный мякиш через камыши и в песок упал. Отряхнул я его, слегка сполоснул в воде и слопал. До чего вкусный был, до сих пор помню. Тугой, песок на зубах поскрипывает. Что ты! Это так, к слову. Я-то с берега мелюзгу ловил — пескаришек, окуньков, чебачков, ершей, а они с лодки хороших язев таскали. Место было хорошее, прикормленное.

Так и жили, друг за друга цепляясь. Правда, у них и жены золотые были. Те, послевоенные женщины совсем другого сорта были. Хотя, с другой стороны, особого изобилия и разнообразия в мужиках не наблюдалось. Да и деревня другая была. Надо кому дом построить, только свистни — вся Ильинка соберется, и к вечеру человек уже новоселье справляет.

И на свадьбах, и на похоронах мужики всегда рядом. Игнат — рюмку себе в рот, рюмку — Федору. После третьей — все, брат, довольно. Железный был человек. А Федор в этом смысле послабее. Знай, канючит: «Ну, еще по одной». — «А вот, Федя, хрен лучше пожуй. Тоже в нос шибает». — «Сам жуй, — обижается Федор, — вот из таких, как ты, и формировали заградотряды».

Но как пели! Как затянут: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...». Вся женская половина Ильинки слезами умывается.

Разлучили мужиков, когда Ильинку в Степногорск перевозили. Степногорск, собственно, из трех частей состоит. Сам город. Это то, что сейчас в развалинах. Потом — старое село, прибрежная часть, старожилы. И Оторвановка. Заасфальтее. Там, за грейдером, как за китайской стеной, сейчас и обитают остатки основного народа, бывшие ильинцы. И вот, когда дома перевозили, жена Федора выбрала место рядом с родителями, в старом селе. А Игнат поселился в Оторвановке. Федор и запил.

— Как же он запил без рук? — спросил Руслан.

— Дурное дело не хитрое. Бабка брагу, допустим, заведет, а он зубами трубочку протиснет под крышку фляги и посасывает, лежа на печи, ночь напролет. Мурлычет на пару с котом. Бабка поинтересуется: подошла ли к празднику бражка? Подошла. На дне немного густого сусла. Ну, а потом, дело такое, много сочувствующих, всегда калеке помогут, нальют. В общем, не просыхал человек. Особенно, когда Союз развалился. Все поминки по стране справлял. И умер в метель. Нашли в сугробе под забором. Воткнулся в снег головой, а подняться без рук по пьяному делу не смог.

Очень сильно Игнат затосковал после похорон. У него кроме основного увечья масса сопутствующих ранений. Весь в дырках. На солнце поставит — просвечивается, как сито. Говорят, осколок был под сердцем. Короче, недолго после Федора протянул. Перед смертью сказал: «Похороните меня рядом с этим придурком. На том свете хоть полаяться будет с кем».

Только тем мужики и держались, что друг друга подпирали. Если бы Ильинку не затопили, может, до сих пор бы друг друга подкалывали.

Руслан представил, как Ильинка, выныривая из вод Степного моря, посуху, дом за домом, ковчег за ковчегом длинной вереницей по разбитому грейдеру мимо береговых перелесков переезжает в Оторвановку. Из печных труб струится дым — хозяйки, не теряя времени даром, готовят ужин.

Но переезд был не таким веселым делом. Сначала из дома выносили икону, если она была, и мебель. На стенах и полу оставались темные, пыльные отпечатки вещей. По кирпичику разбирали печь. Срывали половые доски и под ними находили давно потерянные, милые мелочи — монеты другой эпохи, кольца, крестики. Вынимали рамы. Старые запахи выветривались, словно душа дома покидала его навсегда. Разбирали крышу. Затем каждое бревнышко помечали цифрами и сруб раскатывали. И эти бревна, доски, кирпичи, шифер — расчлененное жилище — вывозили на новое, чужое место. От дома оставался квадрат черной земли, которая очень быстро зарастала коноплей, травой забвения.

— Батя, а ты всю жизнь прожил на одном месте?

— Ну, почему. Учился. В Свердловске. В армии служил. В Советской гавани. Путевку в Болгарию предлагали. Я не поехал.

— Почему?

Козлов долго молчал, но, когда Руслан решил, что он уже заснул, заговорил туманно:

— Все мы плутаем по закоулкам собственной души, все бредем через пустыню. Раньше я жил вместе со всеми в этой стране, в этом городишке. А однажды проснулся — один на чужой планете. Зачем куда-то ехать, возить по странам пустые глаза, если человек самого себя не знает? Не интересуется человек самим собой. Он сам себе чужой. Иной раз и поговорил бы с собой, познакомился, да язык, на котором с душой разговаривают, забыл. Душа тебе не доверяет. И пароль забыл. Так и умирает человек, себя не узнав. Да, редко мы в себя заглядываем. Вот так заглянешь, а это уже не ты. Какой гадости только не нанесло. А себя чистить — не снег с крыши сбрасывать. Постараться надо. Беда не в том, что себя не узнаешь. Беда в том, что в тебе уже чужой человек живет.

Руслан приподнялся на локте, пытаясь в гаснущем свете буржуйки разглядеть лицо Козлова — вечного странника, пересекающего в одиночестве пустыню жизни, не двигаясь с места.

В провинции интересен только первый день. Раскрываешь толстую старинную книгу с захватывающим предисловием — листаешь, листаешь, а ничего, кроме этого предисловия, в ней и нет. Один и тот же день повторяется снова и снова.

В буржуйке ревели пламя, шуршала за окном вьюга. Эти звуки сливались в один, до того безнадежный, бесконечный шум, что хотелось выть от жалости к самому себе и одинокой, затерянной в темных мирах планете, такой же случайной и ненужной, как и ты сам. Красноватые сполохи озаряли темную комнату, бельмо окна и человека, лежащего на поленнице дров под тулупом лицом к стенке.

Человек умирал. Его хриплое дыхание не нарушало печальной гармонии захолустья.

Руслан сидел перед печуркой на табурете, перебирал немые струны бесполезной без электричества гитары. В этом центре рая было хуже, чем в ссылке. Нужно узнать, есть ли в этой дыре больница, отвести отца, пока в нем теплится жизнь, и бежать, спотыкаясь, на первый же автобус. Если они, конечно, еще ходят.

Как в ссылке... Его вдруг поразил надменный, оскорбительный снобизм больших городов, ссылающих своих грешников в места, где живут люди. Просто живут, ни в чем не виновные. Страдальцы за народ воспринимают как наказание жить среди народа. Мрачные, циничные мысли под безголосую гитару кружились в голове метелью и складывались в смутный текст под музыку бесконечной ночи. В чем смысл наказания? В том, что человек испытывает холод? Голод? Жажда? Боль? Ерунда! Самое страшное для человека остаться один на один с собой. Человеку страшен он сам.

По-настоящему, кроме душевного покоя, человеку ничего не надо. Только этого он и добивается. Зачем ему дуэль с самим собой? Он трус. В самого себя не промахнешься. Два начала во мне: сатана и святой. Я убит на дуэли с самим собой. Озноб стянул голову на затылке. Бросить бы себе в морду перчатку.

Подошел гордый пеликан Петька и, склонив голову набок, стал слушать безголосую гитару.

— Тебя-то как сюда занесло, чудо в перьях?

Пеликан ничего не ответил и стал чистить перья.

— Молодец, — похвалил его Руслан, — ты бы еще за собой убирать научился.

Руслан закрыл глаза. Спрятался внутри себя в черной бездне космоса. Шум вьюги. Треск огня. Глушь. Покойно и уютно. Он почувствовал себя собакой, дремлющей в пургу в теплом сугробе. Ему не хватало лишь вечерней беседы с отцом, когда из противоречивого сумбура вдруг отливалась горячая, вся в окалине, брызжащая искрами мысль. О чем они спорили в прошлый раз? Козлов утверждал, что сегодня свобода для мира и человечества невозможна, гибельна, потому что дикая свобода нарушает необходимые для выживания законы. О свободе вспоминают, когда нужно что-нибудь сломать, разрушить. Расчистить место для нового рабства. Где деньги, там нет свободы. Где власть, там нет свободы. Где толпа, там нет свободы. Любая революция, любой переворот, любая буча начинается с грехопадения. С преступления против свободы во имя свободы. Разве не так? Все кричат о свободе, и всем наплевать на мою свободу. Свобода разная бывает. И добрая, и злая. Есть люди, которым свобода нужна лишь для того, чтобы меня сделать своим рабом. На хрена мне ваша свобода, если меня лишают человеческого достоинства? Возможна только одна свобода — свобода разума. Освободить человека — освободить его разум от чужих мыслей и научить думать самостоятельно. Тебе нужно научиться жить одному. Свобода — это одиночество. Никто, кроме тебя, тебя не освободит, никто, кроме тебя, тебя не сделает рабом. Никто, кроме тебя, не может заставить тебя что-то сделать или не сделать. Свобода — освобождение от самого себя. Души от тела. Ты думаешь: свобода — делать то, что тебе хочется? Нет. Свобода — не делать того, чего тебе не хочется. Почему я должен жить, как муравей? Только потому, что я муравей? Козе понятно. Вот только если все муравьи освободятся от себя, муравейнику конец. По-твоему, самый свободный человек — это бомж? А кто тебе сказал, что свобода — чай с малиной? Ничто так не угнетает человека, как свобода. Она — наркотик. Стоит один раз почувствовать и — полная зависимость. Свобода неизлечима. Ломать будет всю жизнь. А зачем она тогда нужна? Разные вещи — личная свобода и свобода для всех. Сегодня свобода для всех — вранье. Свобода отдельного человека — крест, который он тащит, чтобы приблизить настоящую свободу, когда человек из твари станет творцом. Богом. Это уже не философия. Это философская сказка. А сказок нет. Есть только предчувствие. Все, что возникает в человеческой башке, рано или поздно становится скучными, привычными вещами. Свобода — это как Бог. Одни говорят — есть. Другие — нет. Но никто ее еще не видел. Быть свободным — быть Богом. Свобода — форма существования Бога. Если зверь стал челове-

ком, почему человеку не стать Богом? Человек обязан стремиться стать Богом. Только так он сможет остаться человеком.

Да, философия — последнее утешение для неудачников.

Шумела буржуйка. Бредил, отвернувшись к стене, Козлов. Вечерняя тоска заполняла квартиру.

По метельным улицам брели седые мамонты. Они шли друг за другом нескончаемой вереницей. Не отворачивая морды от колючего снега. Подталкивая бивнями замешкавшихся на перекрестках. Безмолвные, как солдаты в строю. В спящем городе, сотрясаемом бесконечным стадом, звенели стекла в окнах и посуда в шкафах.

Козлов был зажат косматыми, холодными телами в центре бредущего в неизвестность стада. Он тоже подталкивал бивнями идущих впереди, и его подталкивали. Он задыхался, в гневе пытаясь вырваться из потока живого холода, из топота и шуршания, хриплого дыхания. Но вырваться было невозможно. Лавина тел уносила его все дальше в ночь. Ярость зажгла его, и шерсть стала пламенем. Он сгорал, сотрясаясь от холода, и замерзал, сгорая.

Мертвый город доживал свой век по инерции, без цели и смысла. Как петух с отрубленной головой.

— Да куда ж мы его положим, родной мой, — обиделся румяный человек, которого Руслан по одежде принял за главного врача, — если у нас весь корпус разморожен? Разве что в морг. Морг работает, там тепло не нужно. А больных мы еще в январе, после Нового года по домам распустили.

— А что же теперь делать? — растерялся Руслан.

— А не болеть, — охотно подсказал человек и похвастался: — Мне вон скоро шестьдесят, а я, что такое грипп, не знаю. Спроси почему? Не пью — раз, не курю — два и каждый день головку чеснока съедаю.

— Это понятно, — согласился слегка опешивший Руслан, — ну, а если заболел?

— Так это, родной мой, тебе к врачам надо. Только у нас врачей с гулькиным носом осталось. Одни пенсионеры. Вся молодежь на север укатил, куда раньше ссылали.

— А вы кто?

— Я-то? Я-то истопник, — с гордостью представился румяный человек.

— Что ж вы топили-то так плохо?

— Топили хорошо. Уголь быстро кончился.

Пустую больницу с мертвым городом соединяла тропа, проходящая через лесопарк. На залитой лунным светом поляне Руслан почувствовал пристальный взгляд. Среди сказочных скульптур, вырубленных из дерева, волна сугроба захлестнула ржавый остов катера. Ковчег, заброшенный в чащу северного леса. Тихо. Он оглянулся. Метрах в пятидесяти от него стояла большая собака. Несколько раз он свистел ей, приглашая идти рядом по ночной тропе, но она предпочитала держать дистанцию. Даже хвостом из вежливости не помахала.

Проводив его до конца парка, собака села у последней березы и, подняв голову, завывала.

Отчего, воя, волки смотрят на небо?

Руслан запрокинул голову. Древняя жалоба зверя. Столб света от фар одинокой машины. В зеленой бездне над одичавшим парком и развалинами мертвого города, где сейчас умирал его последний житель, висел золотой шар, окруженный ореолом — холодной ночной радугой. Все было так безысходно и так прекрасно, что он позволил себе то, что можно позволить, когда ты один. Совсем один. Он заплакал. Приступ внезапного, беспричинного счастья наполнил его легкие волчьим воем, и отчаявшаяся душа в крайнем своем, невыносимом одиночестве слилась со скорбной судьбой мира.

Никто еще не составлял инструкции для предателей. Но когда-то она непременно появится. И первым ее пунктом будет: если ты, гад, решил бросить беспомощ-

ного человека, делай это сразу. Замешкаешься на секунду, чтобы подать стакан воды, и ты пропал.

Предательство и преданность — не просто похожие слова. Между ними, несомненно, существует связь. Как в песочных часах. Даже в душе прирожденного предателя, самого эгоистичного сукиного сына есть пустоты для верности. В этом мире нет ничего приятнее, чем, отрешившись от себя, спасти другого человека. Варить для него суп из китайских пакетиков быстрого приготовления, просыпаться в тревоге среди ночи, вслушиваться в тяжелое дыхание и топить, топить круглые сутки маленькую буржуйку. Но что же в этом может быть приятного? Только то, что за этими заботами забываешь о себе, и они дают право отдохнуть от своих проблем? Отчего из двух заболевших людей легче переносит болезнь тот, кто лечит другого? Нет-нет, в этом есть особая радость. Именно радость. Невидимая рука ложится на плечо, и кто-то в самые тяжелые минуты говорит: мужик, ты делаешь то, что должен делать. Это как древний инстинкт, которому невозможно сопротивляться, который делает тебя сильным. Ведь что такое стать сильным? Защитить слабого. Спасти беззащитного. Даже малыш в эти мгновения чувствует себя Гераклом. Сыном Бога. В нем впервые просыпается отец. Защитник. Ты защищен радостью, когда делаешь то, что должен делать человек. Конечно, есть изнеженные душевным комфортом люди, ни разу не испытывавшие жертвенного счастья спасти другого человека. Впрочем, среди подобных особей встречаются и другие извращения. Но отчего эгоистичные, себялюбивые люди полны уныния, цинизма, безразличия и пессимизма? Они брюзжат, они недовольны всем миром, они раздражительны, обидчивы, желчны, злы беспричинно. Отчего, если все личные запасы любви и заботы они направляют исключительно на себя? Да именно оттого, что лишают себя радостей самоотречения. Спасатель чуть ближе к Спасителю. Спасая, спасаешься. Спасется только спасающий. Тебе кажется, ты никому не нужен? Значит, ты никого не спасаешь.

Грач потрогал лоб Козлова и сказал:

— Если бы такой жар да у вашей печурки был. А то жрет много, а толку мало. Полено бросишь, пых — и нет. Как камыш. Надо бы вам водяное отопление поставить. — Он обстучал костяшками пальцев холодные трубы и батареи, попутно рассуждая: — Этот стояк отрезать и заварить. Здесь закольцевать. Сюда печь с котлом врезать. Работы на час. Зато с вечера протопишь, до утра заботы нет.

Руслан рассердился: что зря говорить, где ее возьмешь, печку?

— Да проблем нет. За пятнадцать тысяч Пышкин на одной ноге прискачет.

На обратную дорогу у Руслана оставалось пять тысяч.

— Тоже деньги, — нахмурился Грач, напаяливая треух, — ничего, поторгуемся. А то вымрет Бивень, как мамонт.

Через час за окном загрохотало железо. Руслан помог втащить мужикам сварочный аппарат, массивную, как башня танка, металлическую печь, и трезвый, а потому жутко деловой Грач сказал сурово:

— Три тысячи будешь должен мне. Давай деньги. — Отслоив бумажку, протянул: — Дуй в «дежурный». Значит, так: возьмешь «Медведя» и полбулки хлеба.

Когда Руслан вернулся, квартира была полна сизого дыма, запаха карбида и сгоревшего металла, шелеста горелки и густого мата. Козлов был накрыт куском рубероида, по которому пощелкивали искры.

— А не зажарить ли нам птеродактиля? — размечтался повеселевший Грач, потирая в предвкушении руки.

— Да ну, — испугался Руслан, — батя нас самих потом поджарит.

— Если оклемается, — мрачно утешил его Грач. Взял со стола чебака и с треском разломил, разбрызгивая чешую. Попробовал мясо с ребрышка и поморщился.

— Ты что — рыбу вверх головой сушишь? — спросил он в великом потрясении.

Мужики приостановили сварочные работы и с суровым презрением посмотрели на Руслана.

— Какая разница, — легкомысленно ответил тот.

— Рыбак, твою тещу! — возмутился Грач. — Запомни раз и на всю оставшуюся

жизнь: рыбу сушат вверх хвостом. А это, — он потряс разорванным чебаком, — не рыба!

Пристально посмотрел Руслан в пустую кастрюлю, посмотрел на многодетную мать Машку, в недоумении обнюхивавшую постный воздух, на гордого пеликана Петьку, теребящего его за штаны, взял гитару и пошел на базар.

Идет по оторвановской улице, а на каждом третьем из ворот мелом написано: «Продается». Снежок падает. Тихо. Безлюдно. Собаки стаями бегают, смотрят на него без уважения.

Оглянулся: мертвый город, как в глухой снеговой пещере. В воздухе поблескивает морозная взвесь. Снежная пыль занавесила пугающую пустоту неба и сделала мир меньше, уютнее и печальнее, а живые существа больше и ближе друг другу. Судя по пороше, с утра, кроме собак, по улице никто не ходил. Согнутая в бумеранг старушка, намечая путь бамбуковой лыжной палкой, торила тропу навстречу. Облезлая доска, шаль, торчащая капюшоном, и негнущиеся пимы придавали ее фигуре забавный и одновременно жалкий вид. Встретившись, не подняла глаз, но, пройдя мимо, остановилась и долго смотрела вслед.

Базар — единственное место в городке, где еще как-то теплится жизнь. Помимо кладбища, разумеется. Но поскольку старикам еще не выдали пенсии, теплится она еле-еле. Мужик обматывает рукавицей розовые ломти мяса. Мороженые окуны пиромидками навалены прямо на снег. Заснеженные бабки застыли перед мешками с жареными семечками. У каждой на голове боярская шапка снега. Синицы, воробьи и сороки с оград, деревьев и крыш переговариваются, советуются, как бы чем без ущерба для здоровья поживиться на халяву. Старик безуспешно пытается продать всякую рухлядь — ржавые вентили, ключи без замков, драные бутсы, оба на правую ногу и разных размеров, детали от швейной машинки, старинный магнитофон, велосипедную цепь, фотобачок без крышки. Под навесами пестрый иностранный товар. Тоже барахло, но в упаковках ярких, как перья тропических птиц. Широкозадые, плечистые, прямоглазые челночницы в шерстяных заиндедевевших гамашах отбивают чечетку. Особая рыночная порода людей, произошедшая из бывших ударниц, активисток, передовиков производства. Героический труд, превративший их самих в подобие безразмерных, туго набитых товаром китайских сумок, еще ждет своего певца. Нам же остается лишь пожалеть этих негибких женщин, пожертвовавших личной жизнью ради скромного достатка своих семей. Возвращаясь с барахолок чуждальных городов, они не могли вспомнить ничего, кроме цен на товары.

На футляре аккордеона сидел одичавший интеллигент, скорее всего учитель пения. Мрачно посверкивая круглыми очками разночинца, он с элегантностью скрипача точил о брусок узкое и длинное лезвие ножа. Зловещий звук производился в целях рекламы, дабы привлечь внимание возможных клиентов на табличку в багетовой рамке, висящую на груди: «Услуги квалифицированного забойщика крупного рогатого и крупного безрогатого скота. Безотходная обработка туш. Цена договорная. Возможны варианты: мясо, сало, требуха. Музыкальное сопровождение свадеб, похорон и других торжеств». Солдатский полушубок и серые валенки в бурых пятнах. На седых, по плечи, власах — каракулевая папаха. Дед Мороз, уволенный по сокращению штатов.

Встал Руслан рядом с жизнерадостной, улыбающейся мордой свиньи и рулоном сала, над которым заснеженным пиком Хан-Тенгри застыл мужик в тулупе. Желтогрудая, потерявшая страх и совесть синичка топчется на вершине заснеженной шапки и с вожделием смотрит на бело-розовые залежи сала и чистенький пятачок. Раскрыл Руслан чехол, стоит, ждет покупателя. Только видит — вряд ли дождется. Народ все больше пенсионного возраста и, похоже, прохладно относится к тяжелому року.

— Последнее дело инструмент продавать, коллега, — выводив ножом по бруску душещипательную мелодию, осудил Руслана профессиональный убийца с музыкальным уклоном. — Человек без инструмента разве человек? Так, существо.

Руслан смутился и спрятал гитару в чехол.

Однако меняла, которого все звали очень странно — Лупльдвасать — заинтересовался инструментом. Дремал он у самого входа на раскладном стульчике с картон-

кой в руках, на которой было написано одно слово: «Меняю». Не скоро из дальних краев наедут в отпуска молодые степноморцы с рублями и долларами. Но с утра приходил меняла с рыбацким стулом и садился в надежде на удачу у врат рынка. В ковбойской шляпе поверх лыжной шапочки, дубленке и унтах. Долго, борясь со сном, присматривался издали к инструменту. Наконец с усилием, как штангист рекордный вес, поднял собственный живот, подошел, покружился и спрашивает:

— Скопосиш?

— Двести пятьдесят долларов, — хмуро ответил Руслан.

Меняла взял товар, вытащил инструмент из футляра и прикинул на вес.

Черная гитара в руках мужика на фоне белого снега, дымов из печных труб, полушубков, шалей, саней, валенок и свиных ляжек смотрелась странно, как летающее блюдо над акиматом.

— Двасать, — сказал меняла, будто сделал великое одолжение.

Руслан молча взял гитару за гриф и потянул к себе. Меняла не отпускал.

— Трисать. Больсенитонедас. Баба Уся, купи гиталу, — крикнул он старушке, спящей над запорошенным снегом мешком с семечками.

Баба Дуся встрепелулась, вспугнув воробьев, и, сердито посмотрев на менялу, Руслана и инструмент, охотно согласилась:

— Ага, только гитары мне и не хватало.

Руслан снова потянул гитару к себе:

— Футляр и то больше стоит.

Меняла цепко держал ее.

— Тлисапать.

Гороподобный мужик в тулупе, хозяин свиной головы, повернулся. С шуршанием с кожаного треуха лавиной обрушился снег. Перепуганная синица улетела прочь. Взял мужик гитару и положил рядом со свиной головой на прилавок.

— Пятьдесят, — сказал он мрачно.

— Я покупал за триста, — попытался возразить Руслан.

— Пятьдесят пять и голова в придачу.

Руслан посмотрел на довольную рожу свиньи, вздохнул и махнул рукой. Торговаться времени не было. Поди, печь уже прогорела.

— У человека без инструмента остается только шляпа, — с высокомерной горечью прокомментировал сделку киллер-музыкант, пробуя ногтем лезвие.

Пришел Грач. Принес мороженных окуней. Посмотрел на Козлова, удивился и сказал с осуждением:

— Э, да Бивень никак за асфальт собрался. Зря мы на печь затратились.

Посвистел задумчиво.

— Не свисти, — призвал его к порядку поднаторевший в народных приметах Руслан, — кого-нибудь из дома высвистишь.

— Слушай больше старух. Чем быстрее передохнем, тем больше пользы родине, — отмахнулся Грач, однако свистеть перестал. — Надо за Мэлсом идти.

В маленьком худеньком, ласково улыбающемся человеке Руслан узнал попутчика, изучавшего в дороге английский язык. Человек поздоровался, снял шубейку и малахай, извлек из карманов бумажные кульки и разложил их на столе. Причесался обломком женской гребенки. Свитер с разноцветными латками на локтях. Седые волосы по плечи. Юноша-старик. Нечто среднее между Эйнштейном и индейским вождем. Посмотрел издали на Козлова и спросил:

— Чайник есть? Поставь воду на огонь.

— Вы врач? — осторожно поинтересовался Руслан.

— Всякое образование на девяносто процентов самообразование. Я геодезист, — ответил маленький человек и улыбнулся. — Давно куришь? Почему не бросишь? Силы воли нет? Э, зачем так говоришь? Минуту не курить можешь? Значит, бросишь. Я молодой был — тоже много курил. Две пачки в день. Пять раз бросал.

— И всякий раз удачно, — поддержал его Грач.

— Первый раз бросил обманом. Организм обманул, — пояснил народный целитель, высыпая в чайник сушеные травы, отчего запахи леса и поля смешались в

чудный коктейль с миазмами пеликана Петьки, — стал много селедки есть. Жажда появилась. Пить хочу, курить — нет. Три месяца организм обманывал. На селедку смотреть не мог. Врачи сказали — вредно так бросать, диабет мог заработать. Однако год после этого не курил. На сенокос поехали. Сидим вечером у костра, а дед Симонов из районной газеты вот такую самокрутку свернул. От уголька прикурил да как пыхнет в мою сторону. Самосад! Да и по рюмочке пропустили. Вот я и попросил: «Деда, скрути и мне». Как не бросал. И недели не прошло, а мне опять две пачки на день мало. У других легкие от никотина быстро очищаются, а у меня сразу сажей, как печная труба, забиваются. Плохо мне. Дышать не могу. Голова болит. Бросать надо.

— И побежал за селедкой, — предвосхитил события Грач.

— Э, нет, — поднял палец вверх Мухамеджанов, — организм дурак, но второй раз его не обманешь. Я воду применил.

— Какую воду?

— Обыкновенную. Но очень холодную. Специально отпуск зимой взял. Захотелось курить — выбегаю голым на мороз и обливаюсь из ведра.

— Бр-р-р-р! — зарычал Грач и головой замотал.

— Вот организм и думает: ага, захочу курить, он меня снова обольет. Лучше с ним не связываться. За месяц желание пропало. Два года не курил. Потом старого друга встретил. Пошли на речку. Банка пива в родничке. Жара. Пиво холодное пьем, детство вспоминаем. Хорошо! А он закуривает «Казбек», да как пыхнет...

— Понятно, — сказал мечтательно Грач и полез за сигаретой.

— Третий раз — самый приятный был. По реке на плотках плыли. Было нас восемь человек, и только двое — я да Колодник — курили. Отплываем. Колодник распечатал пачку «Стюардессы», вытащил сигарету, прикурил. Остальное в воду бросил: все, говорит, последняя. Я — в карман. Достāju мятую пачку «Шипки». Смотрю — а в ней одна сигаретка. Да и то наполовину выкрошена. Тоже закуриваю, а пустую пачку в реку бросаю. И что ты думаешь? Колодник в тот же год закурил, а я пять лет держался. Была у нас в геодезической партии такая роскошная женщина. Мира Лапшина. Человек-праздник. Весь коллектив споила. А курила как красиво! Пальчик отставит, на фильтре — след от губной помады. Сидим после работы в «Волне», отдыхаем, и тут она в мою сторону тоненькой струйкой подула...

Крепившийся до этой струйки Руслан заволновался, сунул в рот сигарету и полез в печку добывать уголек.

Вздохнул Мухамеджанов: трудно проповедовать в вертепе, но продолжил битву с никотиновой зависимостью.

— А потом уже навсегда бросил. На одной психологии. Такой метод, хоть клинику открывай. Надо представить, что ты ДОЛЖЕН сделать то, чего тебе делать не хочется. Вроде того, что руку себе отрезать. Или, допустим, есть у тебя такой человек, с которым ты на одном поле не сядешь, а ты ДОЛЖЕН съесть его дерьмо.

— Тьфу на тебя и на твою методу! — сморщился Грач, поплевал на окурки и бросил его в печурку.

— Ага! Не нравится! — обрадовался Мухамеджанов. — А ты ДОЛЖЕН. Но можешь и не есть. Если курить не будешь. И так приятно бросать курить, просто удовольствие.

— Болтай, болтай, мы сказки любим, — поощрил его Грач и, скривив циничную гримасу, стрельнул сигарету у Руслана.

— Есть у меня одна задумка, — отмахиваясь от дыма, задушевно сказал искоренитель зла, — лечебная водка и лечебные сигареты. Никаких уколов, никаких таблеток. Человек как пил, так и пьет, как курил, так и курит и неожиданно для себя бросает курить и пить. А? Есть у меня на примете одна травка...

Грач оторопел от такого коварства и поперхнулся.

— Ты еще не запатентовал идею? — спросил он, откашлявшись. — Смотри, Шумный с Акопяном узнают — киллера подошлют. Алкаши-испытатели не нужны? Я согласен во имя науки водку на халяву попить. Жертвую собой ради человечества.

— Вот сколько тебе лет, Грач? — со скорбным участием посмотрел на него народный целитель.

— Да уж скоро полтинник, — с печальной гордостью ответил тот.

— Пацан еще, а по лицу не меньше семидесяти.

— Жизнь тяжелая была.

— Жизнь здесь ни при чем. Доктор Айболит что пел: это даже хорошо, что нам очень плохо.

— Дурак твой доктор Айболит.

— Не скажи! — в глазах лекаря засветились веселые искорки вдохновения. — Плохая жизнь очень даже полезна для здоровья! Голодом и холодом лечатся. Человек изнеженный умрет, а нас хоть дустом травы — выживем. Не от тяжелой жизни стареют. Человек сам себя губит. Меньше надо водку кушать и табак курить, а не на тяжелую жизнь жаловаться. И по пустякам не расстраиваться.

— Страну развалили — пустяки? — угрюмо вскипел Грач.

— Катастрофа, конечно. Но сравнить со взрывом солнца — не такая большая, — стоял на своем народный целитель. — Да и взрыв звезды — пустяк по сравнению со столкновением галактик.

Мысль была странная, вздорная и обидная. Но спорить сраженный глобальностью мышления оппонента Грач не стал. Лишь хмуро посмотрел на улыбающегося в ожидании конторщиков веселого старичка и пробормотал внушительно, но непонятно:

— Так-то оно так, но опять же... Обидно. Всю жизнь ты, допустим, корячился, а какой-то раздолбай за твой счет живет.

— Не надо завидовать. Зачем убивать себя завистью? Лучше радоваться за других, чем завидовать. За себя когда порадуешься? А если за других чаще радоваться, больше здоровья будет. Надо радоваться. Даже за тех, кто тебя обворовал. Хоть какая-то польза. Надо чужое счастье как свое переживать. Человек одну секунду живет. И как только умудряется за эту секунду стать несчастным?

Напоил Мухамеджанов Козлова отваром и стал одеваться.

— Забавный старичок, — сказал, проводив его, Руслан.

— У, еще какой забавный! — поддакнул Грач. — Сам себя от рака вылечил. Врачи на него рукой махнули, отправили домой умирать, а он умирать не захотел. Каждый год по месяцу ничего не ест, только воду из родника пьет. По утрам холодной водой на снегу обливается. По лесам, как олень, бегают, травы, коренья собирает. Синюю глину нашел. Глину ест. Мыло не признает. Песком обтирается. Квадратные помидоры выращивает. Зачем ему квадратные помидоры?

Дом Мэлса Мухамеджанова стоял в тупичке у самой рощи, между школой и мрачными развалинами общественной бани, погребенной под горами шлака. Типовой особнячок, слегка реконструированный хозяином. Материалы, пошедшие на ремонт, говорили о невеликом недостатке. В основном это были бортовые доски со старых кузовов. Но при этом жилище и двор составляли гармонию. Дом был функционально красив. Соразмерен. В продуманной простоте и прочности строений проглядывался японский стиль. Палисадник — кусочек северного леса. Руслан узнал калину, боярышник и шиповник. Остальные деревья и кустарники, видимо, также относились к разряду лечебных растений. Крышей хозяйственных пристроек служила теплица. Вдоль стен выложены поленицы дров. Стожок сена под снегом, словно облит сметаной. Все, что видел Руслан, можно было назвать нищетой. Но нищета эта была чиста, опрятна, аккуратно залатана, и оттого ее уже нельзя было назвать нищетой. Скорее, благородным аскетизмом.

Невероятных размеров пес, дремавший в клетке, достойной льва, встал на ноги. Долгое, нарастающее рычание завершилось троекратным, оглушительным лаем. Лай перешел в рычание. Просто Шаляпин среди собак.

— Проходи, не бойся, — донеслось с веранды.

Пес встал на задние лапы, потрясши передними сетку-рабицу.

Веранда представляла собой столярную мастерскую. Вкусно пахло морозцем и стружкой.

— Да вот табурет старуха заказала, — объяснил Мухамеджанов.

Руслан поднял тонкую и длинную, как лента, стружку и посмотрел на свет. Хоть в окна вставлял. Взял с верстака ножку, полюбовался узором. Гладкость дерева

приятно поразила его. Словно дотронулся до женской руки. Пазы были выдолблены с точностью, допустимой для космических аппаратов.

— Вы этот табурет прямо как скрипку делаете.

— Люблю построгать, — сознался, словно оправдываясь, Мухамеджанов. — Знаешь самое лучшее лекарство? Радость. Лучшего лечения нет. Только радость чистой должна быть. Другой выпьет и радуется. А это дурная, грязная радость. Один вред от нее. Чистая радость — что-то сделать своими руками. В лесу ягоды собирать — радость. Хорошее дело для хорошего человека сделать — большая радость. Эту радость, как жир, надо в себе копить. Плохие времена без радости не пережить.

Внутренность дома была заполнена тоскливой пустотой. Кроме гнетущей тишины и самых необходимых предметов, в комнатах ничего не было. Даже занавесок на окнах. Старушка в халате и шали странно посмотрела на Руслана и не ответила на приветствие.

В темном углу на деревянном диване лежал густо обросший черной бородой человек. Цвет его лица и то, как он лежал, испугали Руслана. Неподвижно, расслабленно, уставившись отрешенным взглядом в потолок. Руслану показалось, что это покойник, но на всякий случай он поздоровался и с ним. Человек не ответил.

— Проходи в мой кабинет, — пригласил Мухамеджанов, открывая застекленную дверь, и Руслан попал в другой мир.

Стены маленькой комнаты, исключая дверной и оконный проемы, сплошь до потолка заставлены книгами, кореньями, банками, мешочками. Посредине — круглый стол без скатерти, на котором лежат две стопки ученических тетрадей. Одна чистая, другая исписанная. Между ними — раскрытая, наполовину заполненная крупными старческими каракулями. Березовый чурбак вместо стула. У окна, под лимонным деревом — топчан. Запахи леса и библиотеки. Из окна, занавешенного золотыми тропическими плодами, виден сугроб, осыпанный пеплом, и изнанка глухого забора.

— Кто это? — шепотом спросил Руслан.

— Сын, — громко ответил хозяин.

— Заболел?

— Нет. Просто лежит. Пятый год уже лежит. Программистом в РИВСе работал. Организацию закрыли. Невеста уехала. Пришел — лег. День лежит, другой лежит. Хватит лежать! Устал, говорит. Думали: полежит, пройдет. Нет, не встает. Чем больше ничего не делал, тем больше уставал. Я с ним разговаривал, старуха на него кричала — лежит, молчит, смотрит в потолок. Бриться перестал, зубы чистить перестал. Мыться перестал. Кроме хлеба и воды ничего не ест. Раз в неделю в туалет идет, штаны рукой держит. Резинка пять лет назад лопнула. Тапочки не надевает, сапоги не надевает. В грязь, в снег — босиком. А потом ложится с грязными ногами и смотрит в потолок.

— Понятно — депрессия. Лечить не пробовали?

— Если человек не хочет вылечиться, никто его не вылечит, — вздохнул народный целитель и пожаловался: — Одни лентяи в семье. Прямо сонное царство.

— А сколько ему лет?

— Тридцать три.

Руслан смотрел через стеклянную дверь на бородача, достигшего возраста Христа, гадая о смысле великого лежания, пятилетнего изучения трещинок на потолке.

— По чайной ложке на стакан кипяченой воды три раза в день, — протянул ему баночку Мухамеджанов. — Ты тоже пей. Бледный очень. Не помешает. Курить бросай.

Неприлично заглядывать в чужие рукописи, но Руслан не удержался:

— Мемуары?

Лицо старика осветилось озорной иронией.

— Гении не должны оставлять мемуаров. Их жизнь должна оставаться тайной, как у Гомера и Шекспира. У великих нет биографий, только дела. Полезную книгу хочу написать, — целитель перестал улыбаться и, тяжело вздохнув, разъяснил: — Какие

человек за свою жизнь ошибки делает, по годам — с рождения до смерти. Неправильно живем, много ошибок делаем, а потом детям как мудрость передаем. Много у человечества заблуждений накопилось.

Руслан почесал нос, пытаясь скрыть улыбку. Его развеселила забавная затея неукротимого старика из захолустья исправить пороки всего человечества.

— Книгу сейчас трудно издать, — сказал он, — разве только за свой счет.

— Сейчас не нужна, потом пригодится, — ответил Мухамеджанов с грустным оптимизмом, — хорошее дело не пропадает. Тяжело идет. Мысли есть, а дара слова нет, — и неожиданно рассердился: — Неужели так трудно правильно спать, правильно есть, правильно ходить, правильно одеваться, правильно говорить, работать без спешки, с удовольствием? Не умеем работать. Через силу работаем, по нужде. Надрываемся, сами себя камчой подстегиваем, загоняем. А кто совсем работать не любит, в начальники выбивается. Чтобы мешать тем, кто умеет работать.

Они вышли на крыльцо. В тесном дворике, как арестант на прогулке, ходила по кругу красная корова. Старушка стояла в центре и, вращаясь вокруг собственной оси, направляла ее хвостом. Хозяин цыкнул на пса. Тот с недоумением посмотрел на него и лег. Но рычать не перестал. Утробные звуки сотрясали волкодава-чревоушателя, словно на холостых оборотах работал трактор.

Руслан попрощался, но у калитки остановился.

— Знаете, — сказал он, — я, кажется, придумал, как его растормошить. Я сейчас.

Вернулся Руслан через полчаса.

— Наклейте это на потолок над его головой.

Мухамеджанов развернул скрученную в трубочку иллюстрацию из старого «Огонька» и долго смотрел на Мону Лизу. Она его пересмотрела. Насмешливо проницательный взгляд ее говорил: мы не знакомы, но я знаю о тебе все.

— Я что-то гитары не вижу, — сказал Козлов.

— Гитара? Зачем нужна гитара без электричества? — Руслан махнул рукой. Жест был полон разочарования, досады и пренебрежения. Ему не хотелось продолжать этот разговор. Гулко и резко звучали слова в бетонной пустоте квартиры, лишенной бытовых шумов и ненужных, но уютных пустяков, поглощающих звуки: покрывал, штор и цветов на окнах.

— Никто из стариков не заходил, пока я валялся? Это хорошо.

— Почему тебя зовут Бивнем? — спросил Руслан.

С подозрением покосился Козлов на Руслана и сказал с неудовольствием:

— Спроси у тех, кто зовет. Наверное, Яшка Грач насвистел? Баламут.

— Ну, извини.

— Да чего там. Зовут и зовут. Какая разница? Хотя, — задумался он, — имя — это как аванс, а прозвище — получка. Прозвище за особые заслуги перед человечеством дается. За выполненный объем работы. — Он ощерился и показал пальцем дыру, чернеющую на месте клыка. — Дело давнее. Случилась командировка в область, и зашел я как-то в ресторан. С дамой. Полез в карман рассчитывать — кошелек нет. И занять не у кого — ни одного знакомого. Отвел в сторонку официанта, спрашиваю: «Золотом возьмешь?» Расшатал зуб и вырвал с коронкой.

— Чем же ты его вырвал? — не поверил Руслан.

Козлов продемонстрировал руки, на одной из которых отсутствовал мизинец.

Руслан внимательно осмотрел пальцы с желтыми от никотина ногтями.

— И вот что интересно, — не первый раз удивился старому обстоятельству Козлов, — никого из земляков в ресторане не было, а стоило вернуться домой, все уже знали: Козлов золотым бивнем в ресторане расплатился.

— Ну, один-то земляк был, — возразил Руслан.

— Пойдем к отшельнику, — сказал Козлов, забрасывая за плечи рюкзак, — далеко, конечно, но таких окуней ты в жизни не видел.

— Кто такой отшельник?

— Враг человечества. Живет один на Ильинском острове. Рядом со старым кладбищем. Питается рыбой и никого на ружейный выстрел не подпускает.

— А нас подпустит?

— А зачем он нам нужен? Мы не в гости к нему пойдем. Мы на клевое место пойдем. Там под водой озерко есть секретное, затопленное. Глубина, конечно, коряги. Но горбач в самой чаще и обитает.

Мартовская ночь, морозная и в то же время влажная, лежала над морем. Хруст снега летел к звездам и, отразившись от хрустального свода, возвращался назад. В лунном свете ровными швейными строчками темнели на снегу свежие следы лисички, дозором обходящей лунки в поисках забытых рыбешек.

— Красиво, — поделился впечатлением Руслан.

— Красиво, — охотно согласился Козлов, — и чем темнее ночь, тем красивее.

— А что этот отшельник, откуда он?

— Местный мужик, ильинский. Когда деревню утопили, как котенка в луже, в Городецкий переехал. Вместе с домом. Комбайнером работал. Героя получил. То ли больше всех хлеба намолотил, то ли новый метод придумал, не помню. А когда все посыпалось, у него тоже жизнь и так, и сяк, и наперекосяк пошла. Дом сгорел. Не знаю, что уж там еще случилось, только тараканы в башке завелись. С Богом разговаривает. Давно с головой в разводе живет. Вырыл землянку на Ильинском острове, рядом со старым кладбищем, отгородился от всего человечества и бедует один.

— Чем отгородился?

— Плетнем. Говорят, золотой колокол нашел, вот его и заклинило.

— Колокол?

— Да так, местная легенда.

Добрались затемно. Пришлось подождать, пока можно было определить тайные ориентиры на берегу и острове, в перекрестии которых обнаруживалось невидимое озеро. Козлов пробурил сразу несколько лунок, чтобы подобраться к окуню методом минометного обстрела.

— Истончал лед, — поделился он наблюдением и предупредил: — Ближе к берегу полынья скоро откроется.

Руслан ни разу не был на зимней рыбалке.

— Наука невелика, — успокоил его отец, — насаживаешь на мормышку бормаша и опускаешь в лунку, опускаешь, пока леска не ослабнет. Чуть-чуть над дном приподнимаешь и ждешь, когда кивок клацнет. Можно немножко подразнить, подергать. Он — хищник, на движение реагирует.

— Интересно, куда на зиму червяки деваются? — задумался Руслан, с омерзением нанизывая на крючок бокоплава, похожего на мокрицу.

— На юг уползают, — авторитетно соврал старший Козлов.

Равнодушный, дремал Руслан над лункой, в которой слегка пульсировала, дышала темная вода, пока не почувствовал сопротивление лески. Где-то там, подо льдом, в холодной и темной глубине на тонкой паутине повисла живая тяжесть и пробудила в нем древние инстинкты.

— Пореже руками размахивай, — предупредил его Козлов, — и так торчим, как две трубы над баней. Сейчас налетят, как мухи. Да и пузырь у окуня изо рта вылезет. Глубина здесь большая.

Жутковатое существо глубин, сделанное из ночной тьмы и тумана, извивалось у ног короткой жирной змеей. У существа был лягушачий рот и отсутствовала чешуя.

— Ты смотри, налим, — удивился Козлов.

Руслан, издав вопль дикаря, исполнил танец удачливого охотника.

— Потихе, потихе, не мельтеши, — охладил его пыл Козлов и огляделся в тревоге. — Налетят сейчас, налетят. Хоть маскхалаты надевай. Подсек и стал перебирать леску руками, как сурок, который чешет себе живот. За сотню метров не разберешь, что он делает и делает ли что вообще. Темно-зеленый окунь, широко раскрывая рот, запрыгал, как на сковородке, обвалившись в снег, словно в муке.

— Да кому здесь налетать? Нет никого, — беспечно ответил Руслан.

— От жадных глаз не спрятаться. Они всегда за тобой подглядывают.

Люди, которые плохо думают о других, чаще всего, увы, оказываются правы.

Клев был невероятный. Лунки обрамляли круги из живой зелени. Руслан размахивал руками, как дирижер симфонического оркестра. Но со стороны Степноморска на приличной скорости к ним уже мчалась «Нива». В бинокль они, что ли, из окопа наблюдали? Козлов вскочил на ноги и стал энергично отмахивать руками: влево, влево, козел, сворачивай. Но «Нива» ему не верила и мчалась по прямой. Вылетела на чистый лед и закружилась в вальсе: увидела беду, да поздно. Лопнул под ней темный лед, как оконное стекло под кирпичом, и ушла она под воду. Глупо, страшно и красиво. Носом вверх. А несколько секунд спустя полынья вздулась пузырем воздуха. И тут впервые Руслан узнал о таланте своего предка. Мир содрогнулся от раскатов вдохновенного мата.

— Всплыло! Там что-то всплыло! — перебил он извержение нехороших слов.

То, что всплыло, шевелилось. И очень даже активно.

Козловы наперегонки рванули к полынье.

Под синью мартовского неба, в ослепительном сиянье последнего снега, в темной, как космос, воде барахтался Енко, один из самых фартовых людей Степноморска. Удачливые, они всегда всплывают.

Руслан лег на тонкий, с живыми пузырями воздуха лед, зеленоватый, как стекло шампанского, и пополз навстречу судьбе. Он полз бы еще быстрее, если бы догнавший его Козлов не вцепился, матерясь, в его ногу.

— Ну и глубина, — поделился, отфыркиваясь, впечатлением Енко, — чуть у самого пузыря изо рта не выскочил.

Судя по квадратным глазам, был он изрядно напуган, но держал себя в руках и даже пытался руководить собственным спасением.

— Не торопись, Ович, сбегай за буром. Надо его в крепкий лед вернуть для подстраховки, а то я вас за собой утащу.

Сине-красный намокший пуховик пузырился, капюшон налезал на глаза. Опираясь на локти, не теряя времени, он ломал хрупкий лед, чертыхаясь и отплевываясь. Крепкий северный мужик с завидным самообладанием.

— Тебя только за водкой посылать, — поругал он Козлова.

— Ишь, развыступался, — удивился наглости утопленника запыхавшийся Козлов, вворачивая бур в лед. — Будешь выступать, до мая купаться останешься.

Он накинул на торчащий из снега бур лямку рюкзака, в другую лямку просунул носок валенка. Скинул с себя полушубок и передал Руслану:

— Бросишь этому тюленю — пусть за рукав цепляется, а я тебя подержу.

План был просто замечательным, если бы пимы на ногах Руслана не были столь просторными. Как только Енко потянул к себе шубу, пытаясь взгромоздиться на лед, Руслан был выдернут из валенок и, секунду спустя, плескался в ледяной купели.

— Спасатели, мать вашу! — разволновался Енко. — Замучаешься вас спасать.

Он помог Руслану выкарабкаться на лед, и, поскольку после этой суеты был взломан значительный участок, длины двух Козловых вполне хватило для спасательных работ. Держась за голые красные ноги Руслана, Енко был втянут на лед, как загарпуненный кашалот на борт китобоя.

— Прыгай в пимы и бегом к Отшельнику, — Козлов махнул рукой в сторону острова, — а я свою шубу соболиную попробую спасти.

Енко грузной рысцой припустил к острову. Вода стекала с него, как с половой тряпки. Унты чавкали.

— Со стороны моря заходи, — крикнул вслед Козлов, — увидишь прорубь — выйдешь по тропе к хижине, — и поторопил Руслана, пытаясь ледобуром зацепить плавающий в темной воде овчинный полушубок: — Беги, пока в сосульку не превратился.

Руслан сунул онемевшие ноги в пимы. Они наполнились влагой. Через несколько шагов он почувствовал свежие мозоли. Мерзкий, промозглый холод стягивал кожу, закручивая ее на затылке.

(Продолжение следует)

¹ Грунтовая дорога, построенная при помощи грейдера (*разг.*).

Темур Варки

Странное место для жизни — Москва

Песенка таджикского дворника

Слава белому снегу Аллаха, о Рахматулло!
Вьюга махом мартвейн выпивахом, чудит помелом.

Я ж не пью укоризны, смакую мускатный восторг.
Я не годы, а жизнь за такую отдал. Повезло.

Разве пьяные слезы по дому не лил я рекой?
Не кричал ли я в трубку глухому, как море: Алло?!

Горы я променял на метели, а дом на судьбу
В коммуналках, подвалах, борделях, трущобах на слом.

На Радищевском спуске от снежного плена Москву
Защищал я с лопатой безденежной. Помню, спасло.

Белый снег — оберег мой, спаситель таджикских вершин.
Бог разлил нишолло¹ и рассыпал набот² над столом.

Слезы радости лью, пусть на горы сойдет снегопад,
Зим бесснежье в горах — это черное, тяжкое зло.

Сыр-Дарья и Аму в Ариане Ваздже³ родной
Увлекают за сто расстояний Симурга крылом⁴.

А на днях из окошка в Москве полетело дитя.
В танец бабочек и снеговоя дитя увлекло.

Полетела девчоночка с пятого аж этажа,
Но насыпал сугробы лопатой Рахматулло⁵.

Слезы радости лью, пусть на город сойдет снегопад.
Слава белому снегу Аллаха, о Рахматулло!

Варки Темур (Темур Аминович Клычев) — поэт, филолог, журналист. Родился в 1962 г. в Душанбе. Окончил факультет русского языка и литературы Таджикского ун-та. Как поэт печатался в журнале «Памир». Работал в Институте языка и литературы им. Рудаки АН ТаджССР, стажировался в Институте русского языка им. Пушкина АН СССР в Москве. В начале гражданской войны в Таджикистане в 1992 г. уехал в Москву, где работал и дворником, и строителем. В настоящее время — радиожурналист. Живет в Подмосковье.

¹ нишолло — белая патока, праздничное угощение.

² набот — прозрачный кусковой сахар, похожий на лед.

³ Ариана Вазджа — древняя страна ариев в междуречье Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи.

⁴ Симург — птица Гамаюн в персидско-таджикской мифологии.

⁵ Рахматулло (араб.) — «благодарность Аллаха», имя таджикского дворника в Москве.

Странное место для жизни — Москва...

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож!»

М.Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Стертые четки ступеней твоих, твоих.
Шепот смиренный, без ропота. Тронут все
Путь наш по кругу невыученных молитв.
Палец запретное солнце у губ рисует.

Рябью взойдет по стеклу и уснет метро.
Дрожью последний состав пробежит по венам.
Я не вернусь в одиночество тех миров.
Сердце мое там кровило о сокровенном.

Странное место для жизни — Москва, Москва...
Бисер хрустит под ногами. Но Бог не выдаст.
Мне без тебя этот город великоват.
Может быть, все же так нужно, когда на вырост?

Для понимания тебя я уже подрос,
Фруктом циничным сижу я в чаду трактирном,
Порченный тем же вопросом. И мой вопрос
Мне неприятен чахоточностью квартирной.

Ты по Садовому будешь одна идти.
Там в переулке, как молния, финский ножик.
Страшно, родная. И страх этот мне претит,
Только бы не разминуться. О Боже, Боже!

Городской муравейник

В муравейник московский, кишаший сабвей
Ежедневно спускаюсь я, черный мураш.
И задержкам в пути только коже своей
Я обязан. Налог на типаж.

Я везде опоздаю. Карманы пусты.
Ты уже над тетрадями будешь дремать.
Что поделаешь, если в подземке менты
Ценят нашего брата и мать?!

В этом скрежете, грохоте адовом, жуть,
В толчее, мельтешении сонмища нас
Я себя на обратном пути нахожу
Лишь по цвету зеленому глаз.

Мой переход

Не говори, что он пустой, мой переход.
Что он поет, как сухостой, мой переход.
Что это выстрел холостой — мой переход.
Что пахнет каторжной верстой мой переход.

Пусть там бомжи и дворник делят вторцветмет,
И черносотенные ищет нищий мент...
Пусть там с баулами несется на вокзал
Транзитный люд. Не так он лют, как ты сказал.

Гремя колясками, несется на вокзал,
Как будто кто-то мудрый выход подсказал.

Там локтем в бок получишь походя, в ребро,
Как штамп на входе и на выходе, в метро.
Там добр народ, из сумки вырежут добро.
В ходу перо, — он расписной, мой переход.

Там вспомнишь сам или тебе напомнят мать.
Там неприлично ротозейничать, хромать.
В стекляшках Гуччи там нема, Версаччи е.
Там встретишь друга ты случайно в толчее.

Тебе там Клинского предложат на троих,
А также скажут, что пора на тарових. *
Ножи скинхеды там ощеренно несут.
Там рыщут волки и шакалы, как в лесу.

Там с музыкантами тусуется народ
И в тупике поет про новый поворот.
Не говори, что он пустой, мой переход.
Что пахнет каторжной верстой мой переход.

Там генофонд страны, и гений — стар и млад.
Там диогеново обоссанные спят
И мудрецы мои, и ангелы мои.
Уж эти знают все тропиночки в Аид.

Они по лестнице кочуют вверх и вниз,
Повелевая: эй, Темур, посторонись!
Они не очень-то и жалуют меня,
Сипя небрежно: эй, Темур, не заслоняй! —

За упокой по горкам скачущей страны,
Чадя обрубками неведомой войны.
Не говори, что это сброд и сплошь отстой.
Не говори про переход, что он пустой.

Здесь есть у каждого легенда и рассказ. —
Мой переход здесь через Альпы и Кавказ.

Когда я этот переходик перейду,
Не знаю, где я окажусь, в каком году,

В каком краю, в которой света стороне,
На свете этом ли и в этой ли стране?

Не господин и не камрад, сквозь ада смрад...
Быть может, там его я помнить буду рад...
Что здесь узнал и потерял тебя в толпе
И что остаться и отвыкнуть не успел...

Но если вздумал кто-то сжечь мой переход,
Чтоб ярость жгла, разлила речь мой переход, —
Пусть помнит он, что будет течь мой переход,
И не минует судных встреч мой переход.

Не говори, что он пустой, мой переход.
Что он горит, как сухостой, мой переход.
Что пахнет каторжной верстой мой переход.
Что это выстрел холостой — мой переход.

Где-то в предгорьях

Где-то в предгорьях
на тридцать восьмой параллели
дождь и туман.

Хмурятся брови
хребтов. В середине апреля
дым по домам

Стелется низко.
И в воздухе горном цепляясь
за бахрому,

Куст тамариска
Приснится, покажется — аист,
мне одному.

Где-то в предгорьях
на тридцать восьмой параллели
старая мать

слушает море
бессонного сердца в постели,
чтоб задремать.

В зябкости крапа
чадят кизяками постройки,
преет навоз.

Родины запах
въедается в кожу, поскольку
горек до слез.

Алексей Торк

Участковый Рустам

Рассказ

Я почти что любил Симаеву, женщины — удобный повод любить. И до сих пор люблю танки, лязги, красные, зеленые цвета, запахи горячей пыли; люблю той частью мозга, которая отвечает за озноб и разговоры во сне. Она сбежала в октябре с саратовским контрактником. Я не обижался: меня не любили многие, а она — менее других. Нарезая помидоры, я говорил участковому, что она, типа, нормальная девка, только пятое-десятое... Он внимательно слушал. Но вначале было так: ее вывезли в штабной машине через месяц примерно, после того, как нам прислали этого человека. В идиотской для тех лет должности. По слухам, он воевал в отряде Сухроба, распущенном из-за огромных потерь. Мы рассчитывали, что это в прошлом. Война завершалась. Участковый-убийца был бы чрезмерным абсурдом. Он оказался сдержанным парнем. Когда индейцы¹ прикладами выбивали кошельки из торговцев, распластанных в помидорных потеках, он спокойно поливался водкой. Тут же, в тени строительного вагончика. Дальше проходит автотрасса. Параллельно струится православное кладбище. Километром ниже трасса обрывается крутым поворотом на Шох. Некогда вагончик, тогда еще песочного цвета, использовался дарьинцами-исламистами, которые стояли здесь блокпостом и от безделья перекрасили его в зеленый цвет. Вырезавшие и сменившие их просоветские шохцы изменили его на красный. Правда, только до уровня окон, так как допускали все же существование Бога. Здесь, на блокпосту, этот человек и остановился. Я думаю, что, когда его с термосом и автоматом сбросили с машины, он просто двинулся к ближайшему от дороги плевать какому жилью. Его должны были убить у нас и не убили. Для меня это первая загадка нашей гражданской войны.

Умывшись по пробуждении водкой, он нырял в промежуток между домом Чарли Бешеного и овощной лавкой Гунны, пересекал поселок, выходил к школьному забору, к которому прислонили в начале лета простреленного Гунну и по всему периметру которого разъяснено все о сексе. Возвращался уже в темноте. С блокпоста его звали ужинать. Дожидаясь на корточках полной ночи, я смотрел, как молодой солдат-шодец лил ему водку на руки. Я докуривал, шел к Симаевой. Мы запирали дверь в ее комнату и переходили границы. Ее отец торчал сутками на кухне у окна, боясь пропустить что-то, подлинно угрожающее его дочери. Если работали пулеметы, пригибался к батарее. Я уходил в три-четыре утра. Участковый дремал у костра, вздрагивая челюстью. Он редко ночевал в вагончике. С августа костер часто заливало дождем, но во сне с крестьянской цепкостью он продолжал греться от него: его ладони подставляли пенящимся головням то внешнюю, то внутреннюю сторону. Осенью под давлением исламистов — они воевали в нашей округе в составе отрядов дарьинца Гебилса, известного своей обостренной жестокостью, за которую, то есть за «храбрость», он

Алексей Торк (Алишер Ниязов) родился (1970) в Таджикистане. Работал в таджикских СМИ. С 1996 по 1999 год был корреспондентом ИТАР—ТАСС в Киргизии. Потом корреспондентом агентства РИА Новости в Киргизии и Казахстане. Освещал военные конфликты в Таджикистане и на юге Киргизии. Лауреат первой премии по разделу малой прозы Русской премии—2010 за произведения, опубликованные в «Дружбе народов».

¹ Индейцы — не подконтрольные никому вооруженные формирования, чаще всего бандитского характера.

получил именного «стечкина» от полковника Вахита, командовавшего местным фронтом (умевшимся между цемзаводом и его свалкой) и накануне расстрелянного вместе с дочерью и окружением, — шохцы начали пост за постом отползать с окраин. По шоссе зачастили грузовики. Они уходили к центру города. Один из последних принял наших солдат. Покуривая на короточках, я смотрел, как они швыряли в кузов свои узлы, многие из которых с матом вылетали обратно. Потом грузовик выключил фары и рванул через арык, оставив «пьяную деревню» подсвеченной лишь моей сигаретой и костром участкового. Я швырнул бычок и ушел к Симаевой. Участковый дремал как обычно. Когда с трех сторон в поселок вошли исламисты, он спал в обнимку с костром, вздрагивая челюстью.

— Рахмон вошел, — сказал в три утра ее отец.

Я зашнуровывал ботинок.

— Этот остался у вагончика, — сказал ее отец, наблюдая улицу.

К рассвету люди Рахмона заняли центр поселка и здание школы — с ее крыши открывается хороший обзор. Но по-настоящему дело было в сентиментальности и упрямстве Гебилса — качествах, присущих всем дарынцам. Он учился в нашей школе и захватывал ее в «пьяной деревне» в первую очередь подобно тому, как другие дарынские полевые командиры давали себе прозвища из пронзительных индийских и всяких других фильмов, такие как Джага или Дженэр, плюя с гармским упрямством на то, что Джейн Эйр не была мужчиной, а Геббельс — порядочным человеком. Маленького обезьяноподобного Гебилса трогало, что его, морщинистого и темного, как грецкий орех, дарынца, назначили в третьем классе на роль большого немца в школьном спектакле «По Берлину едут, едут...». Режиссером был наш завуч Володя Немировский (прозвище — Немировский-Данченко), который помимо школьного театра изобрел нам сотни других способов забить на учебу.

— Еще одних, Леха... — говорил ее отец, принимая к окну. — У оврага... Теперь у холмов. Еще... Или это те же самые?

К утру в поселке и его окрестностях расстреляли больше семидесяти человек. В основном панический молодняк. Шохцы повсеместно откатывались от гор, пытались уйти в город обходными путями. Рахмоновские патрули ловили их ночью у оврага и меж восточных холмов, многих стрелял лично Гебилс. Распаренный, как в бане, он отводил их к чинарам и там, в неразборчивых зарослях, орал вслед за своим «стечкиным»: «Та-та-та», поминая историю с полковником Вахитом и его дочкой. Сухробовский боец столкнул ее в расстрельную яму у цемзавода, когда с разрешения командира Сухроба, сонного от утомления, она прощалась с отцом. Пробравшись через оцепление, она стояла на коленях и, вытянувшись в струну, тянула руку в яму. Полоскала ею там, всхлипывая. В суতোлке тел и голов ее пальцы скользили по полковнику, как по намыленному, почти на животе она подползала все ближе и, сброшенная позади стоявшим бойцом, свалилась в яму точно на отца: вначале напуганным лицом, а затем шестнадцатилетней грудью. Из ямы мощно заорали: «Подождите, подождите», но отправивший ее туда шохский боец уже сделал торопливую сигнальную отмашку...

Вечером Гебилс исподлобья разглядывал шохского участкового. Я неподалеку курил на короточках, выдувая в ладони. К красно-зеленому вагончику один за другим подтягивались его бойцы. Дарынцы грузно показывались из тесного прохода между домом Чарли Бешеного и овощной лавкой — в горах они хорошо отъелись. Вставляли у костра. Складывали руки на автоматы. Тоже исподлобья разглядывали.

Полусонный еще Рустам лил водку на ладонь, прищлепывал другой и, раздувая щеки, будто брился, умывал лицо. Громко хлопал под мышками. Выгибая спину, растирал плечи и живот. Простуженные в горах бойцы кашляли в запястья, звенькая оружием. Гебилс возил каблуком тополиный хворост. Когда, отряхивая ладони, участковый, наконец, сел и потянулся, чтобы вытащить из-под его каблука жирную хворостину, они встретились глазами. Гебилс кивнул, участковый с полуулыбкой показал на хворостину. В его затылок ткнулся автоматный ствол. Я отвернулся. Я ушел к Симаевой. Вторую половину ночи она молилась на восточный угол комнаты, к которому был прислонен белый кукольный зонтик. Плюс два матраца (один из них одолжен мной ее папаше) — это было все имущество Симаевых. Отвернувшись к стенке, я с раздражением слушал ее, пока не уснул.

В три утра, зевая, выполз в коридор. Ее отец сказал, что участкового не убили. Держа ботинок в руке, я выглянул в окно. Да... Хотя и Гебилс убивал не всех. Меня, к

примеру, но мы с ним учились в одной школе, и я полукровка. Таджики относятся к полукровкам как к Альдебарану — никак. Участковый же Рустам был шохцем. Вдобавок — сухробовцем. Вдобавок тем самым человеком, отправившим в яму дочь полковника Вахита. Об этом за два дня до прихода Гебилса мне шепнули наши поселковые дарынцы.

По пути домой я прикурил от его костра, подкинул хвороста в огонь. Поглядел на него, посмолив слегка на корточках. Он полукругом спал, сунув руки под висок и вздрагивая челюстью. Поселковые дарынцы (в верхней части поселка еще оставалось три-четыре семьи, в нижней — я, Симаевы и отблескивающий ночами кто-то в двадцатом доме) рассказывали, что, когда у цемзавода все закончилось и в дыму заплясали бульдозеры, он искал воду. Встряхивал чужие фляжки, напевал, сидя на корточках. Потом попросил товарищей, которые, полусонные от убийств, тянули водку, упершись спинами в трансформаторную будку, чтоб ему полили.

«Водки... водки...» — показал раздраженно, потому что, бестолково озираясь туда-сюда, товарищи не сразу поняли его. Ему полили. Он растирался так, что от живота до переносицы пошел красными пятнами. Товарищи, раздвигая иногда пальцы, которыми прикрывали сонные глаза, слушали, как он хрипло стонет, будто у себя в Шохе на заднем дворе, обливаемый дочкой. С тех пор обычной водой не умывался. И обмяк мозгами как-то, а почему — неизвестно. Только подолгу дремал у отрядного костра, хотя, оставьте во время любой войны в кровопролитнейший миг сражения солдат одних, без генералов и сержантов, и вы скоро увидите, что до горизонта и последнего новобранца они спят у костров, тяжело вздрагивая челюстями. Его отправили в «пьяную деревню». Мы познакомились через две недели: могут ли не столкнуться два таракана в спичечном коробке? Обдумывая этот рассказ, хотел представить обстоятельства нашего знакомства как-то по-другому, но я действительно едва не прикончил тогда отца Симаевой, при том что «едва» и «чуть» — мои подлинные имя и фамилия. Я мало что довожу до конца. Почему случилось то, что случилось? Я мог бы сослаться на войну. Я делаю это. Мы не враждовали с ее отцом, были, как говорится, взаимно вежливы: он от природного равнодушия, я — из врожденного лицемерия. Контрактник? Я и раньше знал о визитах этого парня. Год назад, находясь в оцеплении — российский полк организовывал посадку людей в эшелон, — он пытался и не сумел втолкнуть Симаеву и ее отца в телятник. На перроне кипела беженская каша. Наступающие дарынцы и обороняющиеся шохцы отжали хлипкое российское оцепление и носились параллельными курсами, убивая друг друга в просветах эшелона. Кто-то из беженцев успел сесть в вагоны. Еще больше людей, отбрасывая друг друга, как бильярдные шары, пытались это сделать. Из разъехавшихся дверей уже движущегося вагона — у машиниста сдали нервы — Таньке что-то кричали ее мать и — на уровне ультразвука — три ее сестренки. Эшелон ушел. Оставшиеся на перроне разбежались по закоулкам контейнерной станции. Через месяц контрактник нашел ее в «пьяной деревне». Вероятнее всего, адрес сообщил ему Танькин папаша, а то и сама Танька. Мне на это было наплевать, как и на его визиты. Я догадался о них по изредка возникающему на столе армейскому хлебу, но мог бы спросить напрямую. Как и я, примиренные с войной и всеми ее контраверсами, Симаевы ответили бы мне спокойным, рассудительным — да. Но, примиренный с войной (и уже начинавший любить ее), я ни о чем не спрашивал. Моя примиренность вообще была глубже, развитее Симаевской. И вот поэтому-то я едва не прикончил ее папашу: в ожидании смерти иногда возникает желание примерить ее на других. Формальной же причиной стал разговор (мы стояли метрах в двух от подъезда, он прихватил с собой кукольный зонтик), в ходе которого он попросил меня не приходить к ним. Повалив его, я душил вначале руками, затем воротником его собственной куртки и опять руками, тесно принякая ртом к его уху — он пытался сунуть мне в глаза кукольный зонтик, — нащупал его сонные артерии с обеих сторон шеи и отсчитывал секунды. Тогда нам повезло обоим: индейцы. Они выдали себя грянувшими цикадами. Я замер, непроизвольно ослабив руки: индейцы, как и жабы, замечают только быстрые движения. Ее отец закашлялся, подкидывая колени. Я поглядел на него, затем переместил руки с горла и надавил на его глазные яблоки — зрачки реагировали. Я помог ему подняться, довел до подъезда и подтолкнул в спину: теряя ступеньки, он пополз вверх. Сам же я перемахнул через доминошный топчан, ограду и впрыгнул в огород Чарли Бешеного. Тяжелоногие индейцы понеслись к углу тридцать

третьего дома, рассчитывая отловить меня на выходе. Многие меня почему-то принимают за идиота. Отлежавшись в огороде, в сырой прошлогодней кинзе, ушел к Рустаму. Он дремал у костра. В вагончике густо пахло помидорами. Вперемешку с луком они валялись на нарах, под нарами. Бальжуанские, гиссарские. Под столом — два ящика с водкой. В тарелке обнаружил остатки шакароба. Поел. Шохцы — худшие в стране кулины. Потом сел на пороге, отгрыз, отплюнул крышку ипил водку. «Привет», — сказал, когда он открыл глаза. Так познакомились. Я остался в вагончике, к чему мне было идти домой? Мои родители уехали двумя эшелонами ранее симаевской матери. Я отказался: на фиг мне незнакомые пули, чужие флаги. Тогда я был нервный, ждал, что на днях расстреляют солнце, спустят, как из шины, мировой воздух и напишут вдоль экватора: «Продается». У Рустама я расслабился. Это была почти любовь ко всеобщему краху, к надвигавшемуся концу света, первые признаки которого я заметил, когда убили Костю, и это была безопасная любовь: я укрылся за красно-зеленым вагончиком, за Рустамом, он отодвинул войну на постоянные несколько метров. Она лязгала за флажками, ходила кругами, не смея отчего-то приблизиться к участковому и, значит, ко мне, и тогда, когда мы сидели у костра или под навесом вагончика, и когда в сумерках двигались по улицам поселка. Индейцы образовывали нам, то есть для участкового, — невидимые коридоры. Я восхищался своим, вероятно, не очень нормальным приятелем, перед которым расступались эти проверенно сумасшедшие бандиты. Днем же нас не трогали обосновавшиеся в поселке военные дарьинцы — почти не трогали. Раз только, мы шли куда-то параллельно линии кладбища, а они — охрана гостя, прибывшего к Гебилсу из Джерхана для обсуждения совместного налета на центр города, — сидели на корточках у автотрассы. Один из них, рыжий парень, побежал за нами. Я видел, что он бежит, участковый знал это. Остановился, не оборачиваясь. Рыжий ударил его в загривок прикладом, участковый по широкой амплитуде подался назад, потом вперед и упал на колени. Гебилс и его гость, прервав разговор, смотрели в нашу сторону. Рыжий передернул затвор и раз, второй, третий выстрелил, выбивая песок у разведенных стоп участкового. Опять стрелял — и вновь в песок. Гость-джерханец что-то крикнул своему бойцу, что-то ободряющее, но рыжий бессильно закричал и ушел к своим, пиная встречные камни. Наши дарьинцы сказали потом, что он — сводный брат дочери полковника Вахита.

Теперь, если я успокаиваюсь, то, чтобы вытравить это поддельное ненужное спокойствие, вспоминаю о тех проведенных в вагончике двух месяцах.

Мы хорошо проводили время: он, например, пел. Я резал в вагончике помидоры для шакароба. Сложность шакароба в его простоте. Лук и помидоры, даже смешанные, должны располагаться друг к другу на расстоянии условного волоса. И в ложке на расстоянии волоса, и во рту. Ели у костра. Он по-крестьянски нечистоплотен — руками. Я аккуратно, двумя пальцами, тщательно обтирая их о грудь. Вокруг сновали рахмоновцы. Сам Рахмон с пальцами на глазах обычно сидел на лавке у развороченной автобусной остановки. В центре Душанбе замирившиеся дарьинцы и шохцы делили коалиционное правительство. Гебилс, дважды контуженный, считал, что он тоже имеет на это право. Он хотел быть министром водного хозяйства. Он раздраженно делал знак участковому, чтобы не пел, чтобы заткнулся. Участковый не затыкался. Рахмон подбирал у ног гальку и швырялся в него. Через неделю в распределяющей комиссии Гебилсу с издевкой предложили должность директора русского драмтеатра. С ответной издевкой он согласился. На должность же водного министра внесли кандидатуру, а вскоре его самого — полупарализованного к тому времени от ран командира Сухроба. Я хочу сказать, что и Гебилсу, и Сухробу не во всем повезло. Я говорил у костра, что нам это хорошо знакомо.

— Мы все до одного в поселке невезучие. Для себя, для других. Как Пьер Ришар. Да и у тебя ж... — Я подкидывал хвороста, липкого от дождя, и осторожно закруглял: — Что-то там...

— В Душанбе пили везде, — говорил я, — а на Водонасосной так, что выдыхали один метан и боялись сразу прикуривать, но, смотри, их в городе прозвали «Водянка», а нас позорно — «Пьяная деревня».

Я рассказывал, что Гунна во всех магазинах покупал мебель непременно с клопами, у Салима-импотента был член в двадцать пять сантиметров, домушники, братья-близнецы по прозвищу «Шнурки», без конца попадались на соседской кварти-

ре, в которой жила будто проклятая Анька Зотова, работавшая в прокуратуре экспертом-криминалистом, Игорю Абусову в зубном кабинете обязательно падала в рот капля из носа врача, а падала она потому, что врач был наш, поселковый, и т.д. и т.п. Мне не повезло с рыбьей Танькой, всему миру — со мной, ему, Рустаму, — с нашим поселком, то есть с дочкой полковника Вахита.

Я его не осуждал за тот случай, был уверен, что в тот день, когда подступившие к его поселку дарынцы начали долбить по Шоху, он ползал, как гусеница, обрезая у хлопчатника нижние бесплодные побеги, или чеканил виноград на дальнем участке, сбрасывая листья козам, и ему не хватило каких-то секунд, чтобы как все добежать до речки и уйти в Афган. Все остальные добежали, а он нет. Он чеканил виноград на самом дальнем участке Шоха. И тогда, напуганный, ореховым лесом он ушел в горы к шохским повстанцам. А далее закрутилось: то, се и — цемзавод, и дочка полковника... Потому что не хватило каких-то секунд. «Никто в этой жизни ни в чем не виноват. Метры и секунды, — говорил я у костра. — Просто метры и секунды...».

Участковый кивал бородкой из дождевых струй. В такт песне. Он мычал одно и то же: «Чоки-чоки борони бахор ширин аст»¹.

Одна и та же песня, один и тот же дождь. Сезон дождей. Бесконечный ливень отмывал поселок для новых людей.

Гебилс со своими бандитами скоро перебрался в центр. Индейцы рассосались ближе к городу, по восточным холмам. Таньку с папашей увезла штабная машина. В тот день мы с Рустамом ходили за кладбище собирать хворост. На обратной дороге, в верхнем поселке, наши поселковые дарынцы сказали, что ее увезли российской штабной машиной. И ладушки. Перед ужином я говорил участковому, что она нормальная девка, только пятое-десятое.

— Танка? — спрашивал он.

— Танка, — говорил я. — Она — висший дэвишк. Однажды было, слушай...». Он слушал, подставляя то левую, то правую лопатку. Я поливал его водкой, отпивая в паузах. Затем резал шакароб. Я нарезал лук и крупно, и кольцами, и полукольцами, и соломкой, и кубиками. Строгал на терке. Помидоры — кружочками, дольками, ломтиками. Изощрялся в фигурной нарезке. Иногда окислял все ревенем, растирая его ручкой ножа. Заправлять приходилось полутехническим хлопковым маслом. Подсолнечное было где-то там... Под солнцем. С ноября ели уже под навесом вагончика — дождь пошел льдистый, подмерзший. Кругом и внутри нас начало похрустывать. Чтобы согреться, я пил водку сдвоенными глотками. Стало еще покойней. Конец света все не наступал. Не оттого ли, думал я, одуревший от водки и дождя, что он еще только-только зарождается. Уже есть земля и вода. А мы с участковым — два первых пробных человека. Не очень удачных, как все первое...

В основном же молчали об одном и том же: о том, что дождь холодный, шакароб отличный — к чему нам было разговаривать?..

Потом я куда-то отлучился. А когда вернулся через двадцать лет, продравшись сквозь базарную толпу, Рустам, сонно и радостно утирая глаза, спросил: «Танка чи?»²

«В Химках, — хотел сказать я. — Но я ее не видел». Я хотел сказать, что был четырехжды женат, уволен в Москве с очередной журналистской работы, у начальника надвое треснула переносица, когда на прощание он орал на меня. То есть, глядя ему в лоб, я мечтал об этом. Я хотел сказать ему, что он мешает строительству крытого трехуровневого базара — поселок разрастается, две тысячи новых людей хотят есть и пить, а его вагончик находится на месте будущего здания санконтроля, что он мешает поселку вообще, но власти и никто в поселке не решаются трогать сумасшедшего ветерана. Пока. С войны прошла куча лет. Для многих она уже не имеет никакого значения. Возможно, я все это ему и сказал — точно не помню, я много выпил. Поели шакароба. К вечеру ливень усилился. Мы ушли под навес. Перед нашими глазами дрожала вода. Она стекала с навеса, отчеркивая на земле его точные серебряные границы...

¹ Капает, капает весенний сладкий дождь... (тадж.)

² Как Танька? (тадж.)

Вячеслав Аносов

Б.Б.

Рассказ

Жемчужно-опаловый вечер. Город в дождях утонул. Горы в туманах и дымках. В теплых туманах и дымках бесстыдно вершится бесстыдное таинство обнажения плоти земли. Забродила, насытилась влагой и камни теснит. А в городе, каждая улочка, улица, аппендицит — речка, канава, ручей или седой водопад. И за ржавыми листьями платана, чудом оставшимися с зимы, чудом оставшийся свет «разливайки» в струях асфальтной воды мерзок и тускл.

Я чиркаю спичкой один раз, четвертый, десятый. Сколько же можно? Все отсырело под этим рекламным солнечным небом и мне уже ничего не зажечь никогда. И все же, в желто-оранжевом трепете едва успел прочитать — г. Балабаново ГОСТ тысяча с чем-то там 20 и все. Так-то все вот.

Человек, который захотел бы выслушать меня, понять и спасти, я знаю, стоит в этом г. Балабаново на платформе, надежно утоптанной снегом, и опаленными фильтрами, и кожурой новогодних апельсинов, и подсолнечной шелухой. Он один, вечно один, как и я. Стоит зыбучим столбом и матерно щелкает зажигалкой.

Да, он не женщина. Еще бы. Возможно, он не всегда и во всем поступал по-мужски, но по-женски... — почти никогда. Оттого невезучий. Когда он согреет в кулаке свою зажигалку, прикурит, покурит, подсчитает (не суммы — рубли), то будет знать, что ему делать в оставшийся вечер и даже в ближайшие дни. То, что я знаю давно, но у меня сигарета намокла. Даже если б она не намокла, о себе-то я знаю давно, что давно мне нечего делать. Слишком давно.

Если делом можно назвать обсыхание верхней одежды, буду старательно обсыхать. Закроюсь на два замка и даже, не разуываясь и не включая света, начну просыхать. Я люблю этот газовый свет над плитой, голубой и вонючий цветок над горелкой. Он для меня, как для подростков бензин, — и прекрасен, и страшен, как синий мак. Вечный огонь героям нашего времени.

И казнить тараканов. Да, я жестокий палач. Люблю, хоть и гадок, и жалок. И они меня любят и ждут. И встречают всегда так многолюдно... В толк не возьму, почему. Голодают, скучают, гуляют, резвятся, плодятся — пока меня нет — и ждут. Их любовь меня изумляет. Впрочем, как всякая любовь. Любовь без границ, без табу. Неисчерпаемая мера их привязанности и самоотдачи, еще не освоенная людьми, испытывается мной. И только это я бы позволил себе заявить вслух. Но ни словом больше. Настоящий мужчина никогда не позволит себе предавать, придавая огласке интимнейшие подробности своих отношений. Лучше уж выпить. Спичка погасла и стало намного темней. Стало намного страшней и безысходней. И поэтому я говорю: «Ну, разумеется, — я говорю, роясь в постыдно огромных, безнадежно пустых карманах пиджака и широких штанин. — Что-то ведь было?»

Этот в бабочке гусь любомудр в своих закопченных очках по ту сторону стойки и жизни. И не спешит. Возможно, поэт-верлибрист, возможно, шахматный гений. Бисексуал, вероятно. Как не отдаться тому, кто дает тебе шанс зарабатывать деньги? Не так ли? Как не отдать их тому, кто желает отдаться за них? Разве не так? Но он молод, надменен, и строг, и строен, как кипарис, я — напротив, но это не важно. Он

Вячеслав Аносов — родился в 1948 году в городе Янгйюле. Учился в Ташкентском художественном училище им. Бенькова. Проза публиковалась в журналах «Звезда Востока», «Экологический вестник Узбекистана», «Саида», альманахе «Малый шелковый путь» и др. Автор книги рассказов и новелл «Время жить при луне на душистой поляне для игр». Живет в г. Чирчике (Ташкентская область).

устал говорить «что налить» и правильно сделал. Лишь поднимает очки иногда, иногда опускает.

На мокрую стойку небрежно, с достоинством, опускаю две грязные бумажки, заклеенные скотчем. Он их видеть не хочет. Он опускает лицо. Опускает и руки, и плечи, и сам приспускается вниз. И где-то там, далеко, почти у колен, наливает мне что-то в стакан и что-то еще наливает. Я терпеливо молчу. А он выпрямляется, ставит на стойку и видит, что не долил, но не знает, долить или нет. Я продолжаю молчать и думать о чем-то своем. И он, наконец, доливает. И забирает всю эту дрянь с моих глаз, пока я продолжаю думать о чем-то своем и люблюсь его очками. Без ободка, только лишь фикса над переносицей. Мне спешить некуда. Пусть. Фикса так фикса. Он опять опускает лицо и что-то им ищет. Эти очки тем хороши, что образ любой сделать способны похожим на Йорика. Бедный наш Йорик! Они бы и мне подошли. Я терпеливо пытаюсь представить себя в этих кошмарных очках и сам себе нравлюсь. Потом пытаюсь представить примерную стоимость их. Мне они больше пошли бы. Потом — свои жалкие шансы подобное приобрести. И лишь через вечность, одна за одной, коротенькой стопкой, столбиком 4 монеты предстали. Но свою руку я не спешу протянуть. Я вспоминаю. Я не зомби пока, а потому вспоминать, понимать и, возможно, прощать я право имею.

Полгода назад этот «финик» косил под крестьянского блудного сына. Стоял, где стоит, в чапане, и в курносых калошах, и в майке навывпуск и метко сморкался в ведро. И руку к груди прижимал, заодно вытирая, и по-верблюдьи гнул шею навстречу любому, и я ему верил, дурак. Мне было жалко его. Почти как себя или сына. Да, так бывает. Ну-с. И к чему мы пришли?

С черных полей моей шляпы прозрачная капля падает в мутный липучий стакан — символично — плохая примета. Но не будем о грустном.

В левом углу три одинаково вдрызг пьяные личности совершенно противоположного пола извергаются смехом. Одна из них кобла, и это слишком заметно. Прямо у двери какая-то тень человека. Судя по прислоненным к столику костылю и клюке на резинке, человек был когда-то большим. В сумраке справа у двери четверо в красном и черном слились воедино. И лишь нечто тонкое, белое, стройное мечется в черном и красном кошмаре какой-то опасной игры. Может, Офелия? Нет? Брошенный в пропасть, в грозу чистенький лифчик? Страстью томясь и туловом в танце ломаясь, как полотенце на ринге, летит и не может упасть, и не может упасть и летит нога проститутки. Балет? Что, собственно, здесь происходит? Что-то страшное? Нет?

Кто-то захлопал в ладоши. В тяжелые очень ладоши кто-то захлопал. Лениво в ладоши тяжелые очень лениво кто-то захлопал. Спасибо. Но словно бы с вызовом. С вызовом? Кажется, да.

— Говори! — пасмурный голос, глухой, такой же ленивый, такой же тяжелый, как руки. Но благосклонный? Почти. Это нормально? Пока. И почти дружелюбно.

Продолжая стоять с полным стаканом в руке, в длинном мокром плаще и шляпе прокисшей, я подмигиваю аплодирующей мне тени, но не улыбаюсь. Во-первых, и повода нет. А во-вторых — кто знает? В ней, в этой тени кромешной, возможно, и нет никого. Но рукой со стаканом, на всякий случай, приветственный делаю жест и беру резко вправо, и еще резче вправо, почти что за стойку, за столик. Но осторожно. Просто чтоб не разлить. Не расплескать. Не выронить вдруг. Не опрокинуть. На брюки, на столик, на плащ, на серопегую моль с лошадиным испуганным глазом. И вдруг узнаю — «Лошадь в грозу» Жерико.

— Белочка! Белла! — говорю я, запутываясь в собственном плаще при посадке. Она улыбается мне. Улыбается мне и смущается долго и пылко. «Белочка, Белла! Хоть эта опухшая личность!»

Личность-наличность кокетливо пальчиком трет у виска набухшую венку. Трет и значительно как-то молчит, словно я — Штирлиц. Кажется, только при мне она позволяет себе так бесстыдно играть распутную «крошку».

— Ну, что ты, прекрасная? Что? Опять испугалась?

Трет, словно дура — улыбается робко, а смотрит почти что счастливо. То на меня, то в стакан.

Как давно я не видел ее! Как давно я не видел ее? Я — ее. Как давно. И встреч не искал. Очевидно, старею. А рано.

— Здравствуй, — я говорю — Ты где пропадала?

Она улыбается так, словно ужасную тайну выведать я попытался, но совершенно напрасно, и вдруг говорит мне:

— А ты?

«Да, действительно, где?»

— Я? Нигде, — говорю.

— Не ври! Я к тебе заходила.

— И меня не было? — Я изумлен.

— Да, — и немного подумав: — Да. Ты закрылся и не хотел открывать.

На ней мальчуковая куртка, спортивная, старая, с «молнией», вырванной напроочь. Врет, вероятно. И еще немного подумав, и пожимая плечами при этом, и словно себе же в ответ, продолжает на свой же вопрос:

— Но тогда почему я так долго тебя не видала?

Я делаю вид, что пытаюсь ей что-то объяснить, но мой ответ ее уже не интересует. Она и теперь, к утру, успеет забыть, что вечером видала меня, думаю я, и мне становится грустно. На ней мальчуковая куртка, спортивная, старая, и «молния» вырвана прочь. Надо допить и растаять. Я снова напрасно зашел.

— Как у тебя? Все нормально? — я говорю.

Она ласково смотрит в глаза мне и улыбается обворожительно так, что я вижу два черных пролома в шатком заборе зубов. Кажется мне, она рассмеяться смогла бы, если была б чуть трезвее.

— Ты меня угостишь? — говорит.

— Значит, нормально.

И горячей ладонью робко дотрагивается до моей волосатой руки. И пожимает ее иногда, словно вспомнив о чем-то, с такой порывистой и трогательной благодарностью, с какой и дети-то не пожимали никогда. Это профессиональное у нее, хотя она не актриса. Она медик военный по всем человеческим болезням. Красный Диплом. Она знает, сколько протоков под языком, и каков диаметр семенного, и сколько крови вагину должно омывать за время оргазма. И сколько разных желез. И много чего она знает, но, естественно, не практикует. Зачем? Столько интриг. Сколько слез, например, может женщина выплакать за год? Скажете, много — но это еще не ответ.

— Значит, все хорошо, — говорю я и останавливаю крепким пожатием ее нетерпеливые пальцы. — Это все хорошо, — и тоскливо дую в стакан. Странно, думаю я, поверхность вина слюденится, как выставший чай. Не к разлуке? Да и узнала меня ли? Не спутала с кем-то? Не притворяется ли, по самой паскудной привычке?

— Дай закурить! — говорит мне Б.Б., но уже без улыбки. Смотрит строго в глаза и губы кусает. — Дай? А?

Я лезу в первый карман, в третий, второй, даже в пятый.... В четвертом, смятая пачка «Карвон», но пустая. Шелестят лишь табачные крошки, как песок в песочных часах. Пальпация подтверждает или отсутствие наличия, или наличие отсутствия. Одно из двух. Не вдаваясь в размышления, а для того лишь, чтобы рукой моей не завладели вновь, я вместе с пачкой рву пополам чего бы там ни осталось. И каждую половину еще пополам. И каждую новую половину пополам еще раз. И сыпаю на стол перед собой беззащитной маленькой горкой. Складываю бережно пирамидку. В своей маленькой квартирке я не смог бы отказать себе в удовольствии устроить маленькое аутодафе.

Она встает и подходит к стойке. Как, однако, она отошала. И высокая стойка — слишком высокая для нее. Проститутка с белой ногой засмеялась, как от щекотки. А я приподнял свой стакан и выпил большими глотками (гадость какая!) почти половину, как воду, чуть больше, но вовремя вспомнил о ней.

Ночь в проеме дверей черна и блестяща, и чем-то слишком, до тошноты, напо-

минает Б.Б. И кроме шума дождя никаких пространств не имеет. Как же скоро свершается здесь ноче́день! Как путешествие вброд или в бред.

Но вот и она. Долгожданка. Возвращаясь, по беленькой палочке в каждой руке, по сигарете, словно две крохотные свечки счастливо подносит, губки жеманно поджав. Спасибо. Похоже на танец китайский. Фарфоровый танец. С фонарями или, там, с чем? Грация. На итальянском — спасибо. Грация — то, в чем ей и теперь не откажешь. Грация — не красота, а отражение души. Грация — то, что не внешне. Все остальное не важно. Если вообще что-то важно в том, что нравится мне.

Грудь у нее — два помятых оладушка с вдавленными изюминами сосков, словно в маленьких блюдах. Тара для селикона. Но и это не важно. Были бы деньги, я б ей его подарил. Граммов 300, 500, 800. А к нему импозантный нагрудник. Одно лишь есть счастье на свете — дарить, дарить и дарить. В три этажа особняк с зимним садом, шикарной машиной, горячим бассейном. Просто за так. Пусть знают наших. А почему бы и нет? За сигарету, за взгляд. Только за то, что во многом не хуже других. Хотя, может быть, и могла бы.

Вот, подошла. Улыбается. Села. И, разумеется, зубы. Новые! Все! Как один! А почему бы и нет? Жемчуги с запахом «орбит»! И протягивает мне сигарету, что постройнее и с фильтром. Каким же я добрым и сильным и мудрым мог быть для нее — были б, естественно, деньги.

Чиркаю спичкой.

— Спасибо.

Чиркаю спичкой опять, и опять — «Балабаново, ГОСТ». Только хватит! Не надо! Довольно с меня. Я уже почти не один.

Как удивительно много чего можно и нужно купить, если нет ничего, совсем ничего, но она все продаст. Все как есть — ни подарка, ни денег.

Молча закуриваем и очень долго молчим. Лишь по профессии она медик, а по велению плоти — торгаш. Торгаш поневоле. Она, как маньяк, всю жизнь продает, продает, продает. Все продает, что не способно быть первой необходимостью. И слишком без многого ей обходиться легко. Но не без курева. Нет. Хоть горсть табака. Но не вместо вина, разумеется.

У последней сигареты особая горечь. Это знают все, кого расстреляли по-человечески. Жаль, не любят они распространяться об этом. Сладкая горечь, как у Отечества, растаявшего, как дым. Как у всего, к чему слишком привык, слишком сладкая горечь. В этом городе я не привык ни к чему, и слава богу. А от того, к чему я привык в прежней жизни моей, и от того, что было последним, у меня аллергия. И потом, в день по полпачки курить и чтоб каждую сигарету, словно последнюю, — можно рехнуться. Но об этом лучше молчать. Мы и молчим. Выдохи наши, сплетаясь, тянутся к двери под гильотину дождя — я б не сказал, что охотно.

Да и что тут сказать? Если это не наши проблемы. Даже и трезвую она себя продает. И полупьяную продает. И только пьяную — отдает бесплатно. И дает, и берет, как последнюю сигарету.

— А ты знаешь, он тебя вспоминает, — говорит она вдруг, словно проснувшись.

— Что ты сказала?

— Пашка.

— Пашка? Кто это — Пашка? Муж?

— Нет. Ты что, позабыл?

— А, этот. Как его?

— Пашка! — Она повторяет, словно я должен всех помнить.

— А, да. Ну, как же? — я говорю, не желая вспоминать ее малолетнего подонка.

— Он добрый. Он всегда вспоминает ботинки, которые ты ему подарил. В прошлую зиму. Спасибо!

Она и их продала. Чтоб не бегал на улицу нюхать. Это разумно. Хлеба купила, сечки кило и маргарин. Ну, и выпила. Что же теперь? Разве могло быть иначе? Хлеб и крупу спрятала у соседей, как знала. А когда рано утром «муж» с сыном избили ее и ушли по помойкам шуршать, поменяла всю сечку, которая слишком убавилась за

ночь, на стакан самогона, с удовольствием, у тех же соседей. Разумеется, тем же соседям достался и хлеб. Отдала. Просто так.

У нее есть и дочь, пока, правда, слишком больная, и дочь ее любит, когда в ее кашу добавляют какой-нибудь жир, но куда он мог деться? Не вспомнить уже никому. Вроде бы целые сутки, чтоб никому не достался, а только лишь ей, он таял в кармане. Даже смешно. И вдруг его нет. В этом кармане лежал. Нет, не в этом, не в куртке.

— Помнишь, пальто горчичного цвета? С черным стоечкой воротником? Прода-ла...

Да, не повезло маргарину.

Разумеется, так не бывает. У нее же всегда только так.

Надо сказать, у миниатюрной женщины этой, как у нормальных людей, есть и свой дом, и свой «муж», есть семья, друзья, есть любовь и любовник. И если вам от нее что-нибудь нужно или если вы не хотите нажить в ней врага, то лучше при ней никогда не сомневаться в том, что все в ее жизни, как у людей.

Она выкурила полсигареты и загасила ее, хорошо послунявив палец.

Ее «муж» — старичок с бороденкой (как она оседлала такого?), интеллигент, — промышляет на мусорных кучах и, похоже, долго не проживет. А умрет — не будет у Б.Б. ни квартирной хозяйкой, ни женой и даже ни матерью. Останется только любовь.

Средним пальцем, совсем не обжегшись, она погасила, подняла глаза, страшные, как у Фру-Фру, и тихо спросила, слишком тихо: «Можно?» — кивнув подбородком на стакан.

Когда-то она много раз пила в «забегаловках» без разрешения. Ей даже казалось, выпитый ею стакан — это не столько вино, сколько символ какого-то братства, знак особого расположения к ней. Предпочтения перед другими. Словно задаток. Словно признание в любви. Такая вот дура. Она-то в долгу не останется, это понятно, но, возможно, кому-то дороже пусть даже плохое вино. И все-таки все понемногу привыкли к стервозной ее привычке одалживать гаденьким образом. Только однажды, после того, как сказала: «Ну и выпила. Я твой должник. Зато теперь, ты можешь делать со мной все что захочешь», — или, возможно, сказала не так, а как-то иначе, — заезжий водила с ней сделал что-то такое, после чего она навек зареклась. В ней что-то еще раз сломалось, и она, в какой уже раз, начала свою новую жизнь.

С той поры она научилась просить смущенно и даже униженно, а себя предлагать едва ли не извиняясь. Правда, желающих ее угостить вряд ли убавилось.

Она могла кем-то брезговать, кого-то бояться, но отвращение и страх тоже стали пристрастием, которое часто увлекало ее. Но презрение — нет. «Муж» оказался, пожалуй, единственным в мире мужчиной, которого ее презрение мешало ей любить.

Когда она начала новую жизнь, она поняла, наконец, какой породы мужик был бы ей нужен для жизни. Не потому, что он был как мужчина лучше других. Возможно, наоборот. И что было там между ними, пусть знают только они. Но теперь ей казалось, что только с ним она не посмела бы пить. И изменять не посмела б. Но он отошел и пропал. Таким, вероятно, такие как раз не нужны. И это понятно. Даже если она о себе, как всегда, наврала, то кому же такое понять, как не мне?

Зная прекрасно, что и к ней мужчин тянет порой их отвращение, она продолжала, я верю, искать среди них того, кто, как тот, мог бы единственным стать и даже последним. И, когда, превозмогая себя, она доказывала ненавидящему ее, что отвращения нет, ненависть — слабость ничтожеств, а у нормальных, таких, как она, может быть только любовь, — она была счастлива. Это был ее странный, уродливый, почти перевернутый мир с извращенными поражениями и победами, но побеждать в нем было единственной ее целью, и не было большей беды для нее, чем остаться ненавидимой и не нужной никому. А когда тот, кто только что бил, бежал в магазин за вином, колбасой, мармеладом для Ксюши, у нее выросли крылья. И она возноси-лась на них над грязью и страхом. Когда он ей скажет: «А ты ничего. То, что надо. А я думал, стервы кусок», — она постарается тысячу раз доказать, что она еще лучше. И если даже он не возвращался — ни в ту ночь, ни через неделю, ни через месяц, если запырлся, не пускал к себе, прогонял, то и это не очень печалило ее. Деньги есть

деньги. Их всегда или нет, или завтра не будет, так же, как и с вином, — главное сделано.

Но и она устает.

— Еще бы.

— Надоело все. Знаешь? — И ставит стакан, и ждет, когда я зажгу отсыревшую спичку. — Я бы, знаешь, с уродом жила, с идиотом. Если б он смог. Остановил. Ты меня понял?

Я ей верю и нет. Одновременно — словно в театре. Чем органичней вживается в роль, тем интересней. А не вживается — тоже нормально. Надо себя не уважать, чтобы поверить Б.Б., и я, как всякий зритель, очень мало себя уважаю. И потом, когда ей захочется убедиться, верю ли я, она не постесняется спросить:

— Что, не веришь? А я бы смогла. Проверь.

И через какое-то время:

— Эх, ты. Я на таких насмотрелась. Такого... Тебе и трех дней бы хватило, чтобы в психушку попасть. Что ты видел вообще?!

Кто бы с ней спорил? Не был я там, где она, а потому и молчу.

Но были в жизни ее и другие мужчины. Когда-то давно, еще школьницей, ее полюбили «настоящие» художники, а не такой «мазила», как я, и хорошо полюбили. По-хорошему, то есть. Да и она была еще вся «симпапо» — попочка, ножки, ну, и позировала им. Ей казалось, ее страдание стоять, или сидеть, или лежать неподвижно помогает этим веселым людям зарабатывать много денег. А иначе кто б из них стал заниматься такой ерундой? Но она никогда не просила поделиться с ней за любовь и работу. Достаточно было немного вина, разной музыки, ну, и любви, то ответной, то безответной. Вот такой была наша Б.Б. И, разумеется, в этом я не могу ей не верить.

Было и там много смешного-хорошего. Были даже стихи. И они это все называли какой-то богемой. А то, что у самого волосатого с носом, у которого даже грудь и живот в черно-белых, густых волосах, было много таких тяжелых книг, что полистаешь — устанешь, а в них много голых богов, и богинь, и четыре распятых Христа по углам его комнаты смотрели, что некуда деться, — давало ей повод подумать, что слово «богема», это от слова «Бог». И что вся эта лавочка их, группировка, — вроде как секта. Было, конечно, и там.... Всякое было. Но ей и теперь еще кажется — ей было так хорошо, как им хорошо было с ней. И быть не могло бы ни с кем, кроме как с ней.

И вот эта дура, эта неполноценная, эта сорокасемикилограммовая «девочка с рыбками», эта «зеркало, розы и плоть», эта «грустная Белла» сразу же после занюханной школы, после беглого курса затурканных медсестер отдается в Афган так же просто, как банде художников. И никто не сказал ей из взрослых, что никотин или порох повредит ее неокрепшему здоровью! И когда я спросил у нее: «Ну, а тебе-то зачем?» — она удивилась: «А как же? Дура, конечно, но — как?»

В той мясорубке ей, естественно, другого места не нашлось, как трупы собирать, и части трупов собирать, и остатки трупов собирать, и колоть обезумевших морфином. «Лучше убили б тогда! Лучше тогда б и убили! Тысячу раз, мамочка, мама, лучше б убили тогда!» Но этой соплячке, этой крохотной падчерице полка не повезло умереть экзистенциалисткой. Вернулась. К «мэнам» вернулась. Вернулась, только чтоб жить. Туфли носить, улыбаться соседям. И, конечно, влюбиться. И выйти замуж — лишь за «афганца», потому как других мужчин, вероятно, не существовало тогда. Разве могли быть мужчинами те, кто там не был? Разумеется, нет.

Но даже и с ним, в этом пресном бульоне забот — где? почему? и когда? — слишком часто пуль не хватало. Так и жили, как все. Зарабатывали, как могли, покупали, что все покупали, а что оставалось — он пропивал, как пропивало большинство. Сначала один, потом вместе, потом врозь. Потом разошлись. Вот и все. Белладонна. Бешеная красавка. Пьяная одурь. Вот и все.

Все сказано, все докурено, все выпито. Но она подсела почти вплотную и положила руку свою мне на колено. И уже не спросила, можно ли. Но я спокоен. Если мне заблажит, если захочется вдруг сделать своим врагом, то достаточно будет сказать,

что ей не надо было ходить к бездарным художникам, никого не надо было спасать в Афгане, ей нельзя было после Афгана, психопатке несчастной, замуж выходить и тем более — за «афганца». И пить с ним было нельзя, и рожать от него детей. Нельзя было прощать ему его измены и побои и тем более — изменять самой! Пьяная дура! Идиотка!

А пока мы, как два куска пластилина, вlepились друг в друга, и нам почему-то тепло. А где-то там, на платформе, этот все еще ждет электричку. Пусть подождет. Я так в эту зиму продрог. Я в проливной этот вечер так почему-то несчастен, что долго ждать не могу.

Из самого дальнего левого нагло смотрели на нас, говорили про нас и смеялись процентов на сорок, пятьдесят, шестьдесят почему-то лишь только над нами.

— У тебя есть нож? — сказала она глухо.

— Зачем? — сказал я.

— Надо.

— Нету ножа.

— А деньги?

— Зачем?

— На вино.

Я достал еще две бумажки и положил перед ней. Она тут же встала и ушла за вином. Кажется, душу излив, она слегка протрезвела. Из тени огромной всплыла неопрятной луной, над костылем и клюкой, багровая лысина. В ней, под гляncем покрыва, за костной и косной средой, беззвучно шумит и шумит океан, беззвучно, в любой день недели, шумит неумолчно. Нам никогда не узнать его тягостных тайн, но мы как-нибудь обойдемся. У стойки Б.Б, как попрошайка-болонка у колена хозяйского, в стойке застыла. Гадко смотреть. Так же лапки и хвостик. Та же улыбка. Сколько же можно?! И снова смеются в углу. Справа кто-то поднялся. И еще кто-то встал. И два этих нектоv сошлись, словно в драке, но лишь поменялись местами. И под рассыпчатый грохот кубов, грохотов в кубе, я тоскливо подумал о том, что никогда не узнаю, почему они не решились, не догадались всего лишь нарды повернуть.

А тут и она подошла. Положила передо мной еще одну сигарету и сдачу, и у самого края поставила грязный стакан.

— А нож-то зачем? — сказал я.

— Надо убить этих сук! — И тычет пальчиком в тех, кто смеялся в дальнем углу.

— Ты что? — закричали оттуда. — Че ты гонишь? Закройся!

— Это они тебя так? — И я показал на место ссадины под глазом, но на своем лице, не на ее.

— Нет, ерунда. Это Пашка, но не показывай на себе. Никогда. Ты понял? Не обижайся.

— Ну, а этих за что?

Она села на место свое и усмехнулась, мол, ты ни при чем тут. Я-то знал, что я ни при чем, а она заплакала вдруг. А я закурил, и мне показалось, что у нее поехала крыша. Или сегодня ее действительно кто-то очень обидел, или она по пьянке отважилась сделать из меня такого идиота, над которым будут смеяться, пока будут помнить меня.

— Ну, а тот, кто так щедро дает сигареты, он кто?

Она прижалась щекой к плечу моему и тихо сказала:

— Знаешь? Давай мы уйдем отсюда. К тебе. Ведь ты меня хочешь? Ага? Как тогда.

— Давай лучше выпьем.

— Давай. И возьмем вина — и к тебе.

— Нет, — сказал я и услышал, как я сказал «нет».

— Почему?

— У меня будет женщина.

— Да? Ну, и что?

— Это будет другая женщина.

— Очень красивая? Да? А не врешь?

Я пожал плечами.

— Просто другая.

— Знаешь? Я могу переспать где угодно, хотя бы на кухне. Честно. Мне, честно, сегодня нельзя возвращаться домой. Правда, нельзя. Представляешь? Так получилось.

Она облизала губы и попыталась улыбнуться. Она прятала глаза. Не хотела, чтоб я прочитал ее мысли. Когда она врет, я заметил, она смотрит в упор.

— Мы ляжем, и я тебе все объясню.

— Лучше выпей, — сказал я.

Она отпила половину и поставила стакан передо мной.

— Допивай, — сказал я.

Я успел докурить нашу последнюю с ней сигарету. Один. Она допила.

— Скажи, он угощает тебя сигаретами или ты покупаешь?

— Нет. Он мой друг. — Она снова взяла меня за руку. — И потом он мне, кажется, должен.

— Все. Мне надо идти, — сказал я.

— Ну, подожди. Не уходи, посиди хоть немного.

Я снова сел.

— Тебе правда не хочется меня?

Она попыталась улыбнуться, как привыкла, поиграть глазами вприщур, но снова заплакала.

— Не оставляй меня. Мне нельзя сегодня домой! Пойми! И здесь оставаться нельзя. Ты мне веришь?

Я ей верил. Нет, я не верил ей. Я никогда ей не верил. Да и как можно верить Б.Б.? Даже если в эту минуту она и не врет, а я верил — не врет, я, возможно, еще никогда ей не верил, как верил теперь, — только что из того? Дальше-то что? Лучше врала б, как привыкла!

— Я же всегда уходила, когда ты говорил «уйди».

— Уходи, — сказал я и снова поднялся. А потом чуть склонился и погладил ее по волосам. — Вот увидишь, — сказал я, — проспишься, и все обойдется. Все обойдется, родная.

Она закивала мне вдруг так старательно, словно именно это ей и хотелось весь вечер услышать.

— Я попозже приду. Одна. Что б твоя не подумала, что ты где-то меня подцепил. Правильно? Ладно?

Я не удержался и погладил ее еще раз по голове — и по щеке, — и она машинально потянулась губами за моими пальцами, но я отнял руку.

— Ты ведь тоже мне должен? — сказала она и улыбнулась. — Чуть-чуть.

— Ну, пока, — сказал я.

Но еще ничего не решил.

— Имидж, говори! — заорал снова лысый придурок и опять захлопал в ладоши. Орангутанг.

Я был самым спокойным здесь. Ей-богу, самым нормальным! К черту всех вас, думал я, пока подходил к стойке бара. Из левого угла смотрели на меня внимательно, с какой-то гадкой усмешкой, но не смеялись. Не смели. Так наблюдают мушиный полет, тая за спиной мухой. Но я-то помнил прекрасно, что еще ничего не решил. Положил опять две бумажки перед «другом» Б.Б. и поправил шляпу. Не из красавцев, не молод, но иногда и у нас получается, черт вас возьми, произвести впечатление. Да! Шляпу поправил, дождался, когда он нальет и положит сдачу, и выпил в четыре глотка. Постоял. Закурить бы. Или хотя бы пожрать. Хлеба хотя бы. Или — ее за собой? Всем нам на зло возвратиться и нежно под ручку, как пьяную Родину-мать! Всем нам на зло не уйти одному никогда! Но я еще ничего до конца не решил. Да и курева нет. Если б она догадалась у «друга» взять целую новую гладкую синюю пачку «Карвона» на долгую-долгую, долгую-долгую ночь... Я посмотрел на нее. Она отвернулась... У «друга».

— Говори! — снова заорал этот балбес и опять стал хлопать в ладоши. Тяжелые,

жесткие руки, накаченные на костылях. Она отвернулась. Она не хотела смотреть на меня. Она не хотела видеть, на что я и как не решаюсь. Видеть меня в последний момент еще не моего, но уже не принятого мною решения. И кто не хотела? Б.Б.?

Я вышел под дождь.

— Эй, эй, эй! Дверь закрой! — закричала проститутка мне вслед — Не в сарае.

— Да пошла ты! — сказал я. — Да пошли бы вы все!

Мне в эту ночь еще очень долго хотелось уснуть, но я боялся, уснув, не услышать ее стука. И когда проснулся среди ночи, мне показалось, я слышал сквозь сон, как она стучала. Постучалась, прислушалась, постучалась еще и ушла. У нее, я уверен, к сожаленью, всегда слишком много «друзей» и «подруг». Да и «муж» — побьет, не прогонит. А утром я понял — болею. Надо было опять искать работу и как можно скорее найти ее, хотя бы какую-нибудь, но я уже не мог ничего искать и не хотел никакой работы. Если честно, я даже рад был, что заболел. Месяц работы, два и даже три, разве могли бы спасти меня, если и через три, и через четыре месяца я был бы так же голоден, как и теперь, и снова искал бы ее, и снова болел, и все это так надоело, что если б задался я целью хоть какой-то смысл обрести, то задумался б лучше о том, как мне выпасть из этого круга. Я б задуматься мог и теперь, если бы мне удалось хоть чего-нибудь съесть, просто хлеба и лука, и даже без лука, и даже один только лук, но я знал, что и это желание не может быть самым мучительным.

Вероятно, от слабости, мне казалось, что я способен переносить страдания много большие, чем уже известные мне. Переносить до конца. И я даже желал испытать свои силы, но с каждым часом мне хотелось все больше, чтобы ко мне постучалась она. И принесла бы буханку хорошо пропеченного хлеба. С корочкой хрусткой, душистой. И цветом душистого хлеба. Или немного заварки. Или стакан табака.

Но еще сутки шел дождь. И я проклял его. Проклял себя. Проклял и город я этот, и всех, процветающих в нем. Вспомнил о том человеке, из г. Балабаново, и понял, что он никогда не захочет помочь мне настолько, чтобы искать меня здесь, тратить и время, и деньги, — и проклял его. Вспомнил Б.Б, как сидела она в забегаловке, как, возможно, сидит и теперь, пьяная, как и вчера, и уже не ко мне, а к кому-то просится в гости. Представил. Представил, как она улыбается, как сигарету подносит ко рту, и проклял ее, и разговор ее проклял, и смех, и ее собеседника. Вспомнил всех женщин, которые были со мной и клялись, что любили. И клялись, что умрут без меня, но возмужали с тех пор, заматерели и жить научились. И теперь, когда я умираю без них, они снова кому-то клянутся. Тем и живут. И, вероятно, умело бегут от материнства, диеты блюдут, и как смерти боятся морщин. Как котята, брошенные в омут, выкарабкиваются, кто как может, вместо того, чтобы с честью, как я, умереть. И я проклял их тоже, но не было зла во мне. Вряд ли кто-то из них был виновен передо мной. Но я проклял их всех заодно, раз уж день такой мерзкий, и болит голова, и в квартире холодно, грязно, и слабость такая, что до кухни почти не дойти, но не было зла во мне, а на кухне — одни тараканы. Попытался казнить кой-кого из своих приближенных, но кончилось тем, что они в этот раз оказались сильнее меня. Сообразительней.

Живя с человеком, они как никто способны учиться, я думал, куда мне до них одному. Как можно теперь одинокому мне с такими тягаться?

Я, наверное, бредил. Я давал себе слово из квартиры не выходить. Теперь уже никогда. И отныне и впредь — ни у кого не просить ни работы, ни помощи. Пока не уснул. Но спал хорошо, и приснились мне мама и папа. Они почему-то подстригли меня и побрили, да так неудачно, хоть на улицу не выходи. А зачем теперь, они говорят, тебе уходить? Тебе уходить, говорят, никуда и не надо. А я вижу в зеркале бритым себя и спокойно так думаю: что ж? ну, и ладно. С рожей, такой обнищавшей, все равно напрасно выходить. И дотрагиваюсь до головы, чтобы голого себя погладить, а чувствую пальцами сквозь сон — волосы. И от страха проснулся. А проснувшись, я вспомнил побритым себя — узнать невозможно — совсем на меня не похожее что-то — совершенно больное, несчастное и замученное жизнью существо. А мать и отец, словно все еще тут, невидимо рядом, и продолжают отягощать, как и во сне, слезливой заботой. Я их не слышу, но умею мысли читать: «а зачем узнавать-то?».

А к обеду опять захотелось, чтоб постучалась Б.Б. Мы б закрылись на оба замка, занавесили окна. Улеглись бы поближе, забросали себя всяким новым и всяким негодным тряпьем, словно палым листом и наконец-то согрелись. Мы бы так постарались устать, так надолго — от наших болезней, и от голода, и от любви, — что и двери открыть у нас не хватило бы сил, не возникло б желания.

Вечером у меня поднялась большая температура, или мне она показалась очень большой, и почему-то опять, в какой уже раз, я умереть испугался. Умереть не в том смысле, что распастся на составляющие и не быть, лопнуть, словно пузырь на воде, — это нормально. Я себе в своем «быть» слишком давно надоел. Но умереть одному, умереть в своем «быть» одному, лопнуть, как мыльный пузырь, одному — было бы страшно. Я заставил себя подняться и оделся, чтобы найти ее. Я был уверен, если б узнала она, что я умираю, то непременно пришла бы. Но лил по-прежнему дождь, и я разделся и лег. Невидимые горы невидимым дождем обнажали себя, и тяжелые тучи ползли по невидимым женственным склонам свинцовыми животами. Город со всеми судьбами нашими, перепутанными и одинокими, опускался на дно огромного мутного озера. Всплывут лишь пустые пластмассовые бутылки, мусор прожитых лет, младенцы, гитары, клизмы, целлофановые пакеты и мешки. Но я ни о чем не жалел. Я почему-то боялся лишь одного — умереть, ее не увидев. Не увидев ее такой, какой она была в наш последний вечер. А в последний наш вечер она не могла не быть лучше всех, кого я когда-либо знал. В последний наш вечер она не могла не быть для меня самой любящей и любимой, но я уже передумал ее искать. Мне достаточно было вспомнить ее, представлять ее рядом. Представлять над собой и над ней в шевелящейся пене воды, в мусоре, под небом дождливым, огромным, чудом всплывшие холсты мои. Словно плоты в бесконечную даль, поочередно — женщины, дети, цветы, снова — женщины, дети, цветы.... Удивительно сочные краски!

Это был бред, и всю ночь мне снились кошмары. Какой-то дикий шабаш ведьм, какое-то сплошное насилие, бесконечный бесконечно изнуряющий оргазм. И лишь Б.Б. была почему-то медсестрой в изумительно белом халате, под которым, я знал почему-то, нет у нее ничего. Нет даже ног, но с глазами подбитыми, но совершенно спокойными и ласковыми. И всякий раз, появляясь, она обещала меня накормить черепашьим супом, намекая на необходимость растраченные силы мои поддерживать и нарастить для нее, и исчезала всегда чуть скорей, чем я успевал согласиться. А когда она подвела меня к большому котлу, почему-то врытому в землю, где-то в степи под дождем я увидел в костре на ветру, в черном огромном котле под неподвижным дождем я увидел, как в жиром плюющемся яро бульоне неподвижно кипят черепа.

Только к обеду следующего дня мне удалось собрать в мою сумку для инструментов: электроутюг, совершенно ненужный кофейник и еще нужную пока сковороду. Бронзовую пепельницу, подсвечник, когда-то стоявший на когда-то существовавшем пианино, очень старый Коран, протестантскую Библию, овдовевшую гантель, «Ночь нежна» Фицджеральда, настольную лампу с обрезанной вилкой и без абажура и ветхих, словно капустные листья, «Гаргантюа и Пантагрюэля». Три тома остросюжетных детективов. Очень современный, тошнотворный эротический роман из жизни кинозвезд. Дуршлаг, немного помятый, но очень удобный для казней, «Сто дней» де Сада, «Сто лет одиночества» Маркеса, один из томов «Тысячи и одной ночи», три разномастные вешалки из шкафа и подборку застольных тостов, спичей, приличных и не совсем, и совсем неприличных анекдотов.

Я хотел вынести все это на базар, благо что день выдался солнечный наконец-то, но сумка мне показалась такой тяжелой, что я не решился ее нести шесть или семь километров. Да и ручки оборвались бы. Отнести к перекупщику было бы легче. Перекупщик и взял бы все оптом, правда, дешевле. Зато, торгуя на барахолке, я рисковал не продать ничего, продешевить или продать слишком мало. А хлеба хотелось теперь. И как можно скорее.

Я сначала не думал, что у меня есть возможность встретить Б.Б. А потом стал думать. И думал об этом всю дорогу, пока тащился к знакомому барыге. И мысли о ней помогали не замечать тяжелого груза и долгого пути. Вернее, я думал не столько

о ней, а о том, куда могло деться мое безумное желание обязательно видеть ее? И откуда возникнуть могло это явно болезненное обожествление женщины, которую, как бы плохо ни знал, знал достаточно, чтоб не искать с нею встреч. С ней умереть еще можно, думал я, учась улыбнуться своему просыпающемуся остроумию, и так хотелось курить, что челюсти просто сводило. Но жить, думал я... А умереть она способна помочь как никто... Ну, к примеру, тащить этим солнечным днем такую тяжелую ношу и лишь для того, чтоб ее накормить, напоить бормотухой и где-нибудь крепко зажать, — я захотел бы? А через день, через два снова искать, что продать, чтобы вместе напиться? Чтобы с «мужем» ее по помойкам, по мусорным кучам?.. Нет, не хотел бы. Кстати, от прежних хозяев моей квартиры остался стабилизатор. С расколотым корпусом. Забинтованный, как пограничник, высохшим в кость лейкопластырем. Как бы точнее узнать, работает он или нет? Очень возможно, что нет, но очень возможно, что даже таким он чего-нибудь стоит.

Так незаметно, под стрекот вертолета над головой, сопровождавший меня от моего подъезда, погруженный в свои размышления, я и дошел, выбирая, где солнца побольше, куда направлялся.

Этот деляга меня просто выпотрошил, тварь. Как детскую куклу-копилку! Я не знаю, за сколько и по какой цене я смог бы продать все это на базаре, но ведь не за столько же?! Даже по старым дешевым ценам, в то время, когда покупалось все это, если бы мне захотелось продать это все, то и жить бы я мог, ну, хотя бы полмесяца, месяц, а теперь... Выходя от него, я был зол и, как школьник, обидчив, я готов был подраться, я плакать хотел! Кроме того, он сказал, что убили Б.Б. Говорит, «запорола». Что? Кому могла она запороть? Она — безобиднейшая из женщин! Идиоты! Таким же делягам, как он? Вроде в тот вечер, когда мы так глупо расстались, все это случилось, а может быть, нет. Сколько-то в шею и спину, и два удара в живот. Смелые парни. Крушите! Жили во страхе и лжи, теперь решили жить честно — кто кого съест, тот и прав. Я-то уверен был — денег, которые выручу от этой продажи, мне хватит дожить до какого-то близко-далекого дня, когда я работу найду. И что же теперь?! Это ж хоть вешайся! И на веревку не хватит! Только за то, что я нес это в гору и так далеко, я мог бы затребовать столько же! Подлые твари! Что вам Б.Б. «запорола»?! Надо бы вас запороть! Ну и что теперь делать? Что делать? Пообедать пять раз? А потом?

Мне было очень обидно. Хоть садись в эту лужу, у всех на виду, и сиди. Но скоро прошло. Стало так безразлично все. Так все безразлично и гадко, что я равнодушно зашел в самый первый попавшийся мне магазин, взял бутылку вина, сигарет, и закуски не взял никакой. Положил вино в пустую сумку, сигареты в карман и пошел хоть куда, лишь бы подальше от глаз... Сколько-то в шею и спину! Надо же!.. От города и от людей. Спина у нее была самым лучшим из того, что ее украшало. Такая спина! Скромная, стройная, гордая, умная спинка. Как у ребенка. И никакого ни шрама, ни перелома, ни крохотного рубца. А шея! Какая уютная шейка была у нее! Круглая, добрая, как у голубки, — паскуды.

Минут через двадцать я ушел далеко и забрался на довольно крутой бугор, или холм, или сопку, обкусанную с трех сторон экскаваторными ковшам, как яблоко. Мне отсюда видны были горы, а меня, я надеюсь, из города видно не было. Из земли в одном месте торчали удивительно толстые, как колбаса, витиеватые арматурины, гнутые рельсы и, словно упавшая с неба, бетонная плита. Похоже, это место давно уже приглядели такие же любители уединения, как и я, если не хуже. Пробки, окурки, пластмассовые стаканчики, пакеты, развешенные ветром на иглах шиповника. Сгоревшие спички и пустые спичечные коробки. Я присел на одну из витиеватостей, открыл бутылку и немного отпил. За нее. И, как часто бывает, после выпитого вина стало замечаться то, что и не заметили бы, возможно, и думать стало о том, о чем не подумалось бы никогда.

Горы сверкающим поясом, еще заснеженные до половины, обступали город, словно серебряным полукольцом. Но нижняя кромка снегов поднялась неожиданно высоко от подножий почти до скалистых хребтов так высоко, что даже дух захватило. И неожиданность эта всей панораме, простирающейся передо мной, придавала какое-то странное, неповторимое ощущение новизны. Новизны ощущения какой-то

полной и безусловной свободы, какого-то ошеломляющего, сверхскоростного полета. Полета со скоростью взгляда. Новизны ощущений какой-то предельной и побеждающей все мощи земли и моей собственной силы бесплотной. Невероятной легкости и силы! И там, у вершин, на вершинах, где лучи плавили снежный наст, он сверкал, словно зеркало, словно самая драгоценная драгоценность. И тут я заплакал. Я увидел у ног вспотевший инеем выкидыш презерватива и снова вспомнил Б.Б.

Не дожила до весны!

Я сидел почти на корточках на одиноком бугре, а вертолет все кружил и кружил над городом, словно навек потерял свое место посадки. Через неделю-другую сочные травы скроют голое мясо земли, а Б.Б. уже нет. И начнется весна, а с нею придут и надежды. Так надоело. Ну, и живите!

Ну, и живите, как жили, словно ее никогда не выталкивали из вертолета, такого же, как и теперь. Словно она не летела, мокрая в мокром тумане, на голые скалы и в пропасти, точно такие, как здесь. Летом, барыга надеется, купит поддержанный кем-то до дыр «Запорожец», а в следственных органах выйдут на след убийцы, защитившего с риском для жизни высокую нравственность и чистоту. Всего в прыщах и в надеждах на смягчающие его ягодицы обстоятельства. Осуществляйтесь!

Ее «друг»-виночерпий расширит свое заведение еще одной точкой. И поставит в нее братишку жены, который и так уже слишком послушен. Жены, которая к осени очень надеется сына в бешик уложить, чтоб до старости — дома. Дома, который, надеялся я, летом уж строить начну, исступленно, словно стреляя в ползущих по скалам «духов», ползущих все ближе и ближе, рядом ползущих почти, когда она громко орала: «Мамочка! Мама! Прости!»

Нет, не смогу я.

«Муж» твой присмотрит, возможно, еще одну дурочку с изувеченной кем-то судьбой и еще года два будет жить, собирая утиль по помойкам, а я не смогу.

Я не смогу теперь больше не помнить, не знать, как отдавалась ты мне в голой промоине, там, на крутом берегу, в свете веселого дня, так же естественно, как одуванчик и ветер, и не забуду твой смех, когда ты смеялась над страхом моим — громко, как дети смеются.

Я снова боюсь.

Живите. Сажайте картошку, растите укроп и детей, подавайте нахалам и нищим. Я устал.

Я допил вино и бросил бутылку с обрыва. К чему мне ее сдавать? Уже ни к чему.

Из влажной земли торчат молодые травинки. Их треплет ветер. Он приносит с собой запах снега, запах прошедшей зимы, но спину мою все сильнее согревает солнце. Хотел пересчитать свои деньги, стал искать их в карманах плаща, но передумал. К чему?

Клубятся, растут, раздаются вширь, взрываются перистыми слишком прекрасные, страшные, слишком слепящие облака, слезятся глаза. Сине-лиловые пятна ползут по кручам, по каменным стенам, по взволнованным склонам предгорий, похожим на сваленных в кучу, до смерти замученных женщин. Бедро, колени и спины. Ягодицы, лобки, животы. А тени скользят по ним, как по волнам, накрывая поочередно: поселки, поля, сизым дымом приметные трубы, лобки кучерявых садов, шрамы дорог, прозрачные стены прямых тополей, одинаковые, исключаящие перспективу иероглифы высоковольтных столбов, жирные складки, рубцы, пупки, впадинки, ямки, морщины. И шевелится все, изменяется, словно вода. То, что близким казалось, исчезло; то, чего не было, и казалось, что быть не должно, вдруг являлось так зримо, что верится — камнем достанешь.

Слева стоят самолеты. Замерли на ветру, словно осенние мухи, только чуть крылья дрожат. Справа, за кучами свежей земли, ковыряются в ямах киркой и лопатой в поисках медного провода, полусгнившего самовара, останков дюралевой раскладушки, брюшины прохудившихся тазов, навечно распявшихся кумганов, смятых бидонов молочных — далеко, до самого кладбища городского, не потерявшие волю бороться обнищавшие соотечественники мои. Посередине канал, бетонный, прямой, как стрела, от сердца синеющих гор до горизонта. И рядом дорога — в зигзагах,

подъемах и спусках, в объездах, заездах, наездах, как жизнь дурака. По одной из таких вот дорог БТР пробирался, то слишком резко, то тихо, как убегающий от пистолета слепой. Десять парней «шурави» с десятью степенями увечий болтались в носилках то в такт, то не в такт, матерились, кричали в бреду, стонали, молчали, просили воды, звали маму и плакали, и умирали.

Под одним из орущих она и спала. Через время буйный умолк. Но она так крепко спала, что даже его внезапное молчание не разбудило ее.

Ее разбудила кровь на своем лице, просочившаяся сквозь брезент, и она попросила себя подняться, но снова уснула. Носилки раскачивало, и капли крови иногда пролетали мимо и капали рядом и в пыль, но, когда попадали в лицо, она снова пугалась и снова хотела подняться и сквозь сон оттирала ее, машинально, как в детстве слюну, и засыпала опять.

Ехали вечность, и вечно капала кровь. Парень уже застывал в полумесячной позе, а кровь все сочилась.

Лишь когда загремели засовы, распахнулись тяжелые двери и солнце вломилось столбом, она заставила себя подняться, вскочить в суету и неразбериху, в ожившие вдруг носилки, в мешки, в ящики от патронов, истекающие человеческими соками.

Помогая, она замечала, как странно кожу стянуло на ее лице, но еще не успела вспомнить причину. И лишь немного позднее, когда трясущимися от напряжения ногами она стояла на упруго раскачивающейся земле и какой-то злак одичавший тыкался усом в кирзу ее сапога, словно о чем-то просил, — ей прокричали в самое ухо: «Что? Снова спала? Мать твою так! Чебурашка!» — она вспомнила вдруг, что лицо у нее все в крови и вид, вероятно, ужасный, но не смутилась, не напугалась и не заплакала. Даже не обозлилась. Она продолжала смотреть на чахлый колос, льнувший к ее ноге, потихоньку колеблемый ветром.

И вот тогда...

Я разбежался раза четыре, возможно, и пять. Не помню. Да и не важно. Тяжело это — прыгнуть. Почти так же, как ей — с вертолета. И, пока разбежался, подумал: а что если ногу сломаю? Или так упаду головой, что ни живым не останусь, ни мертвым? А что если нет его там — избавления, и тебя уже нет? И долго стояли мы друг против друга — горы и я. Как дураки. Пока не устали.

Солнце уже склонялось в кефирной белесости. Таяло. Похолодало. Очертания вздыбленной к небу земли потеряли рельефность. Но я все стоял. Мне казалось, если долго смотреть не отрываясь, я что-то пойму. Что-то самое важное: про себя, про тебя. Что-то такое, что сможет позволить одинаково просто — и жить, и не жить. Мне показалось, что ты — где-то там, наверху ли, внизу или где-нибудь в море, — но все уже поняла и все уже знаешь.

Я же стоял, пока солнце не село, но так и ничего не понял.

Алтынай Джуманазарова

Ломаная линия

* * *

Из касты потерянных.
Вырванные из контекста.
Не очарованные пыльным земным счастьем.
В любом месте, в любое время —
немного не к месту.
Над светом их глаз ни судьба,
ни боги не властны.
Не покидающие своих кораблей капитаны.
Командиры, знающие, что подкрепление не успеет.
Но улыбающиеся.
Лучшие всегда уходят рано.
А мы остаемся.
И приспосабливаемся, как умеем.

* * *

Дети-полночники в темных коридорах...
Взгляд уже не солнечный после разговора.
Небо карамельное затянуло плесенью;
мы друг другу верили. Безмятежно весело
Смех звенит надломленный. Я совсем не сильная...
В прямооту влюбленная ломаная линия.
Беспокойной горечью мы похожи, ласковый.
Знаешь, нам пророчили, что мы будем счастливы.

* * *

нехватка тебя — комочки в венах.
рисунки углем на холодных стенах.
чернилами — на пергаменте кожи.
нехватка тебя — в тишине: «О, Боже...»
бездомной осени резкий ветер.
чужого счастья чужие дети.
нехватка тебя — кислородный голод.
и холод. злой бессмысленный холод.

Фэйгэлэ моя...
У него мало времени. Самолет в 4 утра.
Он ее обнимает и говорит, говорит...
Он готов сдать билет, попытаться переиграть
Обстоятельства. Срывается на иврит...
Говорит о холодных водах ее весны.
О безумии стен, воздвигаемых сгоряча.
Обещает наведываться во сны.
Очень просит пить только горячий чай...
...она молча внимает его лоскутным речам.
Он ее научил не печалиться по мелочам.

* * *

Из холодного камня,
вечного, как вода
Океана (крошащего
камни в песок)
Бог когда-то сделал
такие сердца,
как твое — он жесток был,
тогда еще юный Бог.
А другие сердца
Были из огня
И горели ярче,
Чем сотня солнц.
Но сгорали быстро
И до конца —
Из их огарков
Бог наделал звезд.
После нашей встречи
Не свет в груди —
Там холодным камнем
Застыл твой след.
В темень вечного моря
Плывут корабли —
Маяка моего
В мире больше нет.

* * *

осень тебя завязала бантиком,
а меня вот — морским узлом.
оставляю ее не на вечер — на завтра, а на потом.
за дверями реальность разевает свою городскую пасть.
я мелками рисую небо и пытаюсь в него упасть.
во мне все бунтует, бушует, срывается с якорей,
паруса рвет бесстыдно холодный и злой борей,
я сижу на скрипучем полу каюты, на самом дне,
и рисую под собой небо, и думаю о весне.

Казат Акматов

Забытая застава, или Тринадцать шагов Эрики Клаус

Повесть

1.

Над уличным базарчиком Бишкека дул пыльный ветер из степи, от дынь и арбузов, лежавших прямо на земле, плыл дурманящий запах.

Эрика старалась не вспоминать о друзьях, о родителях, не одобрявших ее поездку: «Край света, очертя голову кидаясь в омут, сумасшедшая!»

В приграничный поселок Чет приехали поздним вечером. Довез на стареньком «Москвиче» какой-то парень, как показалось с первых минут, не испытывавший к ней ни малейшего интереса. На складе Минобразования загрузил машину учебниками. Там сказали, чтоб у здания Корпуса Мира захватил до Чета молодую иностранку — волонтершу.

Иностранка оказалась белобрысой девчушкой лет двадцати. Бледненькая, белесые волосенки... и эти выпирающие передние зубы! Глаза тревожные, недоверчивые.

Долго ехали молча. Эрика чувствовала себя неловко. По правилам ословского клуба «Эмо», свобода выражения чувств считалась мерилем поведения. Жить так, как велит твоя натура, быть в согласии с собой.

«Москвич» кидало из стороны в сторону, водитель обеими руками сжимал баранку. Скалы нависали над дорогой. Эрике чудилось порой, вот-вот обрушатся, и делалось страшно.

— Могут упасть?

— Скалы не падают, — хмуро ответил водитель. — Бывает, камни срываются.

— О мама мия, убивают человека?

— Случается.

— Боже мой, как можно! Я не знала, что в Киргизии камни падают на человека.

Шофер рассмеялся:

— Не каждый же день! Вот если землетрясение...

— А почему вы не говорите мне свое имя?

— Советбек.

— Как, простите?

— Советбек.

— Хорошее имя.

— Глупое.

— О, почему?

— Наш народ страшно податливый. В советское время всех детей нарекали дурацкими именами. «Комбайн», «трактор»...

— Ви не любите свой народ?

— А за что его любить? Много глупостей понаделал... Вас как зовут?

— Эрика Клаус.

Казат Акматов — родился в 1942 году. Известный киргизский прозаик, драматург, киносценарист, автор пятнадцати книг, шести романов. Лауреат Государственной премии Киргизии. Лауреат премии Н.Островского, которую получил в 29 лет за повесть «Две строки жизни». Произведения К.А. переведены на 19 языков. Живет в Бишкеке.

Журнальный вариант.

— Красиво! — оживился Советбек. — В армии я переписывался с девушкой из Казани. Тоже Эрикой звали. Татарка.

— Я рада это слышать. А почему так долго ехать?

— Горы! А кто вам посоветовал Чет?

— Я сама выбрала.

Советбек снова похмурил. И в ущелье стемнело. Водитель зажег фары...

Переночевала Эрика у директора школы.

А утром во дворе такое солнце! Привязанная к кусту тальника собачонка разразилась неистовым лаем. Ветхая веревка едва удерживала. Эрику побыстрее увели в дом.

— Вот вы и познакомились, — рассмеялась завуч Самара Орунбаева. — Своих собака не облаивает.

В гостиной висело по стенам множество шкур. Иные лежали на полу. «За любую из них партия зеленых в Осло возбудила бы уголовное дело», — подумала Эрика и спросила:

— Все это убил ваш муж или син?

— Остались от дедов! — объяснила хозяйка. — В доме теплее.

— Но здесь много солнца. Очень жарко, да?

— Да какое! Летом солнце всего два часа. А зимой почти не показывается.

Эрика поразилась:

— Почему так? Я приехала к солнцу. Читала, Киргизия очень солнечная.

— Верно. Но в Чете мало солнца. Ты приехала не в самое хорошее время. Тут все по-другому. Да еще Каган... Начальник погранзаставы. Он власть и кормилец. Не знаю, как будет дальше, но пока так. Ты, миленькая, учи наших детей английскому и ни о чем не думай. Так будет лучше. А когда Застава спросит о чем-нибудь, говори правду. Нас правда и кормит. И Каган говорит: «Мир спасет правда!»

Во дворе остановилась машина. Эрика выглянула в окно: вчерашний «Москвич», на котором приехала из Бишкека.

— Это мой сын, — сказала Орунбаева.

2.

Как всегда, с одиннадцати до часу дня, по горной тропинке прогуливался начальник заставы полковник Бронза, прозванный местными киргизами «Каганом» — правителем. На нем были красные шорты, через плечо висел мощный бинокль. В настроении пребывал неопределенном... На поводке рядом вышагивал любимый кобель, по кличке Цербер.

Чтобы два часа солнечного времени не пропадали даром и покамест в голове нет дельных соображений, полковник внимательно осматривал тропинку: не уронили ночью солдаты свежерытой земли? Пока было чисто.

Сторожевые псы из закрытого питомника учуяли Цербера. Облаяли. Тот не обратил внимания на брех: не чета любимцу полковника! Даже содержался и питался отдельно.

Дойдя до конца тропы, Бронза остановился у края глубокого оврага. В него солдаты ссыпали землю и прикрывали хворостом. Никаких следов. Наваленный хворост — больше ничего. Полковник удовлетворенно прикрыл глаза.

Одно волновало: поместится ли весь грунт, вырытый для Бункера? А если нет? Где искать подходящий овраг? Ничто не должно свидетельствовать о работе. Обнаружат — грош цена Бронзе! Бункер — штаб, центр, откуда будет править людишками. «Рожи моих офицеров и солдат заплывли жиром. Сволочи, пооткрывали зашифрованные счета в иностранных банках! У каждого по несколько бабенок. Безбедно живут... Все за моей спиной! А эти аборигены! Задницу мне лижут. Все — от мала до велика. Потому что кормлю!»

Над высокой скалой кружили птицы. Полковник поднял бинокль. Беркуты! Они всегда вызывали волнение, необъяснимое. Бронза нащупал в кармане флягу, глот-

нул виски. Шотландское, высший сорт... Кровь веселее ударила в голову. Бронза распластался на траве и долго лежал, подставив солнцу голую грудь.

Орлы поднялись над скалами и пропали из виду.

Полковник встал. В Чете — хорошо было видно в бинокль — шла обычная жизнь. Полеживали на солнышке в своих дворах, либо сидели на скамейках, разоблачившись до пояса. Называют себя «солнцепоклонниками». Расхохотался, когда услышал об этом. Они же, мать твою, мусульмане! Не знают, какому богу молиться? В Москве твердили: изучай местные привычки, обычаи... Теперь знаю этих чертей как облупленных! Хитрющий народец, однако. Водку хлещут, а помыться недосуг. И работать не любят. Я их кормилец. И наверху это знают, держат язык за зубами. Повесил их государственный флаг рядом с российским. А то и переименую заставу в честь какого-нибудь бывшего их басмача да портрет очередного президента на стену в проходной... Но пока я с Россией. Моя часть расформирована? А кому известно? Расформировали и забыли. Что высоким чинам до таких мелочей! Их рожи каждый день вижу по телеку. Эх, матушка Россия! А я здесь как был, так и буду. Со всей своей заставой.

Между тем солнце зашло, завалилось за скалы. Почернела бегущая по дну ущелья речка Чет. Казалось, время летит стрелой. «Затянули с бункером!» — поморщился полковник. — Солдаты гниды, волюны!»

И тут, на тропе, истоптанной сапогами, заметил ошметки сырой глины.

Бронза допил виски, зашагал к заставе.

Солдат, которые ночью таскали на свалку грунт в мешках, приказал запереть в зимнем загоне для лошадей и как следует проучить.

— Отдать их подонкам!

В личном составе заставы были и алкаши, и наркоманы — самое «дно», отребье. Полковник их так и называл — «подонки». В детстве над самим издевались: слабак. Призвали в армию, и повезло — попал в сержантскую школу, далее в погранслужбу. Быстро продвинулся, звездочки на погонах одна за другой... Вот когда дал волю мстительному чувству!

«Подонки» были у него в особой цене. Мутузили штрафников без пощады. Зачем самому? Восстановит против себя офицеров. Пусть отребье работает.

3.

По особому Четенскому календарю летние месяцы были учебными, а зимние из-за глубоких снегов — каникулярными. Первый урок Эрике выпал в восьмом классе на четвертое июня — на день наступления Чильде. Самый жаркий сезон.

В школу с Самарой Орунбаевой пошли после обеда. Усатый директор Союзбек Чабанов ждал в своем кабинете.

— Нашу гостью вызывают в Заставу. Сводите ее. Это в первый раз. Потом сама дорогу найдет.

Эрика ничего не поняла.

— Сходит на заставу после урока, — ответила Орунбаева. — Дело не горит.

Директор замахал руками:

— Я не имею права навязывать им свой график! Мы и так на подозрении. Я уже написал им свое объяснительное.

— Ладно, — сдалась Орунбаева. — Отложим первый урок на завтра. Кто-нибудь из свободных учителей отведет Эрику на заставу. А ты, милочка, ради бога, пиши только правду! На все вопросы — честный ответ, чтоб потом всем нам не морочили головы.

Эрика недоумевала: какая застава, зачем застава?

Набрала из школы телефон в Бишкеке. Частые гудки...

Да и что ответят?

Застава ей представлялась конторой, где требуют неизвестно какой правды. Удивительно жалкий, беспомощный вид был у директора школы, которого тоже вызывают... Значит, там недобрые и властные люди. От них все зависят?

Она нажала кнопку звонка в металлической двери с пятиконечной звездой посередине.

Открыл солдат в камуфляже.

Эрика вошла в указанную комнату. По углам четыре стола и несколько стульев. Из коридора доносился громкий говор. Через минуту появился сержант и молча уставился на Эрику.

— А мы тут заждались! Хотели посмотреть, что за птичка залетела в наши края. Ну, садись.

Эрика всегда остерегалась парней: лишь посмеются над белобрысой девчонкой. И по привычке приняла независимый вид.

— Вот ты какая! — хохотнул сержант. — Ну рассказывай, красавица, какими судьбами?

— Я не к вам приехала!

— А к кому же?

— В школу. Я волонтер. Учю английскому языку.

— Кого, учителей, что ли?

— Сначала детей.

— Тут не то что английский. Тут русский некому учить.

— Сейчас нужно английский.

— Кто тебе сказал? Английская королева?

— Эгрегор.

— Кто-кто? Какой Эгор?!

— Это коллективный разум. Идея.

У сержанта округлились глаза.

— С тобой не поговоришь. Возьми анкету-вопросник и заполняй.

В дверь заглянул солдат:

— Начались бои без правил!

Сержант заспешил и, уходя, бросил Эрике:

— Не спеши. На все вопросы — честные и подробные ответы. Приду, проверю!

Из Заставы выпроводил тот же солдат, что стоял у двери. Сунул бумагу и ушел. В машине, из которой еще не выгрузили учебники, сидели Советбек и Самара Орунбаева.

— Так и знали, что тебя задержат надолго, — сказала завуч. Погладила Эрику по плечу.

Та прижала ладони к лицу. Самара спросила шепотом: «Они тебя не трогали?» Эрика покачала головой.

— Мой паспорт взяли.

— Такой порядок, миленькая. Все наши паспорта у них. Правда, раньше этого не было. Нынче Каган ввел такой порядок.

— Я теперь никуда не поеду?! — возмутилась Эрика.

— Нет, почему? Если разрешат — поедешь.

Дома две девочки-подростки, похожие друг на друга, готовили ужин. Увидев Эрику, засияли улыбками, хотя немного робели перед иностранкой.

— Ви прекрасные девочки! Вас зовут... мм... сейчас скажу. Сайкал и Айчурек. Это имя уже киргизские. Ви их получили после независимости Киргизстана. Теперь я вас учу английскому, а ви меня киргизскому, — рассмеялась Эрика.

Самара Орунбаева, посмотрев на чистый листок вопросника, обеспокоилась:

— Эрика, когда эту анкету надо вернуть?

— Завтра после одного часа.

— Опять получается нестыковка! Завтра же в два тридцать твой первый урок.

— Я сейчас быстро пишу эту бумагу, потом утром им дам.

— Утром не примут. Отнести надо после часа дня.

— Ви думаете, у меня первый урок опять не будет?

— Если завтра сразу отпустят, то Советбек быстренько тебя подбросит в школу. Но, кто знает, отпустят ли?

Эрика запротестовала:

— Я им сегодня много-много писала. Хватит! Еще писать не буду! Я по-русски пока плохо говорю, а по-русски еще очень плохо пишу. Поэтому я им писала по-инглиш. А они порвали. Сказали, давай по-русски. Я им много писала по-русски. Они мне — давай еще пиши. Я еще писала.

Эрика показала Самаре Орунбаевой на графу «Цель приезда».

— А что ты написала?

— Волонтер. Я приехала учить детей инглиш. Они мне говорили: «Это — повод. А пиши, какой цель приезда!» Я писала: моя цель — учить детей инглиш. Они смеялись. Это, говорили, повод. А что такое слово «повод»?

Эрика вопросительно уставилась на Самару Орунбаеву.

— Повод? Ну-ка, позовем Советбека. Эй, Совет, — крикнула она в открытое окно, — поди-ка сюда! Как понять слово «повод»?

Советбек, в черной футболке, с замасленными до локтей руками, встал у двери. Удивленно хмыкнул:

— А зачем это вам?

— Эрика написала в анкете-вопроснике, что приехала учить четовских детей английскому языку.

— В какой графе? — спросил Советбек.

— В графе «Цель приезда».

— И что дальше?

— Сказали, что это лишь повод, а не цель приезда.

— Ну все, будут таскать.

— Таскать? — Эрика не поняла.

— Не верят вашему ответу. Повод — это повод, а цель может быть другая, считают они.

— Какой еще?!

Самара Орунбаева успокоила Эрику:

— Не расстраивайся, миленькая, лучше иди в свою комнату и не спеша заполняй бумагу. Вспомни, что писала в анкетах, которые днем заполняла.

4.

Самара Орунбаева чувствовала, что готовят неладное ей самой.

Дворняжка заливалась лаем, по двору кто-то бродил. Лежа в постели с дочерьми, женщина маялась: встать и посмотреть, что там во дворе? Слышны были голоса, потом стихли. Значит, кто-либо из знакомых сына...

Утром Самара нашла Советбека лежащим в своем «Москвиче» с открытыми дверцами в стельку пьяным. Двое его друзей спали за сараем.

Оставалось только горько вздохнуть. В Чете пили и женщины не меньше мужчин.

Пока соображала, откуда у парней деньги на водку, во двор верхом въехал поселковый аким¹ и сообщил, что вызывают на Заставу. Добавил: заодно может получить свою «премиальную»².

— Вот оно что! Спасибо. Но что-то рановато стали выдавать.

— Зато мизер.

— Значит, мало получим, — заметила Самара Орунбаева.

— Ничего! Теперь на твоей «иностранке» заработаем, — ухмыльнулся Аким и прищипнул своего иноходца.

От топота копыт проснулся за сараем один из парней. Долго мял ладонью подбитый глаз. Попинал пустые бутылки.

— Чо, нашел? — поднял голову его дружок.

— Да не хрена! Пошли сдавать беркута.

— Пошли-то пошли. Но ты там поторгуйся.

¹ аким — глава местной власти.

² оплаты местным жителям за «сотрудничество» с Заставой.

Они поплелись через неухоженный яблонево́й сад Советбека, и тот, у которого кровоточил глаз, буркнул:

— За это я еще больше запрошу. Беркут само собой, а мой глаз это тебе халява?

— А кто тебя просил глаз подставлять?

— Она же, падла, крыльями достала! Чуть со скалы не скинула!

Он покосился на вершину, где заранее натянутой сеткой накрыли орлицу, прилетевшую кормить птенцов.

— Пусть этот плешивый капитан сам попробует. В момент убьется нахрен!

Около полудня, с беркутом в мешке, добрались до Заставы. На плацу, заросшем жухлой травой, шло какое-то построение. Флаги у входа спущены. Поодаль от погранбатальона шеренга школьников. Обнажив голову, стоял директор Союзбек Чабанов, рядом Самара Орунбаева. Черные повязки на рукавах.

— Это че такое? — удивился парень с мешком на спине.

— А хрен его знает. По-моему, кто-то у них копыта откинул.

Сели в кустах и стали следить за тем, что происходит на плацу. Когда гроб, перетянутый красной лентой, вынесли из казармы и поставили пред начальником Заставы, тот произнес речь.

— Доблестный воин-первогодок погиб при исполнении служебного долга. Он был примерным солдатом — отличником боевой и политической подготовки. Всего себя рядовой Симонов отдавал служению великой Родине. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его сослуживцев, сержантов и командиров.

Трижды прогремел залп из автоматов. Солдаты понесли гроб к вертолету...

С лысым капитаном встретились в зарослях за казармой.

— Ну что, товарищ начальник, берем?

— Вот болван! Вертолет же улетел!

— Ну и что?

— Как ну и что! Не могу я птицу держать до следующего рейса.

— Товарищ начальник, дай аванс! — взмолился парень с мешком.

— А ты спустил цену? Или все просишь десятку?

— Да бери за сколько хочешь! — вмешался второй.

— Ну-ка покажи! — приоткрыл мешок. Орлица лежала со скрученной шеей и, когда мешок поставили на землю, затрепетала.

— Добре, — кивнул капитан. — В счет аванса налью по стаканчику первача. А птицу пока держите у себя. Скажу, когда принести.

— Может, еще наловить, товарищ начальник?

— Сколько угодно. И рубчиков добавим за голову орла. Но вы несите побольше «травки». С ней мороки меньше. Да и получите прилично.

— Вчера дали всего по десять, товарищ начальник, — с обидой пробубнил один из парней.

— Кончай плакаться, жмоты! — капитан фыркнул и повел их в подвал хозпостройки.

В связи с трауром на Заставе, в школе Чета учеба в тот день была отменена.

5.

На зеленой лужайке в центре селения уже неделю не смолкал гвалт ребятишек, гонявших с утра до вечера футбольный мяч: школа на замке. Ни учителей, ни школьников это не волновало. Приняв в полдень двухчасовую солнечную ванну, четовцы сидели по домам...

Эрика растерялась, узнав, что ее уроки срываются, и неизвестно, когда состоятся. Заперлась в своей комнате и плакала.

Сорванные уроки, наглые требования Заставы...

Что делать дальше? Всегда была уверена, что сможет преодолеть невзгоды и трудности. Ведь ее цель — благородная. В клубе «Эмо» заезжие лекторы-психологи

говорили прекрасные слова о смысле жизни. А молодежь видит его в получении удовольствий, впустую тратит жизнь. Человек же должен делать полезное для других, чтобы потом не мучила совесть.

«Как это верно!» — восхищалась Эрика.

Что-то неладное происходило в отношениях Самары Орунбаевой с сыном. Упрекала его за какие-то провинности. Советбек упорно отмалчивался. Мать плакала.

Кончилось тем, что Советбек взялся за ремонт заброшенной двухкомнатной времянки, которая стояла сбоку от дома. Работал не покладая рук, с каким-то даже исступлением.

— Будут жить квартиранты, — сказали Эрике. — Нам не помешают.

— Мне можно знать, кто они?

— Проезжие. Их стало очень много. Все ищут ночлег.

— Что такое «ночлег»?

— Это место, где можно переночевать. Комнатка, короче говоря.

— Извините, что я спросила.

— Ну что ты, миленькая, ты же у нас как член семьи.

— А собака не будет их кусать?

— Мы ее привяжем за сараем.

— А мне можно теперь с девочками на солнечный кроват Советбека?

— Конечно, миленькая. Она теперь ваша.

Прошел слух, что директора школы арестовали. И школа работать не будет.

— Нет, не арестовали, а вызвали на Заставу. Сидит и пишет объяснительную, почему без разрешения в пустующую половину школы поселили квартирантов. Вот и разбираются.

— Как разберутся, и школу откроют.

6.

Директор Союзбек Чабанов давно обдумывал план расправы со своим дружкой Бронзой. Но не будет Бронзы, не будет и Заставы. «Это невыгодно! — рассуждал Чабанов. — Невыгодно для всех. Без Заставы — каюк всему Чету. Заставу вспомнят россияне и тут же прихлопнут! Ведь такие, как четовские, погранчасти давно дислоцированы или ликвидированы. А этот молодец! Башка работает, как Дом Советов. До ликвидации успел подписать с киргизским правительством договор о совместной охране теперь уже киргизской границы. Маломощная республика обрадовалась готовенькой погранзаставе и поспешила присвоить ее начальнику внеочередное звание полковника. Оно-то, считай, фиктивное. И восседает владыка Бронза как на троне. Каждый раз повторяет: «Нет приказа о ликвидации». Еще добавляет: «Кто пустит слух о таком приказе и мне не вручит — накажу по всей строгости закона!» Хочет, чтобы такой приказ, если даже существует — не существовал. Твою мать! Это же Бронза! И накажет правдолюбцев. Дунет — и нет человека».

Союзбек Чабанов прекрасно понимал, что ничего не сможет сделать с Бронзой, но размышлять о его уничтожении любил. Однажды до того размудрствовался, что, позабыв о предосторожности, поделился с Советбеком.

— Советбек, — сказал он, приложив палец к губам, — он ведь всеми отвергнутый режим хочет восстановить. Представляешь, вчера на плацу громогласно заявил: «Отныне вы, четовцы, являетесь винтиками единого живого организма». Это чьи слова, прикинь?!

Они встретились верхом на конях посреди безлюдного поля. Но оба знали, что обязаны тут же друг на друга наступать в Заставу.

Советбек смотрел исподлобья недоверчиво и долго ничего не отвечал.

— Я знаю, ты у Бронзы на плохом счету как «афганец». Очень мало стучишь, поэтому я доверительно с тобой разговариваю.

— Мало стучу, так же мало всем верю.

— Тяжко, когда не с кем поговорить по душам.
— Изнывает душа? — скривился Советбек.
— Будь благоразумней и не упрекай человека за прошлые поступки. Все делается в свое время, по обстановке. Я не исключение. Лучше давай подумаем, как всем выбраться из дерьма. Пока Каган властвует, наше место в свинарнике.
— Деньги не пахнут, мы свое отрабатываем честно. Оба напишем друг на друга и получим зеленые. Надо будет и брата не пожалеем.
— Ты мне, конечно, не веришь. Ты моего имеешь в виду?
— Всех наших братьев, которых мы предали за восемьдесят лет.
— Это не наша с тобой вина. Коммунисты так сумели поставить дело, что не отвертеться. Предай кого угодно, и все тут.
— Павлик Морозов и рядом мы...
— Мало насчитал, — с упреком сказал директор.
— Нам сейчас лучше разойтись. В одну минуту не переродиться. — Советбек прищипнул коня.

Директор, хотя и был человеком робким, податливым, но мог проявить, когда приплет, ершистый характер. Поэтому, сидя в каталажке, терпеливо ждал встречи с Бронзой. Вину свою он признавал. Да, без разрешения полшколы отдал под ночлег так называемым «беженцам»¹ из соседней страны.

Да, он, директор, взял с них плату и готов поделиться с Каганом, отстегнуть положенные девяносто процентов, а самому, то есть якобы школе, остальное.

«Если кто арестован любой нашей службой и после того, как признает себя виновным (в письменном виде), то должен предстать перед начальником Заставы. Иное решение вопроса строго карается» — вписал Бронза в многостраничную погранинструкцию.

Пользуясь положением Заставы, полковник сжег кучу приказов и инструкций Москвы. И на всякий случай составил акт о пожаре.

Хлебать жидкую просяную кашу усы мешали. К досаде, растут не по дням, а по часам. Еще до ареста хотел состричь, но не успел. Пробовал уложить по сторонам, скрутить «чапаевку» — не получилось: слишком жесткие. Вроде бы здесь свой человек, попросил ножницы или нож, чтобы подкоротить концы усов, но солдаты охраны даже ухом не повели. Попросил жену принести алюминиевую ложку: наточить ручку о бетон. Но ложку у жены отобрали. По инструкции в каталажке разрешалось пользоваться только деревянной посудой.

«Я ему выставлю претензию, какое он имел право опечатать школу, а не только пустующую половину!» — мрачно думал Союзбек Чабанов, устав от проблем с усами. Испугался этой мысли. Этим Бронзу не возьмешь. Заорет: «Он все делает в интересах защиты государственной границы и народа Кыргызстана! А может, так называемые квартиранты-бородачи заминировали школу?»

— Чабанов! К товарищу полковнику!

Союзбек в сопровождении солдата поплелся на второй этаж.

За столом кабинета восседал сухопарый, наголо выбритый Бронза. Зеленые глаза навывкате. На правом боку, на ремне, перекинутом через плечо, висела темно-коричневая кобура.

Чабанову был известен взрывной характер Бронзы. Шея становилась пунцовой, глаза наливались кровью. Но умел придерживать язык, обходился без мата, лишь, как бы невзначай, поправлял кобуру.

А в более мирной беседе с незнакомыми людьми время от времени изображал пугающую кривую ухмылку, и его взгляд делался загадочно-пытливым.

— Садись вон туда! — указал Бронза на стул сбоку, подальше от себя. — Сколько ты у меня сидишь, небось успел завшиветь?

— Не успел. Подержи еще. Тогда может быть...

¹ под «беженцами» подразумевались наркоторговцы.

— Не завшивел, значит. Тогда хоть одумался, дурак? Зачем самовольничаешь? Ты что, порядки забыл?!

— Не забыл.

— Зачем тогда меня нервируешь?

— Сам знаешь.

— Что я знаю?

Тут Бронза смекнул, что разговор может пойти по-иному, поэтому двух телохранителей выставил за дверь.

— Так ты говори яснее. Что я знаю?

— Я тоже могу иметь к тебе обиду.

— Какую обиду?

— Какую, какую... Айнура же мне почти жена. А ты таскаешь ее к себе.

Бронза расхохотался и встал из-за стола. Расстегнул верхнюю пуговицу гимнастерки, поправил на боку кобуру.

— Да сколько у тебя жен-то, сволочь? В советское время я расстрелял бы тебя за многоженство.

— Я тоже тебя расстрелял бы. У тебя же целый гарем!

— Это теперь. Теперь-то у нас демократия!

— Демократия демократией. Но ты моих жен не трогай.

Бронза посуровел.

— Давай сюда пакет и катись!

— Выручку-то дам, — вставил и Союзбек. — Но учти, мы растеряем квартирантов. Уйдут по частным домам.

— Частники честнее тебя! Я требую пакеты, а не жалкие гроши! Сколько ты снял? Только не ври!

Директор замялся. Нехотя вытащил из-за пазухи длинный, как нателный пояс, целлофановый пакет, набитый порошковым гашишем.

— Я спрашиваю: сколько?

— Ну, сколько можно? У них-то у самих мизер.

— Ну, смотри...

Выходя из кабинета, Союзбек Чабанов чувствовал, что Юронза на него, кажется, не очень зол, и ожидал: все-таки остановит, пару слов по-дружески.

Но полковник остался нем. Молчание напугало больше всего.

7.

Очередная бада¹ у Советбека пришлась на воскресенье. Небо было безоблачным, за восточным хребтом пылало солнце. Но его еще не видно было в Чете. В ущелье сохранилась сырая прохлада, на траве блестела роса.

— Я тоже пойду Советбеку помогать? — спросила Эрика у Самары Орунбаевой за утреним чаем.

— Там ему самому делать нечего, — уклончиво ответила хозяйка.

— Тогда я буду смотреть, как играют козочки. Они очень хорошие.

Орунбаева посмотрела на своих дочерей, может быть, они тоже пойдут?

— У нас стирка, мама.

Советбек в старой широкополой соломенной шляпе шел за овцами, которых вели две белые козы с козлятами.

— Самара-апа меня отпустила, — крикнула Эрика, догоняя Советбека. — Я очень хочу пасти козочек.

— О, они такие шустрые — без нас обойдутся.

— Это первый день, когда я есть пастух!

— Поздравляю.

¹ бада — договор между соседями об очереди пасти овец.

Эрика шла по траве в сандалиях, и в утренней росе они насквозь промокли. Кожа на ногах зудела от колючек.

Советбек вывел девушку на сухую тропинку.

— Уже не щипет?

— Очень мало.

— Ходи по росе — никакая болячка не прилипнет.

— Значит, роса тоже лекарство?

— Каждая травинка, каждый цветок. Только надо знать, что от чего лечит.

В это время две козы круто повернули в сторону каменистого предгорья, овцы дружно последовали за ними.

— Они неправильно пошли! — встревожилась Эрика.

— Козы знают свое дело. Поведут туда, где трава сочнее.

— Что такое «сочнее»?

— Сладко. Вкусно.

— Ого! Значит, козы умнее баран?

— Баран есть баран. Козы — девочки, а бараны — мальчики.

Насытись, козочки, их было четверо, стали резвиться, прыгая с камня на камень.

— Они не побьются?

— Нет. У них копытки мягкие, как резиновые.

Из-за восточной горной гряды показалось солнце.

— Можно мне принимать солнце без одежды? — спросила Эрика.

— У нас полная демократия, — развел руками Советбек и отошел в сторону.

Эрика сняла футболку, лифчик и юбку. Оставшись в одних узеньких трусиках, легла на спину.

Когда солнце зашло, быстро оделась, окликнула Советбека. Он лежал неподалеку между кустарниками, раздетый до пояса. Волосатые плечи и грудь слегка покраснели. Отчего-то пришло в голову спросить:

— Советбек! Вы занимаетесь сексом?

Советбек промолчал.

— Вы меня хорошо слышали?

— Хорошо.

Эрика пожала плечами.

— Я очень плохо поступила. Шутила про секс. Ви можете меня простить?

Советбек лишь усмехнулся.

— У вас про секс запрещено говорить. Я забыла. Ви можете меня простить?

— Дело не в этом. Мы все перенимаем у вас, у Запада. Так что у нас — что и у вас: и хиты, и хопы, и эмовцы, и порно клубы, и наркобары — все есть. Так что я тебя понимаю.

— О, у вас — как у нас?! — удивилась Эрика.

— А что ты думала? Интернет, видеотехника, телевидение, сотовые телефоны у каждого. Всякие клубы, дискотеки! Все точно как у вас! Еще хуже!

— Ви все это не любите?

— Я — «афганец». Покалеченный человек. Меня заботит другое. Лишь бы не было войн. Потому что сам убивал!

— Ви убивали человека?

— Не убьешь — убьют тебя. Люди стали хуже волков. Одна нажива! Угоняют скот на ту сторону, потом требуют выкуп.

— Люди?.. Как такой возможно?

8.

Облетев на вертолете контрольный маршрут, Бронза отметил у пропускных пунктов скопление легковых и большегрузных автомашин, лошадей, ослов. Пунктов было пять, три из которых находились под особым контролем: проверка на наркотра-

фик и взрывчатку. А также задержка работников. Шли под видом нелегалов или трудовых мигрантов.

Проверка документов, личный осмотр клиентуры и сбор платежей проводились преданными Бронзе людьми.

Для сборов выручки Бронза снарядил инкассаторскую группу на трех мотоциклах «Урал» в сопровождении спецохраны из числа «подонков». Кроме того, на всем пути инкассаторов располагались снайперы.

Нередко приходилось вступать и в перестрелки с бандитскими шайками. Все пограничники и иные службы получали приказы начальника Заставы в военно-уставном порядке — на плацу под государственными флагами двух стран. Здесь же каждый понедельник награждались отличившиеся. Был учрежден и нагрудный знак, который солдатами и офицерами особо ценился, потому что выдавалась и крупная сумма в заклеенном конверте.

Получить нагрудный знак было мечтой каждого четовца. Если преуспеют в стукачестве.

В грубой робе рядового, гладко выбритый, полковник Бронза крадучись шагал вдоль берега реки вверх по течению. Цветы ятрышника, как фиолетовые наконечники стрел, выглядывали тут и там из густой травы. Бронза из любопытства сорвал несколько цветов. И тут увидел, как по косогору через заросли спускаются женщины с мешками за спиной. Их было около двух десятков — обычный контингент — трудовые мигранты, либо «беженцы». Полураздетые, взлохмаченные... Бронза, притаившись в кустах, высматривал: нет ли бабенки помоложе, поинтересней. Была! Кожа на загорелом лице и голых плечах лоснилась от пота и грязи. Потом на глаза попался стройный пацан лет двенадцати, идущий почти нагишом. Бронза ощутил прилив крови в паху...

«Заночуют в Чете и, наверняка, не в школе у ишака Союзбека. Но найти мальчишку можно».

Полковник достиг пограничной полосы и притаился к арчевому кустарнику. В бинокль было хорошо видно, как работают его КПП. Некоторые посты слишком долго задерживали людей. Значит, торгуются, заламывают цену. Часть куша эти гниды, конечно, скроют.

Бронза сделал прикидки по всем постам и только потом взялся за дело, ради которого пришел сюда.

Поблизости была нора горных ядовитых гюрз. Весной, когда прогревается земля, они сотнями выползали в поисках пищи. Но большая часть оставалась у норы. Бронза срезал длинную рогатку из таволги и осторожно раздвинул молодые заросли.

Уже с неделю, как к Бронзе вернулась знакомая телесная хандра. Легким не хватало воздуха, руки и ноги ватные. И сам отяжелел. Казалось, что в жилах кровь застывает.

«Когда ты это ощущаешь, — учил его старый охотник — киргиз по имени Мерген, — нужно очищать и обновлять кровь. А когда тебя будет подводить мужская сила, надо прямо тепленькой принимать в желудок архарову желчь».

Долго искать не пришлось. Бронза поймал за хвост и придавил рогаткой голову и окровавленное змеиное туловище поспешно затолкал в рот, чтобы ни капли крови не упало на землю. Зажмурив глаза, долго высасывал и глотал пресную на вкус змеиную кровь и с удовольствием ощущал, как она стекает в желудок.

Отужинав вечером, выпив стакан армянского коньяка, Бронза подумал о мальчишке, которого в горах видел и о котором весь день не забывал. Найдут в Чете, приведут на Заставу, отмоют как следует. Для молодчиков Бронзы труда не составит.

Бритоголовый дяденька встретил мальчишку широкой улыбкой. Подарил сотовый телефон с наушниками. Но когда стал раздевать, заплакал, отбивался руками и ногами, даже головой врезал в подбородок.

Этого Бронза стерпеть не мог. Достал из кармана электрошокер и разрядил в грудь пацану.

Проснувшись среди ночи, полковник обнаружил, что лежавший рядом с ним на кровати мальчишка мертв.

Что делать?

Бронза сволок тело на пол, добрался до раскрытого окна и, раскачав, швырнул в сторону соседнего подъезда...

Проспав допоздна, встал с шальной головой. Потребовал кофе.

В глазах солдата, принесшего полную кружку, ничего подозрительного не заметил.

Заместитель по оперативным делам майор Сидоров утром доложил Бронзе, что ночь, между четырьмя и пятью часами, у второго подъезда дома номер один найден труп неизвестного мальчика без признаков насилия и ножевых ран...

— Что еще за мальчик?

— Видимо, из нелегалов. За ним пришла мать. Просится на прием.

— Где труп?

— Пока в холодильнике. Ждем ваших указаний. Как прикажете поступить с матерью мальчика?

— Предъявите обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Когда одумается, пусть напишет объяснительную, что к Заставе не имеет никаких претензий. После этого перебросьте ее за кордон!

— А труп, товарищ полковник?!

— Неопознанные трупы подлежат уничтожению!

— Разрешите идти?

— Иди!

9.

В Чете, как и в любом селении, бывало всякое: похороны и свадьбы, пьянки и драки, веселье и праздники. И, конечно, унылые будни.

В один из таких серых дней неожиданная весть мигом разлетелась по аулу и всколыхнула людей. От соседа к соседу понеслось: ночью парень по имени Аскарбек откуда-то привез красавицу жену. Аскарбек сначала уверял: из соседнего села Покровка, потом якобы сказал другое: из самого Бишкека. Родители жениха отмалчивались.

Поступил сигнал и на Заставу.

От кого — неизвестно.

Там фиксировалось количество подобных сигналов. За месяц шесть «внешних» и три «внутренних». «Внешние» сигналы касались фактов прямого нарушения границы. Будь человек или скотина. «Внутренние» служили оценкой «морально-политического» настроения приграничных жителей.

Аскарбек пять лет упорно добивался разрешения властей запредельной страны на въезд возлюбленной в Кыргызстан, а когда наконец получил, то поступил не поумному. Сам был давнишним «сигнальщиком» и с горечью сознавал, что любой сержант расколлет его в два счета.

Были, конечно, свои люди даже из числа офицеров. Но не стал домогаться «высокого» приема.

— Садись и выкладывай! — приказал ему незнакомый сержант. — Невесту умыкнул? В наше время воровать живого человека! Когда покончат кыргызы с дикими обычаями?

У Аскарбека просветлело на душе. Сегодня же принесет объяснительную от молодой жены: все по закону, никакого умыкания.

Вернулся домой в приподнятом настроении. Соседи и близкие родственники поздравили с невестой.

— Да пусть будет прочным поводок вашей соколицы! — сказала тетка Аскарбека, приобнимая сестру и ее мужа. Развернула дасторхан со свежеиспеченными боорсаками и топленным маслом. На голову невесте накинула белый шелковый платок. Счастья молодым, чтобы впереди у них всегда паслось несметно скота, а позади бегала целая ватага здоровых детей!

Поторопилась она с поздравлениями!

На Заставе снарядили конную опергруппу из двух солдат и «добровольца» — директора школы Союзбека Чабанова — родного брата Аскарбека.

— Байке!¹ Я знаю, зачем ты едешь, — сказал Аскарбек, зайдя к нему в дом. — Когда вернешься, я тебя застрелю. Аллах меня простит.

Союзбек вывел коня. Садясь в седло, крикнул:

— Аллаха вспомнил? А когда на моей беде зарабатывал куши — не вспоминал! Так что заткнись!

Оперпогрангруппа установила, что жену Аскарбек привез не из Бишкека, а из соседней страны, нарушив границу. В кустах, недалеко от горной речки Чет, был найден плот из надувных мешков...

Уличенные в нарушении границы, Аскарбек и его жена (успели обвенчаться по мусульманскому обычаю у местного муллы) были арестованы и заключены в каземат Заставы.

«Паршивец, — презрительно подумал Бронза о Чабанове. — На родном брате гроши хочет заработать. Жен, блядей своих, ревнует, а невестку подсовывает под меня!»

С Аскарбеком быстро расправились: он во всем признался, а вот с его молодой женой вышла волынка: не понимает по-русски.

— Что вы с ней цацкаетесь! Давай ее ко мне! — приказал полковник.

— Переводчик заболел.

— Да вы что, твою мать, тут весь аул готов стать переводчиком. Зови любого! Или давай я сам!

Оставшись один, вынул из бокового шкафа саблю с золотой рукоятью, инкрустированной бриллиантами. Саблю изъяли у крупного китайского коммерсанта, пытавшегося попасть в Россию через Кыргызстан. «Хорошую цену дадут», — подумал Бронза.

10.

Все последние дни ныла душа. Тоска, чувство беспомощности. Эрика недоумевала, что это за пограничники. Уму не постижимо, взяли и закрыли школу. И никого это нисколько не волнует! Все, как одурелые, заняты погоней за деньгами. Или нравы здесь такие?

Вспомнила о Советбеке. Надеялась на его помощь, на дружбу. И кажется напрасно.

— Самара-апа, — обратилась она к Орунбаевой. — Советбек есть не киргиз?

— Почему не киргиз?

— Он сказал, что афганец.

Глаза Самары Орунбаевой посуровели.

— Об этом не стоит говорить. Была война. И он воевал.

В школьном дворе ребятня гоняла мяч. Эрика понаблюдала за игрой. Пыль, веселые крики... Увидев училку, мальчишки остановились.

— Хотите учить английский язык? — спросила Эрика.

— Ага! Хотим! — ответили вразнобой.

— Тогда откроем школу! Кто умеет открывать замок?

— Это запросто!

Отмокнуть старый висячий замок действительно оказалось делом не сложным, и вскоре все сидели за партами.

— Это мой первый урок. Мне очень, очень хорошо! Меня называйте Эрика, Эрика Клаус. Я буду спрашивать теперь ваше имя по-инглиш. Я очень быстро помню ваше имя. Ми будет очень дружить. Я люблю моих учеников. Очень люблю...

В июльской ночи пели свои песни цикады. Их стрекотания клонили ко сну, и солдаты ночного караула дремали.

¹ байке — уважительное отношение к старшему брату.

Беглецов первыми учуяли сторожевые собаки.

Погоня вначале шла по пойме реки против течения, потом собаки рванули на косогор. Следы повернули в сторону глубокого оврага, с темнеющими на дне кустарниками. Старший из солдат, задыхаясь, скомандовал: «Фас!»

Человеческих голосов не было слышно, выстрелов тоже. Слышались злобное рычание и отрывистые хрипы. Вскоре все стихло. Солдаты застали на краю обрыва лишь одну собаку, зализывающую рану в боку...

Наутро четовцы узнали о смерти Аскарбека и его молоденькой жены: сорвались со скалы вместе со свирепым пограничным псом по кличке «Добряк».

11.

Временами Бронзу посещали головокружительные идеи. Строительство Бункера было закончено. Послужит надежным укрытием валюты и наркоты. А пока в бункере можно размещать девочек на продажу и нелегалов, торговавших оружием.

На день пограничника стоило пригласить одного из претендентов на пост президента «барановой» республики. Прибежит, на баксы нюх отменный. Повесить его портрет в Бункере, рядом киргизский флаг — на колени упадет. Только вот попадет ли в президенты? Я бы помог, подкинув денег. И мне хорошо и ему хорошо!

Но главное даже не в этом. Бункер — выход в Европу. Там день ото дня растет спрос на девок и наркотовар. Гони туда «смуглянок» и «целлофаны»!

Бронза решил немного вздремнуть, но позвонил дежурный офицер и доложил о прибытии какой-то комиссии из республики.

— Спроси, по какому вопросу?

— Говорят, по жалобам, товарищ полковник!

— Гони вон!

На спутниковой связи сам Марленов, министр погранслужбы.

Бронза потянулся к аппарату.

— Слушаю!

— Товарищ полковник, предупреждаю в последний раз! Неподчинение приказу министра карается по законам воинской службы. Вы пока еще на территории Кыргызстана! Знайте свое место! Немедленно допустите моих людей к проверке жалоб. Их уже целый ворох. Так что на этот раз, полковник, вам несдобровать!

— Застава засекречена, дорогой министр, — ответил Бронза.

— Я прекрасно осведомлен, чем занимается ваша Застава вот уже несколько лет. Если Москва про вас забыла, то мы ей напомним. Я далее не собираюсь церемониться с вами!

Министр бросил трубку.

«Сволочь!» — выругался полковник сквозь зубы.

Поразмыслив, позвонил напрямую члену правительства.

— А, товарищ Каган! — заворковали в трубке. — У Кагана власть выше, чем у президента. Ха-ха, шучу... Я подумаю насчет твоего приглашения.

Спустя пару дней из Бишкека сообщили: член правительства наметил облет горных районов республики в связи с селями. Облет завершит посадкой вертолета на территории Заставы.

Бронза вспомнил русскую поговорку: «На ловца и зверь бежит». И подмигнул самому себе.

Да, эти двое понимали друг друга с полуслова.

Прибытие важного гостя приветствовал весь личный состав, выстроившись на плацу. Пригнали и местное население, заставили принарядиться. Трепетали на ветру флажки России и Кыргызстана.

— Благодарю за прием! За достойный уровень организации и качества работы заставы! — пробасил гость.

— Рады стараться! — вытянулся Бронза и щелкнул каблуками.

Вечером состоялись торжественные проводы. С рюмкой в руке, нахмуренный, важный, отъезжающий сызнова благодарил за прием. Обращался к офицерам, в

голосе звучали металлические нотки. А вот на полковника даже не взглянул. «Ну козел! — озлился Бронза. — Ведь и шубу из меха пятнистого барса, и золотую саблю получил. Каков аппетит! Придется добавить. Этот жулик чует, где пожива!»

Но когда гость садился в вертолет, заметил на лице улыбку блаженную и умиротворяющую.

У трапа обнялись.

Под утро, когда член правительства очнулся от короткой дремы, помощник доложил, что ночью неизвестные застрелили министра погранслужбы.

— Марленова?!

— Выстрелом в затылок. У своего дома.

«Шестой по счету за каких-то полгода. Ах сколько жертв в борьбе за власть, за передел собственности. Президент не может остановить. Держат вооруженную охрану за счет госбюджета. Ездят на бронированных машинах, и все равно... Теперь вот Марленов — осторожнейший офицер, воспитанник Москвы. Правда, на язык был остер»...

12.

Внешне было похоже на футбол. Игроки сидели на лошадях, а вместо мяча обезглавленная туша козленка. Под ударами камчи лошади остервенело бились крупами, топтали копытами тушу козленка, валявшуюся в пыли. Игрок должен был с седла поднять тушу и домчаться до ворот.

Это редко кому удавалось. Кончалось ушибами, кровью, а то и переломами.

«Какая жестокая игра!» Эрика поискала глазами Советбека. Среди собравшихся его не было. И вообще последнее время вел себя непонятно. Хмур, молчалив. Исчезает куда-то на несколько дней...

Кто-то ее окликнул. Оглянулась: Самара Орунбаева.

— Тебя срочно вызывают в Заставу. Почему не явилась вчера? Так нельзя, миленькая! Из-за тебя попадет и мне!

— Вам?

— Из-за тебя накажут. Живешь в моем доме. Значит, за тебя в ответе.

— Я не хочу в Заставу.

— Как это не хочу? Обязана!

— Они меня хочет сделать доб-ро-вол-цем.

— Здесь все добровольцы. Иначе нельзя. Кругом нарушители, шпионы, диверсанты. Мы должны помогать Заставе. Это же дело государственное!

— Я не хочу стукать.

— Надо, миленькая. Иначе как они соберут нужную информацию? Зато платят за каждый «стук».

— Я не умею стукать.

— Сегодня же сходи. Дадут бумагу на «добровольца», не отказывайся, подпиши! Поняла?

— Я вас очень не поняла, — возразила Эрика.

Орунбаева возмутилась:

— Не навреди себе и мне!

Эрика впервые увидела Самару Орунбаеву сердитой. Считала доброй, ласковой. А она оказалась...

— Стукать — очень сильно плохо, Самара-апа.

— Ничего в этом плохого, еще раз повторяю. Возьми бумагу и напиши, что видела и слышала. Или позвони, дадут номер телефона.

Эрика ушла к себе в комнату и закрылась изнутри.

— Ты сюда не настырничать приехала! — крикнула Орунбаева.

«Все против меня!» — подумала Эрика. Она чувствовала себя одинокой и несчастной. Стало страшно: козленок, которого бросают под копыта взбесившихся лошадей...

Местная власть держала в своем штате одного милиционера. В ведомости на получение на получение зарплаты проходил как «участковый». Щупленький холостой паренек носил милицейскую униформу с сержантскими тремя лычками на погонах и не испытывал удовольствия. Его, прежде безработного, на милицейскую должность устроил по знакомству Аким Чета. Но сразу предупредил: «Работа не легкая, будешь иметь дело с хулиганами, ворами и алкашами». С этим «контингентом» Чета участковый плохо справлялся, больше молил Бога о помощи.

На этот раз поручение Акима воспринял с облегчением: всего лишь вручить иностранке-волонтеру письменное предписание и привести на допрос к следователю погранзаставы.

— Что такое пред-пи-са-ние? — спросила Эрика.

— Приказ-предупреждение.

Пока девушка читала бумагу, участковый, его звали Сталбек, с любопытством разглядывал иностранку. Шорты, легкая футболка. Он был уведомлен, что в Чет прибыла с далекого Запада, что за ее безопасность несет ответственность акимиат¹, то есть он сам — участковый милиционер.

— Я не хочу этот приказ, — заявила Эрика.

— То есть как это не хотите? Там, видите, стоит подпись самого Бронзы.

— Что такое Бронза?

— Начальник Заставы. Вам надо явиться, иначе будут осложнения.

Эрике показалось, что милиционер ей сочувствует.

— Очень не понимаю. Почему я обязана?

— Граница. Законы военные. Все тут подчиняются Заставе.

— И школа?

— И школа. Даже я не имею права не подчиниться приказу Кагана.

— Что такое Каган?

— Да это так народ прозвал Бронзу. Каган у кыргызов то же самое что хан.

— Хан — это Чингисхан? — спросила Эрика.

— Точно! Чингисхан. Бронза — наш Чингисхан, — засмеялся Сталбек.

— Я не хочу к Чингизхану! Я не виновата.

— Надо — приказ!

Эрика решила, что подписывать никакую бумагу не будет.

— Ви можете мне позвонить в Бишкек, в Корпус Мира? — спросила она.

— Только из Погранзаставы. Другой связи с Бишкеком нет.

— Ви мне помогите?

— Помогу.

Постовой сержант проводил Эрику до кабинета следователя, майора Нигматулина.

— А, козочка! Заходи, дорогая. Понимаю, ты у нас человек еще не адаптированный к правилам жизни пограничной зоны и успела завести на себя «дело».

— Дело?

— И оно у меня лежит в производстве уже неделю. Почему не являлись?

— Я — волонтер. Учю детей англиш.

— Ловко. Слушай внимательно. Тебе ставят в вину, что ты, Эрика Клаус, гражданка Королевства Норвегии, прибыв в Кыргызстан, граничащий с Китаем, под предлогом волонтерства скрываешь свои истинные цели. Это во-первых. Во-вторых, совершаешь действия подрывного характера. То есть подбиваешь школьников к взлому замка опечатанной школы и ее захвата. В-третьих: Эрика Клаус с помощью электрика Чета Советбека имеет несколько выходов в пределы государственной границы с целью их изучения. Я требую именем Закона «О государственной границе Киргизской Республики» письменного ответа на эти обвинения. Тебе все понятно?

— Мне ничего не понятно.

¹ акимиат — местный орган государственной власти.

— Вот тебе ручка, бумага и кабинет. Пиши правду и только правду. Иначе сама себя затащишь в болото.

Поздно вечером Эрику завели к Бронзе.

— Ты что, красотка, ерепенишься почему зря! — крикнул Бронза. «Красотка» вырвалось машинально. Соплячка белобрысая. Тьфу ты, черт!

— Можешь с нами не дружить, зато примешь участие к конкурсе красоты! — и заржал.

Нажал на кнопку вызова.

— Готовьте ее к конкурсу! — приказал он лейтенанту.

Лейтенант жестом пригласил Эрику к выходу. Она запротестовала:

— Я очень не понимаю, почему не работает школа? Почему теперь на меня писали «дело»? Почему мой паспорт не дают?

— Тебя, красотка, приглашает лейтенант. Иди, он скажет, что тебе делать. Иди, иди, вон какой тебя красавчик ждет!

— Вы будете звонить в Корпус Мира? — спросил Сталбек, ожидая Эрику в коридоре.

— Какой тебе Корпус Мира! Будем готовиться к конкурсу красоты! — буркнул лейтенант.

«Конкурс красоты» состоялся на следующее утро в красном уголке. На сцене сидели Бронза и двое иностранцев. Один был представителем шейха из островов Бахрейн, другой — европеец, прибывший из Вены. Перед ними поочередно выводили девушек из содержащихся в бункере «нелегалов». Несколько изящных телодвижений, потом снимали бюстгальтер и называли имя и возраст. Имена понравившихся покупатели заносили в блокноты. Девушки старательно улыбались и строили глазки.

— Кто еще остался? — крикнул Бронза, когда «конкурс» подошел к концу.

— Волонтер. Но она ни в какую, товарищ полковник. Кусается! Так что пришлось связать.

— Посмотрим на месте, — сказал Бронза. — Экземпляр на любителя! Такой волчонок понравится самому шейху! Ему нужна и прислуга. Вы забраковали троих, а это четвертая. Так что берите каждый по две штуки, они в любом хозяйстве лишними не будут.

Эрика действительно напоминала волчонка. Глаза блестели, искусила себе руки, билась головой об стену...

Европеец смутился:

— К сожалению, я не маклер, поэтому мне трудно принять решение. Посоветуюсь. А как, между прочим, господин Бронза, эта европейка попала сюда?

— Сейчас, дорогой мой друг, все шастают по всему миру. Лишь бы поймать случайную удачу.

— Понятно, господин Бронза. А когда вертолеты?

— Сегодня ночью, в двенадцать ноль-ноль. Будьте готовы к отлету. «Козочек» мы упакуем сами. Вертолет подбросит вас к самолету Ташкент–Стамбул–Вена.. Все документы в порядке. Ради бога, только не прошлепайте таможни. Везде наши молодцы. Не перепутайте их с чужими.

— Я тоже очень хочу вертолет! — прокричала Эрика.

— Вишь, че хочет? Забирай! — усмехнулся Бронза.

— Сколько за нее просите?

— Недорого. Те пошли по сорок тысяч, а за эту прошу тридцать. Давай лапу!

Бронза протянул руку.

— Нет-нет. Сейчас я не в состоянии расплатиться. Если надумаем купить — сообщу.

— Тогда хай с вами. До встречи!

Участковый Сталбек, стоя в приемной Бронзы, старался унять волнение. Но был полон решимости идти напролом. Только вот больно долго Бронза не принимал.

Ожидает уже битый час. Казалось, что у начзаставы уже побывал весь личный состав. А его не звали. Наконец лопнуло терпение.

Сталбек отмахнул дверь кабинета.

— Разрешите войти!

— Ого! Сам главный мент пожаловал!

— Товарищ полковник, — начал сержант. — Я вынужден написать рапорт Корпусу Мира о волонтере Эрике Клаус.

— Не понял.

— Незаконно арестована. Она пользуется защитой Корпуса Мира.

— Кто?

— Волонтер Эрика Клаус.

— Я спрашиваю, кто такой Корпус Мира?

— Это... — сержант замялся.

— Корпус Мира, это — я! — крикнул Бронза, ткнув себя в грудь. — Ты не знал?!

Весь Запад со мной считается. И кое-кто в России у меня в кармане. Должен знать об этом, сержант! Должен знать, кто Корпус Мира.

— Это международная организация...

— Да хрен с ней. Я тебе толкую другое. Надо знать людей. Все по натуре трусы. Вот и в твоей тощей груди, доблестный милиционер, тоже трепещет заячья душа. Вами надо командовать, направлять как незрячих. Особенно толстопузых начальников.

Бронза вытащил из ящика стола чью-то фотографию.

— Узнаешь?

— Кто он?

— Бен Ладен.

— Космонавт, что ли?

— Дура! Это террорист. И скоро у нас будет встреча.

— Вас же арестуют, товарищ полковник!

— И ты выдашь?

Сержант растерялся.

— Что такое «мементо мори»? — вдруг спросит Бронза. — «Помни о смерти». Можешь идти!

Милиционер вспомнил, зачем пришел, и нерешительно спросил:

— А волонтер? Что с ней?

— Она, сучка, не прошла торги. Хочешь, отдам тебе в жены?

— Она же волонтер...

— И что еще за волонтер! Они везде только хахалей ищут. Бери бесплатно.

Потом отработает. Дам спецзадание.

Сталбек поднялся со стула.

— Учти, выпустишь из Чета, тебе — хана. Из-под земли достану. И держи язык за зубами! Понял?!

— Понял.

— Отвечать по Уставу!

— Так точно, товарищ полковник! Разрешите через спецсвязь позвонить в Бишкек.

— Кому?

— Волонтеру.

— Господин мент! На нее заведено серьезное дело. Отказывается сотрудничать с Заставой. Вот когда будет все в порядке, тогда, может, разрешу. Вообще, за нее ответишь головой. Да трахай ее чаще. Добрее будет.

— А школа будет работать?

— Зачем тебе школа?

— Некоторые родители жалуются.

— Гони их подальше!

13.

Через зарешеченное окно виднелось заходящее солнце. Злое, холодное.

Эрика отвернулась от окна. Ей не хотелось жить. Она пошарила глазами по камере. Вот железная тахта с матрасом. Тумбочка, кружка с водой, табуретка и складной столик, прикрепленный к стене...

Под вечер загремели дверные засовы, и к Эрике впустили милиционера Сталбека.

— Просту простить меня, — убито сказал сержант.

Эрика равнодушно отвернулась.

— Простите, пожалуйста. Я не знал, что они такие. Зря вас сюда привел. Но могло быть еще хуже. Пойдемте, — он взял Эрику за руку. — Провожу вас домой. Или ко мне. На это я получил разрешение.

Эрика подняла голову:

— Каган очень преступник. Надо позвать полицию.

— Да все они повязаны одной веревкой. А я всего лишь сержант.

— Верева? — Эрика встрепенулась. — У вас есть веревка?

— Зачем вам?

— Мне очень нужен веревка.

14.

В то утро орлы летали над низинами, охотясь на зайцев. Птенцы выбивались из рядов, пикировали на ворон и сорок. Те пугливо шарахались в кустарники.

Молодняк учился охоте.

Мелкой живности в ущелье Чет было много, однако брать ее слету орлам удавалось не часто. Жертва ловко ускользала от когтей. Неопытные орлята могли и разбиться. Иногда даже взрослые орлы калечились. Зайцы, чувствуя, что враг настигает, замирали у камня или у скалы и в последний миг резко отскакивали в сторону. Сурков, сусликов орлы выгоняли из нор на равнину, и там их настигали орлята.

Бронза и Советбек шли к далеким остроконечным скалам, где располагались орлиные гнездовья. В рюкзаках веревки, кошки, скальные крючья, ножи. У Бронзы за пазухой еще и пистолет.

Давние враги... И вот идут бок о бок, каждый думает о своем.

Напиться свежей орлиной крови, довольно змеиной. Пресытился. А к орлиным гнездовьям Бронзе нужен был опытный проводник из числа местных охотников.

— Берите «афганца», Советбека, — посоветовал первый зам по оперативным делам майор Сидоров.

Бронза засомневался: бывший «афганец» наверняка контуженный, хотя это скрывает. И всегда смотрит волком. Почему? Ответа не находил. Раз нет ответа — убрать человека! Конечно, не надо бы самому идти на мокрое дело... А кому? Да, задел на тропе локтем — и человек камнем летит вниз, костей не соберешь. «Несчастный случай»!

В кажущемся вечном и безмолвном царстве горных вершин, которые возвышались над ледниками, «кипела» своя жизнь. Здесь господствуют две могучие силы: палящее солнце и ветры.

Чуть ниже, под снежными и ледяными покровами, — благодатные воды. В камни вьелись мхи, растет горный лук, алыча, можжевельник.

Бронза и его проводник шли узкой тропой, внизу пропасть. Связались страховочной веревкой. Советбек, идущий впереди, мог резко ее отпустить, и Бронза, потеряв равновесие... Так же мог сделать и Бронза.

«Снимем орлицу — вот тогда», — думал он, глядя в перетянутую ремнями спину Советбека.

У того, чем выше поднимались, сердце колотило все сильнее. Покончить с Бронзой здесь же, потому что знал: может опоздать.

Он не убийца, он накажет по справедливости, и чтобы Бронза понял: это праведная кара. Прокричать в лицо: «Тебе, Бронза! Твоей проклятой Заставе за кровь и горе моих соплеменников, за поруганную честь сестер и матерей. За все твои гнусные преступления тебе, Бронза — смерть!»

— Ты че, бля... не держишь веревку!

Советбек оглянулся. Бронза шатался на краю отвесной скалы. Советбек разжал обе руки, скинул конец веревки со скального крюка. Бронза упал грудью на гранитный выступ. Ноги отчаянно болтались в воздухе. Он протянул Советбеку руку — тот ногой толкнул в плечо.

Короткий вскрик, и тело Бронзы скрылось за отвесной скалой...

Советбек увидел перед собою живую, извивающуюся змейкой струю снежной пороши. Начиналась обычная в этой местности снежная буря. Надо поспешить в укрытие. И, как только шагнул в обход скалы, услышал подряд несколько пистолетных выстрелов.

Стрелял Бронза!

15.

Ушлая четовская детвора уже знала, что учительница английского языка хотела наложить на себя руки, и смотрели на нее со странным, смешанным чувством. Одни жалели несчастную чужестранку, другим было интересно, как эта маленькая, бело-брысая девчушка могла решиться на такое. В Чете бывали суициды, но по основательным причинам, и хоронили самоубийц отдельно от общего кладбища без жанызы¹.

А тут: сразу в петлю! Кто-то из старшеклассников даже настроил письмо на Заставу. Ответа, правда, не получил.

Зато все четовцы узнали, что Каган отдал Эрику участковому милиционеру в жены.

Старшее поколение четовцев восприняло эту весть с удовлетворением, кто, мол, пойдет за бедолагу? Век бобылем останется. Молодые же заняли позицию выжидания.

— Посмотрим, как поведут себя помолвленные!

— Может вранье, что Каган их помолвил?

— Не вранье, люди от самого Кагана слышали.

— Значит, жениться заставил.

— Или сам ее натопчет.

— Прямо! У него столько красавиц!

16.

Лежа в госпитальной палате Бункера, Бронза вспоминал подробности своего чудесного спасения: болтался на застрявшей в скальной щели альпинистской веревке, стрелял в воздух... И пока его снимали оперотрядовцы, подлетев на вертолете, по дороге к Заставе не проронил ни слова. Пустые глаза, дрожащие пересохшие губы...

Молчание грозного начальника пугало. Особенно майора Сидорова. Чувствовал себя виноватым: он посоветовал проводника. И терялся в догадках: как все произошло? Неужели «афганец»? Может, полковник оступился?

«Афганец» же как в воду канул. Никаких следов. Поиски Сидоров взял на себя.

¹ жаназа — мусульманское моление по усопшему.

Над хребтами, где парили орлы, весь день кружил военный вертолет...

Лишь на третий день Бронза очнулся от шока.

— Алена, я голос слышал, — прошептал он.

Женщина погладила его по холодному лбу.

— Чей это голос? Мой? Нет, это был его Голос.

— Не пойму, дорогой, о каком голосе ты?

— Свыше. Он спас меня.

— Голос, что ли, тебя спас?

— Да.

— Бог, получается?

— Именно! Всевышний. Веление Божье! Все мои дела — от Господа. Аленушка моя! Тебя я не брошу.

— Точно не брошишь? — неуверенно усмехнулась женщина.

— Всех брошу, а тебя нет. Принеси кальян, покурим с тобой...

— Просили передать: ждут какие-то большие люди. Оба иностранцы. Один назвался генералом, другой муллой.

— Приму завтра утром, чую, кто такие! Один — из главарей, кто командует, между прочим, и российскими скинхедами. За ним миллиарды долларов! Другой никакой не мулла. Крупнейшая фигура «Аль-Каиды». Ты знаешь, что это такое?

— Не-а!

— И не надо знать.

Сердце бешено стучало, в ушах все еще звенели пистолетные выстрелы. Советбек, перемахнув голый хребет, забежал в глубь невысокой арчевой рощи на противоположном крутом склоне горы. Локтями, рюкзаком задевал ветки, это могли заметить на вышках солдаты.

«А может, стрелял не Бронза? Кто тогда? У солдат автоматы. Значит, Бронза. Его ТТ. Как он, сволочь, мог уцелеть? С такой высоты? Что делать? Он же меня, падла, достанет из-под земли! Надо было мочить его по-другому».

Хорошее знание горных тропинок помогло Советбеку избежать дозорных, их собак.

Под самое утро добрался до границы с Китаем, залег, затаился в нескольких сотнях метров от КПП, где служили верные друзья из Заставы. Пропустят по известной им одним лазейке. Уже светало, поисковая команда могла поставить на КПП своих солдат.

Но Советбек почему-то медлил. Да, перейдет границу, и его днем с огнем не сыщут. И вдруг озлился на себя. Как трус! Какова же ему цена?!

Вспомнил, что рядом «Змеиное гнездо». Встретиться здесь с Бронзой, когда тот придет за змеиной кровью, и рассчитаться с ним окончательно.

Но Бронза — не простак! К нему надо суметь подобраться! Чтобы ойкнуть не успел!

Если придет, то когда? Придет! Потому что еще не напился орлиной крови. Завтра, завтра...

17.

Советбек лежал в густых зарослях рядом с посадочной площадкой вертолета. Ночной иней, осевший на густых бровях, таял и застилал глаза. Вертолет на месте, значит, Бронза дома и вот-вот выйдет. Сколько лет Советбек был холуем, прислужником этому хаму! Покончить с ним теперь уже ценой жизни! Аллах поможет. Главное, выбрать момент. Ножом в самое сердце! Ни телохранители, ни Бронза ведь ни о чем не подозревают...

Из центрального корпуса Заставы стали выходить. Бронза под руку с Аленой. Улыбался. Вертолетчики запустили двигатели. Ветер от лопастей неистово валил все вокруг. Несло песком и пылью.

Советбек с ножом выскочил из кустов. Вихрь ударил в лицо. Наперерез бросился сержант охраны. Советбек вновь замахнулся, но успели выбить нож из руки.

Советбека связали.

— Майор, до моего приезда займись лично! Никакой пощады! Но оставить в живых! — приказал Бронза.

Проводив полковника на десятидневное лечение за рубеж, майор Сидоров пребывал в скверном расположении духа. Бронза поступил с ним коварно: на время своего отсутствия возложил обязанности начальника Заставы на второго зама, хотя было не по Уставу. Ничего хорошего Сидорову это не сулило. Тем более после сегодняшнего покушения!

А тут еще идиотское поведение «афганца»! На допросах молчит. Сидоров пробовал с ним иначе:

— Тебя в проводники рекомендовал я. Так что мне можешь рассказать. Что произошло в горах? Ты единственный свидетель. Рассказывай!

Советбек сидел на полу карцера в наручниках, привязанный к водопроводной трубе. Было видно, что ему все равно. Понял, что не жилец на этом свете.

Сидоров махнул рукой, оставив пленника в распоряжении одного из «подонков». Тот был обучен, как выбивать из «молчунов» признания.

«Подонки» дубасили Советбека резиновой дубинкой и никаких вопросов не задавали. Молча, методично бил. Бил по спине, по ногам, по голове. Не спеша.

Советбек лежал, не издавая ни звука.

Коли так, прибегнуть к другой процедуре. Но требовалось добро от майора, ибо клиент мог испустить дух. Видя безразличие начальника, солдат решил действовать самостоятельно. Получится — хвала ему!

Приготовил шприц, закатал Советбеку рукав, перевязал бицепс резиновым шлангом и уверенно ввел иглу во вздувшуюся вену. Советбек откинулся на спину и застыл. По телу пробежала судорога. Потом еще и еще. Глаза закатились. Голова, задержавшись, безвольно отвалилась набок, изо рта, пузырясь, потекла пена.

— Ты как сюда попал? Скажи, как сюда попал? Как ты сюда попал?

После скополамина у человека появляется тяга к общению. Препарат проверенный, сбой не должно быть. Однако Советбек по-прежнему молчал. Глаза вроде бы оживились, вопросы скорее всего понимал, но губы плотно сжаты.

Обо всем этом «подонки» доложил майору. Тот решил допросить сам:

— Ты знаешь, кто такой Бронза? — вкрадчиво спрашивал он. — Кто такой Бронза? Ты же ведь его хорошо знаешь? Отвечай!

У Советбека вспыхнули зрачки, но тут же погасли. Губы сомкнулись плотнее.

— Какие еще у тебя методы? — крикнул Сидоров «подонку».

— Скополамин — последний, товарищ майор!

— Не надо! Думай до завтра дурьей башкой!

— Есть, товарищ майор! Думать до завтра!

— Смотри, сука, чтоб живой был!

Однако на завтра Советбека не стало.

Смерть «афганца» привела в ужас майора Сидорова. Вбежал в карцер и остолбенел.

— Где бля... этот сука! — закричал он дневальным.

Те быстро привели солдата.

— Я же тебе талдычил, падла, чтоб живой был!

Он четко представил себе как будет орать на него Бронза. Был приказ: оставить в живых. Для чего? Но приказ есть приказ!

— Этого «подонка» наказать!

И распорядился, чтобы тело «афганца» отнесли в морг, состоящий из двух промышленных холодильников, да еще поставили усиленную охрану. Чутье подсказывало, труп могут выкрасть. Это было бы для майора смерти подобно. Главком обвинит в чем угодно. Даже в сообщничестве с «афганцем».

Он отказал просьбе Самары Орунбаевой выдать тело сына для похорон. Причину не стал объяснять. А когда обратилась к местному мулле, тот возвел очи к небу:

— Твой сын, Самара-ханум, не может быть похоронен на мусульманском кладбище. Убийц шариат запрещает хоронить с правоверными.

— Но он же никого не убивал!

— Хотел убить. На самого Кагана поднял руку.

— Но не убил.

Мулла отвернулся.

В доме Самары Орунбаевой воцарился траур. Она и ее дочери плакали, сидя лицом к стене. Близкие и родственники, вопреки обычаю, обходили дом стороной. Боялись доноса. Пришла только Эрика с участковым Сталбеком. Он рисковал всем: будущим званием, работой. Эрика поочередно обнимала своих учениц и плакала вместе с ними навзрыд. Советбек для нее был, пожалуй, самым уважаемым человеком в Чете.

— Почему вы очень грустный? — однажды спросила она.

— Таким мать меня родила, отшутился Советбек.

— Вы боитесь, я напишу донос?

— Донос?.. Вас я не боюсь.

— А почему тогда вы мне не говорите правду? Я хочу вам помогать.

Вы мне уже помогаете.

— Как?

— Учите моих сестер английскому. Причем бесплатно.

— Это разве помогаю?

— Конечно. Мои сестренки вырастут образованными людьми.

— Очень хорошие девочки. И очень красивые.

Это был их предпоследний разговор. Видела его еще раз, когда забежал к ним со Сталбеком, чтобы поздравить с женитьбой.

— Ми еще не муж и жена. Ми думаем, — рассмеялась Эрика, краснея.

— Обязательно поженитесь!

И вот этого человека уже нет.

— Пойдемте все вместе и просим тело вашего сына, — обратилась она к Самаре Орунбаевой.

— Бесполезно!

— Как может такое?! Это неправильно. Бронзу надо судить. Советбек был очень правильный. Бронза бандит!

Эрика, доченька, осторожней! — всхлипнула Самара Орунбаева, прикладывая платок к глазам. — Глупышка!

18.

В ночь на восьмой день отъезда главкома раздался внезапный звонок по спутниковой связи. На проводе был Бронза. Переговорив с замом, временно исполняющим его обязанности, потребовал майора Сидорова:

— Что у вас там?!

— Товарищ полковник, прошу прощения, «афганец» умер. Сердце не выдержало.

— Это ничтожество передо мной должен был предстать живым. Мог выдать кое-

какие сведения. Теперь их потребую от тебя. Не вздумай удрать. Сам знаешь, достану. Лучше подумай о моем предложении. У тебя нет другого выхода. Или есть?!

Майор Сидоров оторопел: неужто пронесло?

— Так точно, нет другого выхода, главком! Согласен!

— Кажись, не дурак! Пойдешь на самые высокие мокрухи. Но на праведные. Так что перед Богом будешь чист. Понял?!

— Понял, главком! Простите, как быть с трупом убийцы?

— У тебя есть крематорий?

— Найдется!

Кажется, избежал кары. Но киллер это — канатоходец надо рвом! А в России жена, дети...

Шли последние занятия в школе. Лето в Чете кончалось. Солнце склонялось над ущельем, становилось чужим и далеким. От этого больше всех страдала Эрика.

Хмуро шла она в школу. Выгоревшая, жухлая трава под ногами.

— Эрика! — вдруг окликнул кто-то.

Впопыхах подбежал Сталбек и схватил за руку:

— Есть срочный разговор!

— Почему срочный?

— На тебя настучали. Надо бежать. Тебя вот-вот арестуют. Написали, что ты говорила про Бронзу и Советбека.

— Самара и ее дочери?

— Да.

— Может ли это быть?

— Может. И еще как! Собирайся скорее. По моему удостоверению проскочим КПП в сторону Бишкека. Твой паспорт выкупил у сержанта.

Бишкек был когда-то становищем кочевников. Кое-где сохранились руины каменных ограждений для скота и глиняных жилищ. Но за последние полтора-два года он быстро вырос и теперь выглядел типичным среднеазиатским городом с уличными шумными базарами.

Сталбек взмок от пота, простояв очередь к кассе в душном зале аэропорта. К счастью, достался транзитный билет Бишкек–Москва–Лондон.

— Сталбек, это правда, да? — спросила Эрика. — Самара-апа, Сайкал и Айчурек на меня писали?

— Зачем мне врать? Хорошо, что донос попался моему знакомому сержанту.

— Тебя Бронза арестует, ты теперь не пойти в Чет.

— Я ему не подчиняюсь. Я официальный представитель власти, — слабо протестовал Сталбек.

— Я прошу тебя. Он не боится власти.

В огромном зале аэропорта «Манас» объявили посадку. Люди, дремавшие на диванах, зашевелились.

— Пора! — заторопил Сталбек.

В стороне от людей, в тени за колонной, они обнялись.

Эрика скрестила руки Сталбека на его груди.

— Скоро позову тебя в Осло. Ты будешь мой муж.

Сталбек угрюмо молчал. Да, он любил ее, очень любил, впервые было это в его жизни. Но понимал, и сердце страдало: расстаются навсегда.

Длинная вереница пассажиров уже стояла у трапа трансконтинентального авиалайнера.

К Эрике подошла контролерша с красной повязкой на рукаве и пригласила в служебный микроавтобус. Машина помчалась по боковой дорожке из аэропорта. Сталбек не успел сообщить, что произошло.

«Куда увезли Эрику? Что за ерунда!?» Побежал к выходу на посадку. Но двери были заперты. В милицейском участке посоветовали обратиться к таможенникам.

Те пожали плечами: у них с пассажирами все в порядке.

Сталбек поднялся на второй этаж и увидел рюкзак Эрики на бетонной площадке...

«Застава!» — пронеслось в голове. А ведь предчувствовал неладное. Перехватили Эрику! Повезли к Бронзе! Самое худшее, что могло быть. В любом другом месте человека из беды можно вызволить, а в Заставе — нет. Там свои законы.

Сталбек — маленький милицейский чин. Что он может? Стоять за стеклянной стеной аэровокзала и смотреть на одинокий рюкзак?

Но вскоре и рюкзак погрузили в дежурную мотоколяску и увезли...

19.

У орлиной стаи заканчивались дни учебной охоты. Сегодня они снова парили над низинами и предгорьями.

Подросший к осени, но все еще шаловливый молодняк, пролетая над деревней Чет, выглядывал деревенских кошек и курочек.

Один из матерых орлов медленно кружил почти под облаками и пристально следил за идущим по дну глубокого оврага человеком. Человек шел, спотыкаясь, прыгая с камня на камень. Шел в сторону Заставы.

Это был Сталбек.

Он знал, чем грозило возвращение в Чет, но не мог иначе. Спасти Эрику! Отступили все страхи — перед Заставой, перед Каганом Бронзой, перед самой смертью...

Гузаль Бегим

Тень порхающего листа

С узбекского. Перевод Николая Ильина

★ ★ ★

Деревья,
цветы
и травы
все счастливы прорастанием
я же счастливей их
хотя я и не расту

★ ★ ★

Не нарадуюсь я
если рядом трепещут листья
и птицы поют
я начинаю менять свой голос
я надеваю другое платье
и вздыхая гляжу на небо

★ ★ ★

Среди осколков разбитых пиал
сама я будто разбросанная
на все на четыре стороны

И глядя сквозь дверцы Бытия
я вижу одни осколки
и ничего кроме взгляда

Гузаль Бегим — поэтесса. Родилась в 1974 г. в Хорезмской обл. Окончила в 1991-м филологический факультет Национального университета Узбекистана им. М.Улугбека, в 2003-м — Высшие литературные курсы в Москве. Автор поэтических книг «Звон тишины» (1998), «Тень порхающего листа» (2002). Стихи переведены на русский, английский и казахский языки. Работает литературным сотрудником детского журнала «Гунча». Живет в Ташкенте.

Ильин Николай Дмитриевич — поэт, переводчик. Родился в 1950-м в г. Златоусте Челябинской области СССР. Окончил филологический факультет Ташкентского университета. Работает редактором в журнале «Преподавание языка и литературы». Автор четырех поэтических сборников: «Первая тетрадь» (2004), «По клавишам души» (2005), «На кочевьях времен» (2006), «Обетованная память» (2008).

Россыпь

* * *

Стоит мне только повернуть
ключ от счастья
и взлетают бескрылые птицы

* * *

Глаза мои — слезы осени
ладони — озера слез
Раздели нас, несхожее

* * *

По линии твою ладонь рассекшей
однажды полоснет кинжал судьбы
и рана обессмертит твою руку

* * *

Тень порхающего листа
в чей-то двор залетела
щенок укусил весну

* * *

Яблоко заклеванное птицей
растревожило дерево
запахом солнца

* * *

Уняла рукой щебет птиц
в проборе моих волос
морскую волну придержала

* * *

Когда затрепетали в зрачках моих
крылья летящей птицы
голосу своему я дала свободу

* * *

Я шепнула в ушко базилику
что люблю его
только так
сорвала я запах цветка

* * *

Вошедший сумрак отвлек меня
пройди же неслышно
мимо моей тишины

* * *

Скрестив свой взгляд с лучом луны
я хотела понять лунный свет
но не сумела постигнуть ночь

* * *

Стоит с улыбкой взглянуть на луну
и с шелестом опадают
желтые лунные листья

Елена Клепикова

Алма-Атинские быльки

*(Странички из истории нашего Города,
или Маленькие рассказы о любви)*

У каждого времени свои символы
У каждой эпохи свой певец.

Любимый город

Мы знаем Город просыпающимся и чистым, с безлюдными улицами; мы наблюдаем, как он встает после сна, грациозный и набирающий силу, как на бледной акварели неба зыбко проступают контуры домов, постепенно обретая графичную жесткость линий.

Мы ощущаем, как, заполняясь людьми и машинами, Город пульсирует, преобразуется, включается в деловой ритм, превращается в независимый самодействующий организм, и только медовые струны сосен в городских парках объединяют его с Землей и Небом.

Мы видим Город — свет, налитый с верхом в чашу гор.... Мы глядим на него, сияющего огнями, наполняясь чувством благоговейного слияния с Городом, и от этого волшебного зрелища захватывает дух.

Город — твой строгий и справедливый отец.

Город — твоя ласковая, любящая мать.

Город — твое долгожданное дитя.

Город — ты сам.

Первый полет

В 1958 году на проспекте Сталина, открыли новый универсальный продовольственный магазин системы «Гастроном». Продмаг назвали «Столичный».

12 апреля 1961 года со стороны улицы Мира к «Столичному» змеилась длиннейшая очередь — продавали манную крупу. По одному килограмму в одни руки. Впрочем, если на руках у взрослого или около него присутствовал ребенок — давали уже два килограмма, а если детей было двое, то и три кило, а уж если трое — так это же целых четыре килограмма! Очередь возмущалась и устанавливала лимит — «не больше двух детей, то есть, тьфу, килограммов»!

Очередь занимали с шести утра. Продавщица не торопилась, делала свое дело медленно, периодически зависая, и на все реплики и вопли меланхолично отвечала:

— Вас вона сколько, а я одна на крупах парюся!

В очереди стояла молодая мамаша, которая уже опаздывала на работу. Она предупредила соседей впереди и сзади, что вместо нее придет бабушка, а номерочек она, мамаша, ей на ладонь переписшет. Очередь дала добро и часам к трем пополудни появилась пожилая дама с ребенком на руках. Очередь насупилась, но смолчала. Ребенок двух с небольшим лет оказался непоседой, прыгал на руках у бабули и безостановочно верещал:

Елена Клепикова — родилась в Алма-Ате. Закончила исторический факультет Казахского Государственного университета. Работала в Центральном Государственном историческом музее РК, музее истории города Алматы, Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписей. Публиковалась в казахстанских журналах и альманахах. Лауреат литературных конкурсов. Живет в Алматы. В «ДН» публикуется впервые.

— Гагаин ител уну! Гагаин ител уну!

Через некоторое время очередь была накалена до предела.

— Бабка, уйми своего мальчика!

— Это где вы здесь бабку видите?!

— Хорошо, мамаша, дите успокойте.

— Таких детей у меня нет!

— Товарищ женщина! Замолчите ребенка!!!

В этот спор вклинился голос:

— Бабушка, а что ваш ребенок сказать хочет?

— Он говорит, что какой-то Гагарин полетел на Луну...

— Какая Луна? На Луну не летают.

— Но ребенку трудно произнести слово «космос», а что такое Луна он уже знает.

— Так что случилось?!

— Гагарин. Полетел. В космос. По радио передали.

Тут, как в плохом кино, к очереди подбежал какой-то гражданин, вопя:

— Наши в космосе!

Что тут началось! Злобная очередь браталась друг с другом, как немцы с русскими в окопах Первой мировой. Слезы, счастье — День Победы без горечи утрат! И самый потрясающий поступок совершила заведующая магазином:

— Товарищи! Граждане! Дорогие мои, все, на ком записан номерок, вместе с манкой получают по полкило лаврового листа!!!

Горбушка

В советское время очень трудно было устроить ребенка в детский сад. Хотя вроде бы и садики были, и поток детей регулировался исправно. К садикам «районовским»¹ по месту жительства относились граждане неуважительно — и дети-де там болеют чаще, и инвентарь там «хуже», и еда пожиже. К садикам ведомственным народ относился с пиететом, опять-таки не ко всем, а с выбором. Ну, чего стоил садик, допустим, Наробраза — да тьфу! Особой группой стояли садики недоступные: Совмина, КГБ и МВД, армейские — военные о детишках своих заботились изрядно. Об этих садиках говорили с придыханием и почти нескрываемой завистью. И была еще группа садиков, о которых шла слава, как о «хороших», но каким образом и насколько хороших те, кто туда «не ходил», представления не имели. Это были закрытые для чужих садики Министерства среднего машиностроения, Управления геологии и в том числе Министерства водной промышленности.

Садик завода имени Кирова стоял почти на пересечении улиц Пастера и Космонавтов, недалеко от заводоуправления, рядом с добротными многоэтажками рабочих и служащих, там, где трамвайная линия делает поворот. Во время тихого часа было ясно слышно, как звенят на повороте красные трамвайчики и ритмично татакают колеса. Солнечное двухэтажное здание с ухоженной территорией окружал классический для послевоенной Алма-Аты кирпичный оштукатуренный забор с равномерно чередующимися столбиками и коваными черными воротами и калиткой. На калитке была приварена устрашающих (для детских глаз) размеров металлическая задвижка-засов. Слева от корпуса раскинулся выложенный мелкой метлахской плиткой бассейн в виде летящего лебедя, стояли металлическая модель паровоза и ракеты. Особо гордились тем, что в ракете летали «настоящие космонавты», а на паровозе «дедушка Ленин делал революцию». Воспитатели вели политико-просветительскую работу среди дошкольников, и выступление с броневика с Апрельскими тезисами В.И.Ленина обрело доступную для детей форму. Это был первый садик в городе, в котором ввели зимнее закаливание — детей, упакованных в спальные мешки, укладывали в тихий час на застекленной веранде. «Спальники» состояли из двух частей:

¹ «Районовский садик» — детский сад, находившийся в ведении РайОНО — Районного отдела народного образования.

стеганого шлема и стеганого же вертикальными полосками пакета с пуговицами и откидным клапаном снизу. Верх из саржи мышиного цвета, изнанка из малинового сатина, а начинка из неподъемной ваты. До кровати надо было идти своим ходом, и в мешки детей паковали в теплом помещении. Ребенок в спальном мешке напоминал серый прямоугольник домино, неизвестно для какой цели увенчанный похожим на еловую шишку «танковым» шлемом. Брали «в полярники» не всех — только особо здоровых и послушных. Каждый день без пятнадцати два колонна «доминошных косточек с шишечками», сверкая босыми пятками и шлепая тапками, дефилировала «в холодную». Откидные клапаны волочились за детьми как жирные, обрубленные бобровые хвосты. Остающаяся «в теплой» часть «больных неслухов» отчаянно завидовала и во время мертвого часа рассказывала страшные истории о замерзших людях.

Почему-то все воспитательницы казались очень красивыми. Наверное, они просто были добрыми. Во время еды никогда на столах не было хлеба — его начинали разносить, когда дети рассаживались по местам. Толстые, уютные няньки снимали с подносов ломти пышного белого хлеба, давали каждому в руку, приговаривали:

— Кушай, детка. Хлебец — он сладкий...

Особо отличившимся давали горбушку. Дети не понимали — за что? Мякиш вкуснее...

Няньки и воспитательницы были ленинградками. Не все, но многие. Их вывезли умирающих из осажденного города в апреле сорок второго. Они выжили, остались в Алма-Ате. Мерилом жизни для них был хлеб.

О великий и могучий...

По улице Шевченко, прямо напротив областного управления внутренних дел в подвале работала столовая — пельменная. Обычное, заурядное заведение с подачей несложных блюд: пельмени с маслом, сметаной или бульоном, пара видов салатиков — капуста и винегрет, хлеб, теплый напиток коричневого цвета под названием «чай с сахаром». Отличали пельменную полновесные порции и неожиданная чистота. Еще бы, «контора» через дорогу почти в полном составе бегала обедать. Изготовленные промышленным методом пельмени в форме прилепнутого полумесяца с говяжьим или утиным фаршем восторга не вызывали. Народ «подмышечники», конечно, ел, но не уважал. Однако два раза в неделю, по вторникам и четвергам, там продавали пельмени, слепленные вручную, на виду у обедающих. Очереди выстраивались! — из подвала по лестнице вверх, на улицу, затем, загибаясь под прямым углом по Шевченко до проезжей части на Дзержинского, — примерно метров восемьдесят — сто.

И висела там знаменитая табличка:

«Эксплоатация пельменей — не больше
одной двойной порции в одни чистые руки»

Именно так и было написано — «эксплоатация». На фанерном прямоугольнике, примерно тридцать на сорок сантиметров, выкрашенном в зеленый цвет, со старательно нанесенными через трафарет ярко-красными буквами. Потом табличку переписали и вместо «эксплоатация» начертали слово «реализация» — тоже умное, пусть и не такое красивое.

Это было до перестройки, потом заведение тихо хирело, сейчас там круглосуточное кафе.

Про «чистые руки», интересно, это безо всякого умысла или на голубом глазу?

Энциклопедия выживания

В 90-е годы двадцатого века Алма-Ата жила, как и вся страна: в чем-то, может быть, лучше, в чем-то — хуже. По вечерам не горели фонари, улицы — заплываны семечками и завалены мусором, люди старались сидеть дома и без острой нужды от

родных стен не отрывались. По карточкам выдавали килограмм сахара в месяц, какие-то крупы, пачку сливочного масла. За маслом растительным стояли дикие очереди. Тогда-то и узнали, что помимо дефицитного оливкового, привычного подсолнечного, знакомого хлопкового и почти забытого кунжутного существует еще и сафлоровое. Которое в основном (иногда в половинной смеси с подсолнечным) и продавали населению, желающему «принимать пищу». Эквивалентом обмена были водка и сигареты, также получаемые по талонам. Одна пачка «Примы» или «Астры» без фильтра обменивалась на полтора-два килограмма картошки, бутылка водки «андроповки» уже на семь—десять. Интересно получали зарплату: в дни, когда ее выдавали (а это нерегулярно и не со всеми, но все-таки случалось), можно было наблюдать людей с полиэтиленовыми пакетами или «авоськами», набитыми пачками денег — рублей, трешек и пятерок. Сто тысяч — рублями! В музее, например, зарплату выдали коврами. Четыре с половиной месяца — ковер. В КазГУ — зарплата за месяц — палка сервелата и две пачки молотого кофе «Арабика» (судя по всему, из гуманитарной помощи). На АХБК — выдавали тканями, в одной из аптек выдали лекарствами, у которых подходил к концу срок годности (в основном импортным аспирином). Ну и народ, естественно, выкручивался, как мог. Возникали стихийные рынки, базарчики и толкучки, на которых торговали всем, чем можно, не можно и невозможно. Каждый выживал по мере сил и умений: кандидаты наук шли в посудомойки к кооператорам, персональные пенсионеры пристраивались вахтерами, драматические актеры подряжались копать огороды. Оперный певец Н., волшебный бас, срывавший в спектаклях бешеные аплодисменты, торговал с лотка нижним бельем. Женским. Он стоял в любую погоду и, завидя потенциальную клиентку, глубоким оперным речитативом проговаривал:

— Да-а-ма! Не проходите мимо! Я же вижу — ведь это ваш размер!
Девяносто процентов дам мимо не проходили!

Анекдот в тему из газеты «Время»:

Телефонный звонок:

70-е годы: — Как вы живете?

80-е годы: — Как вы? Живете?

90-е годы: — Как?! Вы живете?!

Баба Маша и Расул

В 1854 году, весной, когда из-под ломкого мартовского снега появились коричневые блюдца земли, на левом берегу речки Малой Алматинки отряд майора Перемышльского начал строительство Заилийского укрепления. Дали ему имя Верное. Строительство шло споро, и уже через год в укрепление прибыла первая партия переселенцев-казаков с семьями. Поселенцы из Сибири и Семипалатинска основали рядом с укреплением Большую и Малую Алма-Атинские станицы и Татарскую слободку.

Малая станица, в междуречье Малой Алматинки и Казачки, росла, обустраивалась, пополнялась людьми. Казаки и крестьяне чтили своего атамана, исправно работали, несли воинскую службу, ходили в церковь. Кровавым ветром пронеслись над станицей шершавые революционные годы. И снова наладилась жизнь, снова — работа, снова — воинская служба.

Стоял в Малой станице дом. Построили его в конце позапрошлого века. Как водится, огородили забором. За забором посадили сад. Шесть поколений сменилось, а дом стоял — крепкий, верный, теплый. Жила в доме большая семья: баба Маша с дедом Валерием, три их дочери с мужьями и пятеро внуков. В смутные девяностые разлетелась семья по городам и весям, и остались старики вековать вдвоем. Тихо стало. И пустила баба Маша во флигель жильца — мужчину средних лет, основательного, работающего. Соседом Расул был добрым — спокойным и хозяйственным, надежным и в будни, и в праздники. А уж праздники баба Маша любила. По традиции отмечала праздники государственные — старые и новые, праздники цер-

ковные православные, праздники семейные — дни рождения, годовщины свадеб и крестин. Собирала соседей и друзей: зимой — в доме, по летнему времени — в саду, под ажурной решеткой, заплетенной виноградными лозами. Полумер она не признавала: сказочная скатерть-самобранка бледнела перед накрытым столом семиреченской казачки. Блюда, салатницы, тарелки, миски, плошки, разных калибров и габаритов, но все усадистые и емкие. И вся эта посуда заполнена с горками закусками, заедками, салатами, соленьями, моченьями, маринадами, колбасами и тушеной домашнего приготовления, отварным, жареным и печеным мясом кур и кроликов, пирогами, плюшками, булочками и хлебом невозможной пышности и духовитости. И запивалось все это не менее изобильными ягодными и фруктовыми компотами и соками. Чинно в ряд выстраивались графинчики с домашними винами, наливками и настойками: вина — виноградные белое и красное, яблочное, сливовое, грушовка, абрикосовка, неповторимая алычовка. А наливки, наливки!!! Вишневая, смородиновая, рябиновая, из красной черемухи, дикой черешни, калины-ы-ы! Ах! Настоечки на кедровых орешках, на семи травах, на персиковых косточках, на молодых еловых лапках. И — венец творения — в центре стола, как ракета, изготовленная к взлету, двухлитровая бутылка чистейшего слезного самогона на меду.

Гости рассаживались за столом, вдумчиво, с аппетитом ели, вели неспешные беседы, как водится, о международной политике, о видах на урожай, о делах семейных. Поругивали одних, похваливали других, распалялись, спорили, подогретые напитками, переходили на крик и, в конце концов, выяснив, что неправых нет, выпивали на посошок и чинно расходились по домам.

Дед уходил спать, а баба Маша, прибрав грязную посуду, опускалась на лавочку, к ней подсаживался Расул, и они пели. Начинали с «Ой, мороз, мороз...» В их пении не было пьяно-визгливого надрыва — на грудной, бархатный голос бабы Маши накладывался мягкий прозрачный тенор Расула, и они неспешно и тихо выпевали историю загубленной жизни. Потом наступал черед казачьих песен, потом пели «Елим ай» и «Каламкас», потом уйгурскую «У моей красавицы зубки, как жемчуг», которую очень любила старая казачка, и завершала вечер «Лучинушка». Затихал отзвук последней ноты, баба Маша и Расул желали друг другу спокойной ночи и отправлялись на боковую.

Как-то после посиделок, устроившись на лавочке, вместо песни Расул сказал:

— А что, баба Маша, продай-ка ты свой дом...

— Да ты что, Расул, зачем?

— Живешь со стариком одна-одинешенька, по хозяйству тяжело, здоровье опять же и годы немаленькие... Продай дом.

— Нет, Расул, куда ж я пойду?

— А ты к детям езжай, у них хорошо — квартиры. И вода горячая, и отопление.

Продай...

— Кому продать-то?

— Мне. Я хорошую цену дам.

— Расулка, да ты что городишь?

— Продай, баба Маша, продай, я, правда, очень хорошую цену дам!

— Ах ты, говнюк! Я! Тебе! Свой дом!

— Да!

— Никогда!!!

— А посмотрим! Через год ты мне его за кусок лепешки отдашь!

— !

— !!!

В общем, расплевались баба Маша с Расулом, что твои Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

Шло время, краем уха я слышала, что баба Маша уехала к дочери насовсем или погостить — неизвестно. И вот как-то летом довелось мне побывать в Малой станице. Там почти ничего не изменилось, разве что кинотеатр «Экран» переделали в развлекательный центр, да отреставрировали и обновили церковь.

За забором бабы Машиного дома стояли пыльные, пожухлые деревья. Сухие плети дикого винограда уныло свисали со штакетин на землю. На месте некогда

пышного цветника торчали обломанные будылья. Возле распахнутой калитки какой-то старик на расколотой колоде тесал кол. Ветер трепал стружки по двору и брезгливо выплевывал их на улицу.

— Здравствуйте... — нерешительно сказала я.

Старик выпрямился.

— Расул?! Ты ли это?! — удивилась я. — Здравствуй!

— И ты, будь здорова. Заходи, помянем...

— Бабу Машу?..

— Да нет, дом помянем. Баба Маша лет пять как уехала к дочери, дом мне продала. А сад умирать стал. Я ей написал: делать-то что? А она мне в ответ: Ты, Расулка, дом люби, и сад — люби, тогда и они тебя полюбят. А я и люблю, и копаю, и поливаю. А он... И я старый стал. А она пишет, ты меня дождись, Расул, в гости приеду — выправим. А я жду. Я ее всегда ждать буду...

Синяя бочка Яшки Гершензона

В эпоху тотального дефицита вожаемой мечтой каждого дачника была пластиковая бочкообразная емкость, пригодная как для хранения воды, так и для засолки огурчиков-помидорчиков, квашения капусты, мочения яблок и иных надобностей. Счастливый обладатель пластиковой бочки мнил себя полубогом и свысока поплеывал на окружающих. Ха! Еще бы!

Яков Гершензон слыл фанатом шести соток. На своем «носовом платке» он выращивал невиданные овощи, изумительные фрукты, редчайшие ягоды и совершенно сказочные цветы. Он притаскивал на участок банки с какими-то особенными дождевыми червями — чтобы рыхлили почву, опрыскивал зелень сложносоставными органическими смесями. Постоянно что-то окучивал, поливал, подвязывал. Порхая между грядками с медицинским пинцетом в пальцах и выщипывая случайные травинки, приговаривал:

— Растите, мои дорогие, радуйте папу Яшу...

Одна только докуча отравляла ему жизнь — не было достойной тары для засолки урожая. Но, в конце концов, мечта реализовалась.

На углу улиц Пастера и Космонавтов располагалась торговая точка. Косоногий столик с раздолбанными весами, здоровенная синяя пластмассовая бочка и продащица Люська в валенках и когда-то белом халате, натянутом на тулуп. В бочке хранили селедку. Селедка была ржавая — ее брали плохо. Погода держалась мерзкая: холод, слякоть — займи, но выпей. Однако такую селедку даже под водку брали неохотно. Люська стерженела и срывалась на покупателей. Селедку перестали покупать вовсе.

Яшка подкатился колобком — купил всю оставшуюся селедку и стал счастливым обладателем бочки. Два месяца он сидел на черном хлебе и ненавистной селедке — денег не было — отдавал долги. Но его сердце грела синяя бочка. Жуя хлеб и с усилием проталкивая в горло кусок соленой рыбы, он представлял, как летом засолит в бочке крепенькие красные помидоры со смородиновыми листьями, или огурцы наполовину с патиссонами, или нет — капусту! Капусту с яблоками и брусникой. О бруснике можно договориться, пришлют трехлитровую банку с Алтая... А в декабре, когда установится погода и припорошенные снегом деревья замрут в почетном зимнем карауле, и снежинки будут жонглировать солнечными лучами, на даче соберутся друзья: растопят печь, выставят на стол сырую мужскую еду — отварную картошку, крутые яйца, розовое сало и злой сочный лук. И пока будут доспевать шашлыки, «тяпнут по первой» — ледяную водку под волшебного вкуса капусту из синей бочки. А потом будут песни под гитару — и «Милая моя...», и «Атланты держат небо...», и «Если друг оказался вдруг...»

Яшка не дождался лета. Как-то вдруг неожиданно и быстро подхватился, распродал имущество и уехал в Австралию. Когда он продавал вещи, многие просили отдать бочку. Не за так, за деньги, за хорошие деньги. Гершензон бочку не продавал, не мог он предать свою синюю мечту! В последний вечер перед расставанием друзья

собрались «на мальчишник» — вспоминали прошлое, грустно шутили, желали друг другу удачи. Яков сказал:

— Ладно, ребята, все утрясется. Увидим мы еще «небо в алмазах». Бейбут, а ты чего смурной?

— Да я не смурной... Нам вчера зарплату за три месяца выдали, ну, мы с женой и пошли по старой памяти в ЦУМ...

— И что купили?

— Шинковку для капусты. Здоровая, сволочь, что твой стол.

— А шинковка-то тебе зачем?

— Раз пришли, надо же что-то купить. А больше ничего не было. Только шинковки...

Вечер закончился, все разошлись по домам, а в три часа утра Бейбута поднял с постели звонок в дверь. Звонок дребезжал робко, но настойчиво. Бейбут открыл. На пороге стоял Яшка, а рядом...

— Я тебе бочку привез. Вот... — резко развернулся и, не прощаясь, побежал вниз по лестнице.

Как жила бочка у Бейбута — это отдельная история. Емкость возили с собой при переездах с квартиры на квартиру, смене дачи. Хранили в ней воду для полива, держали рассаду, чистили и мыли. Капусту и помидоры в ней никто не солил. Уже давно нет той страны, из которой уехал Яшка, прошло двадцать лет, а бочка все еще тонко пахнет селедкой.

Спустя много лет, в ночь под Новый год, Бейбуту позвонил Яша и, скрывая неловкость, спросил:

— Ну, как там моя бочечка поживает?

Тяжкая доля

В сквере у Оперного театра с правой его стороны есть небольшой стилизованный под «античный храм» домик — кафе «Театральное». В советские времена любимое место студентов КазГУ (историков, филологов, журналистов) и алма-атинской богемы. Место веселое, бесшабашное. Присутствовал в нем немножко кичливый вызов — а вот я-не-такое-как-все! Была в «Театралке» какая-то лукавинка, игра, неуловимый, как исчезающий аромат снега, налет порока. Очень непростое и притягательное кафе. Кормили там несложно и дорого: сосиски с горчицей или курица с рисом и зеленым горошком. Из напитков, помимо спиртного, чай и самый мерзейший кофе, какой только можно представить. Мороженое, надо отдать должное, было отменным. В постперестроечные годы кафе долго не работало, меняло хозяев, отстраивалось, перестраивалось и, в конце концов, получило ту форму, которую сейчас и имеет. Кафе «Театральное» — крайне «респектабельное, элитарное, эксклюзивное» заведение. Студенты к нему не подходят. Богема, впрочем, тоже. Однако именно благодаря своей «респектабельности, элитарности и эксклюзивности» оно пользуется большой популярностью: место тихое, кухня великолепная, obsлyгa вышколаенная. Очень удобно и для деловых переговоров и для сдержанных роскошных празднеств. Но, что самое странное, вопреки всему или несмотря ни на что в нем сохранился тот самый, прежний, неуловимый призрак порока.

И вот, после одного из «скромных» торжеств, в сквере около кафе на скамеечке сидели трое: страдалец без определенного места жительства, опрятно одетый мужчина с отечным лицом, в которое были впечатаны очки в тонкой золоченой оправе, и бывший интеллигентный человек. Бомж и Бич трепетно сжимали в руках по бутылке дорожущего импортного пива. Золотоочковый вяло вертел в пальцах четвертинку «Вителя».

Чувствовалось, что сидят они недавно. Разговор их был смутен и в основном сводился к горячему монологу любителя минералки:

— Еда, питье! То достань, это раздобудь. Теперь вот манка с утра понадобилась. А птичьего молока с помидорами не желаете?! — правая рука говорящего описала плавную дугу с крепко свернутым кукишем и вцепилась в пластмассовую синюю

крышечку. — Принеси то, не знаю что, а потом иди туда — не знаю куда. Или наоборот? Но все равно, иди...

Бомж и Бич внимательно слушали, приоткрыв рты, деликатно держа заскорузлыми лапами бутылки с пивом.

Снабженец, распаляясь от своих слов, продолжал:

— Раньше как? Сосисок, риса, курей, зелени привезешь, тебе — «Спасибо, дорогой!» А щас про «Жигулевское» никто и не помнит. Пиво — золото в розлив — названия не выговоришь, на этикетке медалей, что на генеральском мундире. А нос воротят-ят.

Бомж и Бич аккуратно отпили по глоточку. Бомж одобрительно побряхтел, а Бич, закатив глаза, сладко почмокал губами.

Снабженец, потряхивая бутылочку с минералкой, чтобы вышел газ, плакался:

— Столько добра пропадает. Фрукты и овощи отборные — с рынка беру. Рыбка из прудового хозяйства. Мясо, опять же парное — частники поставляют. Разносолы разные экзотичеч... экзочичеч... эк... в общем, редкие и вкусные...

Бомж и Бич дружно сглотнули слюну и отхлебнули пива. Снабженец продолжал:

— Виски оне не пьют — самогон! На водку оне глядеть не желают — простота. Коньяк тут один мудрец грибами с луком закусил — «Ох, ах, гадость какая, этот «Хенесси»!»

Бомж и Бич глядели Снабженцу в рот и сочувственно-уважительно кивали. А тот, наливаясь жалостью к своей издерганной жизни, вещал:

— Ша-ампа-анское пьют. Столы от всяких дел-ИК-атесов ломаются, а они тут клонут, там грызнут — и ша-ампа-анское. Только пробки хлопают. Сразу и не поймешь — то ли салют, то ли снайпер по площадям работает. Какая же печень это выдержит?

Бомж и Бич, забыв о пиве, завороченно внимали рассказчику.

— Ящиками это шампанское лакают, а потом — ой, больно, ой, не могу! — и кашу манную требуют.

Все трое присосались к своим бутылкам, как курильщики к первой утренней сигарете. Емкости опустели.

Бич аккуратно поставил глухо брякнувшую тару в клетчатую китайскую сумку и сочувственно пробормотал:

— Ты, это, не надо, не расстраивайся так...

Бомж солидарно вздохнул, вытер клочкастым рукавом рот и сокрушенно добавил:

— Ну что с них взять? Бо-Э-ма...

Люди-человеки

Художник Сергей Калмыков изначально был несколько чуден, а к концу своей земной жизни отчаянно странен. Живописец он был невероятный, разорванный надвое. Когда побеждала натура нездешняя, его фантасмагории, изломанные пейзажи и вывернутые натюрморты приобретали либо коричневые, либо зеленовато-лиловые тона, композиция плясала танго и тем не менее... Все было так болезненно узнаваемо — и Большое Алма-Атинское озеро, и закатные деревья на окраине города, и странно-прекрасные непонятные наши девушки. И богатые осенние фрукты в высоких вазах. А когда верх брало начало реальное — им использовалась вся богатейшая палитра цвета. Картины утрачивали свойства раскрашенного холста и становились прямыми окнами в мир — он пробивал пространство, а теперь уже и время. Оперный театр, Медео, ипподром и многое-многое еще. Другой, ушедший мир.

Жил он очень трудно — не было еды, одежды и, самое страшное, красок — из экономии он писал белилами и хромом — самыми дешевыми. После него осталась квартира, в которой лежали кипы старых газет — он на них спал и мастерил одежду, — куски каши, листы упаковочного картона, стертые кисти и искореженные, разорван-

ные выдавленные до абсолютной пустоты жестяные тюбики из-под краски. Его боялись — пронзительные яркие глаза заставляли ежиться любого. Ходил он в блузе из газет, потертых брюках, разбитых башмаках — подметка одного была привязана веревочкой и при ходьбе то открывалась серая пятка, то неровными фасолинами выглядывали пальцы — это было смешно и страшно одновременно. На голове — огромный бархатный берет, а через плечо неизменная холщовая сумка с нашитым корем. Неистовый чудаки, Вселенная во Вселенной.

* * *

Гульсум Жансултановна Сейдалина — изящная, как фарфоровая статуэтка, сказочная принцесса, волею обстоятельств перенесенная в другой мир. Нежная женщина с негибкой волей.

Ей так хотелось помогать людям. Лечить больных, видеть, как они выздоравливают. Ходить, подобно мужу сестры доктору Кашкинбаеву, в белом халате с трубкой-стетоскопом и мыть руки земляничным мылом. Мечта исполнилась в 1933 году. Гульсум поступила в Алма-Атинский медицинский институт. Учеба заполнила жизнь, новые знания, новые друзья и холодным ветром — отголоски политической борьбы. В те бурные годы еще не искали тотально «врагов народа», а «чистили» за отклонения от линии партии и «неправильное» происхождение. Виданное ли дело — дочь царского генерала¹, да еще и султанской крови учиться в институте! Общее собрание комсомольцев и активистов мединститута единогласно постановило: «Чуждым элементам не место среди советских студентов. Исключить за контрреволюционное происхождение». Плачущая девчонка прибежала домой: в голове не укладывалось — как же так, папа всегда был для детей самый-самый: добрый, справедливый. И кровь у нее такая же, как у всех, — красная. Но путь к образованию был закрыт. Тогда мама, Зора Жантюрина, пошла к старинному другу семьи Алиби Жангильдину. Тот взял за руку Гулю, привел в кабинет ректора мединститута Санжара Асфандьярова и сказал: «Я пришел не приказывать. Я, старый большевик, знаю эту девочку с рождения. Я ручаюсь за нее. Она не подведет». Гульсум не подвела. Отучилась, начала работать. Война, и тут же заявление: «Прошу направить в действующую армию...» До 1945 года капитан медицинской службы военврач Сейдалина боролась за жизнь раненых в полевых госпиталях на Калининском, Карельском и Ленинградском фронтах.

Она вспоминала, зябко кутаясь в пуховую шаль: «Почему-то больше всего запомнила лето 1944-го: сырое, холодное. Раненых много с раневыми инфекциями, температурящих. Они все время просили пить, пить... Вода не утоляла жажды. После перевязок я, две санитарки и несколько раненых шли собирать ягоды на болота. До захода солнца успевали собрать полтора-два ведра. Приносили в госпиталь и по полчаши раздавали раненым. Мне до сих пор снятся мшистые кочки, клочковатый туман и мы, собирающие прозрачные красные ягоды».

* * *

Владимира Арсеньевича Пышненко перевели в Алма-Ату из Самарканда в 1945 году. Перевели из артиллерийского войскового подразделения в конвойный полк НКВД. Вызвано это было тем, что по личному указанию наркома внутренних дел Лаврентия Берии создавались специализированные спортивные команды — как так, наркомат самый-самый, а спортобщества своего нет. Точнее, общество-то есть — «Динамо», созданное по инициативе железного Феликса в 1923 году, но вот Лаврентий Палычу тоже надо было отметиться и «родить» если уж не спортобщество, то хотя бы спецкоманды. В общем, «наш ответ Чемберлену» — сиречь «Спартак», «Трудовым резервам», армейцам и иже с ними. Ребята подбирались в спортивном отношении далеко не самые слабые, но, что интересно, служебных обязанностей с них никто не снимал. Уже в 1946 году в Днепропетровске Пышненко на первенстве Союза занял третье место (в ходьбе на 50 км) и стал первым мастером спорта по спортивной ходьбе в Казахстане. В те годы в Союзе практиковались военизированные переходы

¹ Действительный статский советник юстиции Жансултан Сейдалин, умер в 1921 г.

на тридцать километров с полной боевой выкладкой. Назывались они соревнованиями на приз маршала Климента Ефремовича Ворошилова. А главным переходящим призом был... бюст самого Ворошилова в натуральную величину, правда, пустотелый — гипсовая отливка — крашенный «под бронзу». Алма-Атинская команда конвойного полка НКВД была вне конкуренции на соревнованиях в Алма-Ате, Ашхабаде, Ташкенте. В 1948—50-х годах, выступая за сборную команду «Динамо», Пышненко опять-таки первым стал в республике мастером спорта по марафонскому бегу, это знаменитая дистанция в 42 километра 195 метров. Тогда ее бежали 2 часа 42 минуты, Пышненко пробежал за 2 часа 37 минут 58 секунд. Но все эти достижения — передышка в службе. Как он рассказывал, дело было в те времена поставлено на поток — масса заключенных, к которым добавились военнопленные. Алма-Ата — огромный перевалочный пункт. На углу улиц Сейфуллина и Максима Горького (Жибек Жолы), где сейчас 15-я школа, был санпропускник. И вот как-то зимой только вернулись конвоиры с этапа, а в казарму не пускают: «Принимайте новый этап». Из Чимкента этап, тысяча заключенных, военнопленные японцы на Братск. Сидят на корточках, в легких шинельках. Холодно.

— Как кормят-то вас?

— Хорошо. Торько много-много маренький риса.

— Мерзнете? Небось, лета ждете?

— Нет. Зима — хорошо. Рето — совсем прохоро: много-много маренький саморета.

Кормили-то их сплошной пшенкой, а летом заедали комары — маленькие самолеты. Разместились — по семьдесят человек в «теплушке», нары, голые доски, стужа, даже вши примерзали. Везли месяц. Не всех довезли. Да и из конвоя не все вернулись. Вот такие были времена.

А спортивные спецкоманды, в том числе и эту, Алма-Атинскую, после расстрела Берии расформировали.

Вася-чечен

В годы войны в Казахстан были депортированы чеченцы. Жили они во многих областях Казахстана, в том числе Алма-Ате и Алма-Атинской области. Но война закончилась, потихоньку жизнь налаживалась: стали обращать усиленное внимание на искусство, образование, спорт. Молодежь, способную к результативному спорту, искали по всей республике. И вот в 1946 году Павел Георгиевич Чулок, бывший тогда заведующим кафедрой легкой атлетики в Институте физической культуры, привез из Джамбулской области парня-чеченца Увайса Ахтаева. Мальчишка был красив, повосточному воспитан, уважителен. И никто даже представить не мог, что на многие годы он станет алма-атинским уникалом. Рост Васи-чечена, как его стали звать в Городе, составлял 2 метра 36 сантиметров! Уже в 1947 году он победил в легкоатлетических соревнованиях на первенство Алма-Аты. Бегал своеобразно: представьте себе — по саванне плавно и величаво скачет жираф, а почти рядом, но все равно сзади, изо всех сил семеня копытами зебры. На дорожке он был первым. Потом стал заниматься водным поло — и здесь отличился — все игроки плавают, а Вася по дну ходит! Но истинным «звездным временем» для Васи стал баскетбол. Пара — распасовщик Арменак Алачачан — нападающий Увайс Ахтаев — памятна до сих пор, настолько невероятно они были сыграны. Вася устраивался почти под «корзиной» — ждал паса на добивание, Алачачан — на распасовке. Вброс — удар — бросок — очко! Вброс — очко! И — еще, и — еще! Играя за сборную команду Казахстана, на Спартакиаде народов СССР они были лучшими. У Васи промахов не было (кстати, о точности удара — помимо всего прочего, он был великолепным билиардистом).

Из-за гигантского роста у Васи часто возникали бытовые проблемы. Посудите сами — где найти ложе такого размера? Вот и была у добротной кровати с никелированными шарами скручена спинка и в два ряда подставлены стулья, накрытые рукодельным матрасиком. А Васина «Победа»! В четырехместном автомобиле можно было ездить только вдвоем. Передние сиденья были выброшены из салона — не помещались ноги. Его мама Амина была ему точно по поясицу. Как и всякая прилич-

ная чеченская семья, они ходили гуськом — сначала мужчины, потом женщины. Картина впечатляла — идет огромный, черный Вася, за ним поспешает покрытая платком тетя Амина, ровно вполовину меньше. Вася страшно не любил, когда на него глазели и попусту любопытствовали. Однажды он стоял в парке и пил пиво. К нему подбежал мальчишка и прутиком очеркнул стопу — с пятки и с носка (очевидно, пацаны поспорили о размере Васиной ноги). Вася что-то страшно прокричал почеченски, швырнул кружку, ногами затер метки и ушел. В начале шестидесятых он неожиданно исчез, говорили, что уехал в Грозный. А у него было больное сердце, жили они бедно, и опять-таки говорили, что он завещал свой скелет мединституту, получив за это малую толику денег. Скелет из мединститута пропал. Якобы приехали родственники и то ли выкупили, то ли выкрали — все одно, нельзя по горским законам на поругание тело отдавать. Так что на Родину Вася-Увайс все-таки вернулся.

Раввин, исполнивший свое предназначение

Невысокий, в клетчатой рубаше, стоптанных ботинках, испачканных глиной, он бодро семенял по улицам Алма-Аты. Пушистые волосы и борода одуванчиком окружали голову. Когда сквозь них просвечивало солнце, одуванчик превращался в золотой нимб, и по Городу шел святой.

Внук Коцкого раввина и сын местечкового учителя закончил ешибот и сам стал раввином. Жил в разных семьях, читал Талмуд... Сколько горя видел он, сколько страданий. И появилась потребность прокричать об этом страдании. Одного сострадания было так мало. Он оставил религию и стал скульптором. Его служение перешло в иную форму. Родился Мастер.

Он голодал и работал. Его скульптуры потрясали. Ему делали заманчивые предложения, зазывали в Америку. Он только смеялся ... и отказывался. В круг его общения входили люди эпохи: Горький и Алексей Толстой, Волнухин и Рушиц, Маяковский и Есенин, Коненков и Арэнд, Волошин и Шагал.

1937 год разделил жизнь на «было» и «будет ли». Он создал невероятного Пушкина и был арестован как «японский шпион», искалечен, выслан в Казахстан. Степь, нет глины, нет дерева — сыпучий песок. Он работал. Добрые люди несли ему куски дерева, чурбачки, доски, и он вдыхал в них жизнь. Он прикасался к ним руками, и «уснувшая древесина» начинала смеяться и плакать, рассказывать странные истории и танцевать, начинала мыслить.

В Городе он появился в 1944-м. Страшно бедствовал и работал. До сих пор помнят старика, который каждое утро обнимал огромный столетний карагач на пересечении проспекта Сталина и Октябрьской. Потом из этого дерева возродился Джембул — самый удивительный портрет великого акына.

Он работал в глине, иногда в гипсе. После переводил свои работы в дерево. Любое дерево — живое. Но у каждого образа своя жизнь и свое дерево. Может, поэтому его работы так музыкальны: в них собрана могучесть звука — от мощи реквиема до изящной легкости сонатины.

Ему было интересно жить, он был счастлив и жизнелюбив. Держа в руке покусанное яблоко, смеясь, говорил:

— Вот в Алма-Ате много карагача. А в раю, куда я попаду после смерти, его, думаю, еще больше. Там много обнаженной натуры. И я буду делать райские скульптуры из райского дерева!

Исаак Иткинд — Золотая птица с изумрудными перьями.

Чистая победа

В советские времена по всему Союзу, да и за рубежом гремело имя известнейшей профессора-лингвиста Н. — она разрабатывала и внедряла новейшие технологии запоминания, воспроизведения, разговорной речи. При некотором усердии даже

самые дубовые школяры начинали шпрыхать, спикать и парлекать через календарный месяц. В начале двадцать первого века она была уже на пенсии, активно не работала, а жила в свое, честно заработанное неустанными трудами, удовольствие — вояжировала, навещала друзей, коих было немало по всему по белу свету. Приятели пригласили ее погостить у себя, в Алматы — бархатный сезон, вторая половина сентября — мягкое солнце, чуть желтеющие листья, осенние яблоки... Жили приятели в «Самале», а там перманентно что-то строят, копают, перекапывают и как назло перед приездом Н. в Городе с неделю шли проливные дожди. Прилетела она в ночь на пятницу, приятели ее встретили, обустроили, дали ей ключи и, сказав: «Не скучай денек, делай, что хочешь, с субботы мы в отпуске — программа разработана», — убежали на работу. Отоспавшись, Н. решила осмотреть ближайшие окрестности. Привела себя в порядок и выплыла на улицу. Полуденное солнышко нежно грело, утробно ворковали голуби, умытый Город сиял, как токайское в прозрачном бокале.

Пребывая в полнейшем душевном покое, отдавшись магии осени, Н. тихо брела по улице. И неожиданно почувствовала, что ее ноги не могут сделать и шага. «Эк, пробило, видно, старею», — подумала она, медленно опустив глаза долу. Черные французские туфельки из кожи половозрелого крокодила влипли в такой же черный асфальт. Перед ней расстиралось парящее асфальтовое поле, разбавленное лужами жидкой грязи, которые старательно растирали мужики в оранжевых жилетах. Слева тротуар занимали строительные леса, по которым браво ползали рабочие человеки, рассыпая мелкий строительный мусор и искры сварки. Строители и дорожники вяло переругивались — и тем и другим надо было давать план. «Влипшая» Н. скромно спросила:

— Товарищи, а как мне отсюда пройти туда? — и лапкой показала куда.

Такой шанс позабавиться с «барынькой» упускать было грешно. Строители и дорожники, сплотившись плечом к плечу в разбуженной классовой ненависти, дружно стали ей советовать куда, как и с кем ей следует пойти, при этом обозвав «теткой». Сама Н. рассказывала, что стерпела бы все, но «тетку»... Выпрямившись, как перед ученым советом, она оглядела пролетарское воинство и завернула такое! За три минуты, ни разу не повторившись, она объяснила им, кто они такие есть и куда ей все-таки надо пройти. Секунд десять стояла напряженная театральная пауза. Потом плотину прорвало и рабочие (подобно Кторову перед Алисовой), скидывая с себя ватники и жилеты, настелили Н. «правительственную дорожку», по которой она и прошла до чистого места.

Очень мало кто знал, что докторскую диссертацию Н. писала о ненормативной лексике русского языка.

Злокозненный дождь

Дело было незадолго до 9 мая. Съёмочной группе одного из телеканалов надо было ко Дню Победы поднять сюжет о госпиталях в годы войны. Когда все было сделано, редактор решил, что надо бы завершающим аккордом пустить кадры с памятником бойцам, умершим от ран в госпиталях Алматы. Мемориал находится на центральном кладбище по Ташкентской улице (тогда проспекту 50-летия Октября). Съёмочная группа в составе помощницы редактора, оператора и водителя выехала к месту работы. Все были молодые, «продвинутые», за километр была видна их принадлежность к творческим кругам: черные курточки, черные джинсики, волосы, заплетенные в тугие косички — у «мальчиков» — подлиннее, у девочки — покороче. Несли они с собой кофр с аппаратурой и веселенький бумажный китайский зонтик — ширму от лишнего солнца.

Час дня, работу они закончили, камеру свернули и двинулись к выходу. И не успели. Через центральные ворота следовала погребальная процессия. Кого провожали в последний путь — осталось неизвестным, но что человека, почитаемого родственниками, — однозначно. Людей была масса, катафалк, оркестр (не лабухи какие-нибудь, а очень сыгранный достойный музыкальный коллектив), венков — удивляющее количество — все по высшему разряду.

Троица скромно встала недалеко от выхода и стала поджидать конца процессии. Величаво проплыл катафалк, прошел оркестр, пронесли венки, мимо потекла скорбная колонна. И тут, как всегда неожиданно, резко и сильно полил дождь. «Теле-ребятишки» открыли свой бумажный зонтик — какая-никакая, а все-таки защита — и стали ждать освобождения. В Алма-Ате кислотные и иные вредные дожди не редкость, все знают, как это нехорошо, и всегда пытаются прикрыть хотя бы голову. Осадков в тот день не предвиделось, вода хлынула обвально. И что прикажете делать?! Дождь ненадолго отвлек их внимание от процессии. Когда же они опять сфокусировались на колонне, глазам их предстала сюрреалистическая картина. Под серыми косыми струями шли мокрые люди в полиэтиленовых пакетах на головах! Пакеты были разные: прозрачные и цветные, с надписями и без, с фривольными картинками и стандартными рекламными надпечатками. Траурная процессия превратилась в карнавальное шествие.

С «волками от голубого экрана» случилась коллективная истерика. Смеяться нельзя! Ни под каким видом! Нельзя! Нельзя! Нельзя! Они стояли, скорбно склонив головы, и кусали губы. Первым не выдержал оператор:

— О-о-о! Не могу-у-у больше-е-е-е..., — тело его сотрясал клочущий кашель, слезы из судорожно сжатых глаз били на полметра. На его плече, утирая кулаком сопли, рыдала девчонка-редакторша. Водитель с размокшим зонтиком в одной руке и клетчатым носовым платком в другой стоял как памятник семафору, рука с платком тряслась и синхронно попадала в такт играющему оркестру. Шепотом они еще пытались уговорить друг друга прекратить:

— Да что же это такое делается!

— Ну, уроды, перестаньте...

— Сил нет...

— Уй-уй-уй...

— Ы-ы-ы!!!

Люди, проходя мимо, бросали на троицу внимательные взгляды, проникались моментом, и — слезы заразительны — многие тоже начинали плакать.

Наконец, процессия прошествовала мимо. Когда троица, тихо всхлипывая, совершенно обессилив, собралась выходить, откуда-то из головы колонны к ним подошел осанистый человек в великолепно пошитом насквозь мокрым костюме и, протягивая стодолларовую купюру, сказал:

— Прошу вас, не отказывайте, это от чистого сердца. Я знаю, услуги ваши контора оплачивает, но вы так искренне, от души переживали... Возьмите, — и засунул денежку в карман оператора. Троица стояла, потупясь, шмыгая носами, ничего не понимая. Девушка вдруг, подняв глаза, выкрикнула:

— Это невыносимо! — и пулей рванула к выходу. За ней, вытирая смешанные с дождем слезы, потрусили остальные.

На голове осанистого мужика красовался алый хрусткий пакет, аккуратно свернутый пионерской пилоткой!

Уже за воротами, когда троица, отписавшись, выползла из кустов, первое, что они сделали — нашли обменный пункт и поменяли деньги. Потом разделили и отвезли половину в мечеть, половину в Никольскую церковь.

Приняли их за профессиональных плакальщиков.

В Москве и Питере в то время стало модным нанимать плакальщиков, народ подумал, что и до Алма-Аты докатилось.

Слухи

1983-й. Как-то вечером небольшая группа студентов шла по проспекту Абая между улицами Сейфуллина и Дзержинского. Весна, они молодые, веселые, не обремененные заботами, возвращались с репетиции спектакля — приближался фестиваль «Студенческая весна». С собой несли мобильный реквизит, который использовали в пьесе. Спектакль удавался, настроение прекрасное. И тут одна из девушек предложила: «Пойдемте ко мне, попьем чаю. Маман испекла такой торт!» Несмотря

на десять часов вечера, искушению поддались все, кроме Антонова: «Мне ехать далеко. В «Орбиту». Я — домой». Его стали уговаривать, потом слегка применять силу. В конце концов, сублильного Андрюшу крепко взяли под руки, прилюдно вытащили у него из кармана пистолет (потрясающий агрегат — выполненная «в ноль» копия пистолета Макарова, завезенная откуда-то из зарубежья и совершенно не похожая на привычные игрушечные пистолетики) и повели. Он тащился, приволакивая ноги, постанывая и вскрикивая: «Только не надо по почкам. Я сам пойду!» Сзади шел здоровенный лоб с костылем в левой руке и с отнятым пистолетом в правой, тыкал этим пистолетом в антоновскую спину и грозно рычал: «Шевели копытами, угод! Свидетели и понятые — не отставать!». Все это на глазах у потрясенных прохожих, некоторые из которых видели начало действия, некоторые — конец, но понять не мог никто и ничего. В этот момент к остановке подкатило маршрутное такси, и Андрей, невероятно извернувшись, выдрался из цепко держащих его рук, побежал и заскочил в маршрутку. Салон маршрутки являл собой ярко освещенную сцену. Беглец захлопнул дверь и стал ее держать. К окнам уже приблизились преследователи — первым, размахивая костылем и пистолетом, наседали амбал. Пассажиры, ничего не понимая, на всякий случай вжались в сиденья. И тут гениальный математик Андрюша нашел не менее гениальное решение: поняв, что сейчас его достанут, он крикнул: «Держите дверь! У него пистолет!». Водитель вдарил по газам. Что удивительно, пассажиры, сидевшие близко к выходу, дружно вцепились в дверь, а те, кто сидел близко к шоферу, сердобольно заорали: «Подожди, щас инвалида подберем». На что пассажиры у двери не менее дружно завопили: «Это не инвалид! Это маньяк!». Такси, плюнув синим дымом, рвануло вперед и за стеклами мелькнули выпученные от страха глаза и перекошенные физиономии пассажиров.

На следующий день по городу поползли слухи о маньяке-инвалиде, который сбежал от опергруппы и преследовал граждан — жителей «Орбиты» — в самом центре Города, и только благодаря мужеству шофера им, гражданам, удалось скрыться от жуткого убийцы¹.

¹ На углу улицы Сейфуллина и проспекта Абая находился дом скорби, попросту психушка для буйных, а по улице Дзержинского вниз — различные учреждения МВД.

Айгерим Тажи

По подобию птицы

* * *

В доме окно
На окне горшок
В горшке веточка
Вяжет пинетки сонная женщина
Внутри нее рыба без воздуха мечется
А ей хорошо

Улыбается будто себе в живот
Крикам на улице
Разбитой лампочке
Черным вестям из нечерного ящика.
Женщина ждет неперменного мальчика
Девочка тоже сойдет

* * *

буду биться в истерике телом о плен-плафон
как последняя бабочка выжившая не в сезон
в одиночестве выросшая нервно себя слепив
по подобию птицы прикованной на цепи

чтобы сердце вместить в себя скальпелем полосни
по груди переполненной кровью былой войны
через жабры впитавшей соленость глубинных вод
посади сердцевец помести в свое чрево плод

я дышу на стекло но оно не спешит мутнеть
тело вдруг полегчало на четверть душа на треть
над весами зависла но тяжесть зовет ко дну
через белую пелену

мы зароемся словно рыбы в цветной песок
плавниками закроем уши глаза лицо
наглотаемся жидкости пусть захлебнется та
что пустила корни в расщелине живота

* * *

этот город затоплен лучами зарева
стерты с карт повороты маршрута старого
волны времени держат суда у берега
ходят Нои в ковчегах из протодерева
нагибая под балками трюмов головы

твари в парах в квартетах стадами стаями
из наивно-святых вырастают правыми
чинят души ваяют себе подобное
перед смертью приходят на место лобное
нагибая под тяжестью судеб головы

перед сном каждый вечер привыкли каяться
прогибаются души тела ломаются
по лекалам старинным чужого города
мы не впишемся снова в масштабы молодость
ускользает сквозь пальцы со снимков скалится

подпираем ладонями главы тучные
ночью в седлах к заутрене снова выючные
тянем баржи ковчеги года плен города
нас впрягли привязали к столбам за бороды
и забыли оставив навеки мучиться

* * *

немного выплеснуть накопленное в сердце
в младенца розового вырасти из старца
пусть солнце вычертит на коже знаки
сложим
плюс минус голову
узнают новобранца
по выцветшим от долгой-долгой жизни
глазам одеждам снимкам снам отчизне
уйду на север это будет честно
оставлю сердце а не то на части
спиною к раю на краю у счастья
душа распушит лепестки и листья
размножит почки и надует гроздья
лианы обовьют сухие кости
а там трава накроет

* * *

Воронье с берегов небосклона
разлетается комьями почвы.
Дождь рассыпал не капли – патроны,
жаркий лоб поцелуями смочен.

Мы умрем, а проснемся другими,
с новой кожей, но старой душою,
пережившей кончину без шока.

Сами выберем церковь и имя,
вновь устав, отсыреем, как глина,
для ваятеля с пальцами Бога...

* * *

утро выклевано птицами	солнце вытравило пряди
с глазами-зернами	до снежно-белого
шлейф зари с заплатой облака	и из зеркала вспотевшего
рассвет заштопан	повеяв холодом
утонув в подушке с якорем	отражение как птица
зажмурюсь, вздорная,	сорвалось с мелко
чтобы	водья

* * *

Я хочу запомнить твой запах, твой цвет и завтрашнее,
Выпавшее тузами в высохших чайных катышках,
В дорожках кофейных зерен, созвездиями на карте родинок.
И даже если седой горбун на туманной ратуши
С того берега крикнет мне что-то совсем неспелое
Через буквы зелено-кислые и точки белые,
Я считаю с губ ветра светлое предсказание.

И пусть будущий день предрешили, а после отсрочили,
Переставили точки, концы, предисловья в пророчествах
Твоего возрождения. В дебрях Святого Писания
Ты как будто вернешься такой же, как был (восклицание)
Только этого мы не увидим (увы, многоточие).

* * *

Дождь пробежался по клавишам листьев.
Пресное море калоши наполнило.
Комья земли копытцами выросли.
Радугой-нимбом увенчаны головы.
Нежно кряхтим отсыревшими песнями.
В лужах рыбачим крючками-вопросами.
Влажной чертою лицо перерезав,
капля повисла на кончике носа.

* * *

словно лик в поликлинике ангел в белом
прикасается чем-то холодным к телу
ослепляет стоватткой и тучей ваты
прикрывает мне солнце а бог в халате
разделяет по комнатам обращенных
вот и трон принесите мою корону

* * *

примеряя чужие головы	заметь
на шейный кол	сердце за нарисованным очагом
перед зеркалом	на замке
передразниваю себя	не ключи звенят, а кусочек меди
соло имени по вкусу древнее соли	зажатый колокольчиком в кулаке
которую пуд за пудом да второпях	
чтоб быстрее ближе нам стать	

* * *

истина летает южным шмелем
 обдавая нектаром облака келью
 коли мель под ногами мы будем в теле
 видеть океанскую глубину

где киты уплывают за край планеты
 пойманные на блесну солнца а следом
 по воде бегут люди крылатые светлые
 останавливаясь чтобы уйти ко дну

* * *

богородящее облако
 золотобокие яблоки
 засыпают окно снаружи

кожа покрылась бутонами
 косы сплетаются в коконы
 мерно укачаны бабочки
 ветром простуженным

* * *

у меня сердце горькое	небо чужими выдано
клетка грудная тесная	ветрами порывы тщетные
иду по дороге из города	на ошупь глаза с изъязнами
в разбрызганные по холмам окрестности	сердце полынью обмотано
во вдохе немного воздуха	раненое за ставнями
и слов хоровод на выдохе	век зазеркалье душное
за рваный шатер из войлока	узниками разрушено

* * *

Сердце перегорело. Под кожей с копотью
 вхолостую года провернули лопасти.
 На причале рыбак, что исчезнет в омуте,
 продвигает фигуры в свою ладью.

Окна в водную пустошь разбиты вдребезги.
 Рыбьи тени в осколках. И вместо нереста
 их засыпят землей и засеют вереском,
 чтобы сверху молчанья шаги-шаги...

* * *

плыть я хочу по течению	мимо закрытого города
мятым бумажным корабликом	вслед за надкушенным яблоком
с точностью ветра примеривать	мчаться с истошными криками
тело к пустым берегам	к стокам истокам стихам

* * *

треск прутьев в камине
 хруст веток в тумане
 я знаю, что это —
 осень
 листьями дом мой по крышу заносит
 но спросим
 кто там?
 стучится?
 страшно...
 в замочной скважине
 видится гость без лица...

Саодат Олимова, Музаффар Олимов

Мигранты в зоне кризиса

Человек на рынке труда

Трудовая миграция — одна из сфер, испытывающих наибольшее воздействие глобального финансового кризиса. В период экономического спада первыми теряют работу трудовые мигранты. По ним больно бьет остановка или сокращение деятельности в строительстве, промышленности, сфере услуг, розничной торговле и туризме, поскольку большинство мигрантов работает именно в этих секторах.

Вторичные последствия финансово-экономического кризиса также сильно затрагивают рынок труда, что соответственно сказывается и на иностранных рабочих: компании и работодатели стремятся уменьшить расходы, для чего сокращают зарплаты, социальные выплаты, уменьшают затраты на охрану труда. Все это снижает доходы, ухудшает качество жизни и труда мигрантов, вызывает волну возвратной миграции.

Пытаясь справиться с последствиями кризиса, правительства принимают меры по защите национального рынка труда. Распространенные представления о том, что приезжие «отбирают работу» у местного населения, заставляют правительства принимающих стран ужесточать миграционную политику, так как это произошло в Италии, Испании, Великобритании. Россия наряду с Таиландом, Казахстаном, Малайзией, Южной Кореей также ввела протекционистские меры. Эти же представления, транслированные СМИ, способствуют усилению дискриминации и ксенофобии, а также росту противоречий между принимающими и отправляющими странами.

Однако опыт предыдущих кризисов показал, что взаимосвязь между миграцией и кризисом далеко не так проста, как кажется. Экономические кризисы мирового и регионального уровня, такие как нефтяной кризис начала 1970-х годов, азиатский финансовый кризис 1998 года, показали, что трудовая миграция сохраняет свое значение и масштабы, независимо от кризиса. Более того, миграция помогает бороться с кризисными явлениями в экономике. Поскольку движение рабочей силы стимулирует экономическую активность и способствует созданию рабочих мест, то сохранение рынка труда открытым для мигрантов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона сыграло важную роль в преодолении экономического спада и стимулировало их быстрый экономический рост в посткризисный период.

Россия также пережила кризис 1998 года, однако масштабы миграции в тот период были меньшими, чем сейчас. Кроме того, мигранты из стран СНГ тогда еще не воспринимались как иностранцы, поэтому воздействие кризиса на миграцию представлялось сугубо внутренней проблемой. Иное дело — нынешний кризис, первый глобальный кризис мировой экономики и первый по-настоящему глубокий капиталистический кризис в постсоветских странах.

Олимова Саодат Кузиевна — философ, социолог, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН Республики Таджикистан.

Олимов Музаффар Абдуваккосович — историк, социолог, руководитель научно-исследовательского центра «ШАРК» (Таджикистан).

Оба автора публикуются в «ДН» впервые.

Современный кризис меняет наше представление о трудовой миграции и ставит новые вопросы. Почему, потеряв работу, некоторые мигранты уезжают, а некоторые остаются? Что «выталкивает» мигрантов из страны приема, а что их задерживает? Меняются ли в условиях кризиса стратегии миграции и возвращения? Что происходит с вернувшимися мигрантами на родине? Могут ли они «вписаться», найти свое место в условиях кризиса? Как они влияют на жизнь родины, на ее развитие? Что происходит с мигрантами, которые, несмотря на кризис, вновь едут работать за границу?

На эти вопросы мы постараемся ответить на примере таджикских мигрантов, работающих в России, которую связывает с Таджикистаном мощные потоки трудовой миграции. Мы стремились описать ситуацию, запечатлев «текущий момент», так как кризис пока не завершен, и осмысление его воздействия, в том числе и на трудовую миграцию, еще впереди. Проведенное нами год назад исследование было сфокусировано на четырех группах:

- мигрантах, которые несмотря на кризис, остались в России;
- тех, кто из-за кризиса принял решение вернуться на родину;
- вернувшихся мигрантах, пытающихся найти свое место в Таджикистане;
- людях, направляющихся на работу в Россию в период кризиса.

Мы опрашивали людей, возвращавшихся из России — Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, обследовали домохозяйства мигрантов в Душанбе, Вахдатском районе и Бохтарском районе Хатлонской области, проводили экспертный опрос специалистов, занимающихся проблемами миграции, а также использовали материалы и данные, собранные в ходе реализации проекта МОТ «Миграция и развитие» и проекта Азиатского банка развития (АБР) «Миграция и бедность».

Надо сказать, что сам по себе отхожий промысел знаком таджикам издавна. История трудовой миграции на территориях, вошедших в современный Таджикистан, насчитывает несколько веков. Однако современная трудовая миграция — явление последних лет постсоветского развития. Наибольшее значение для ее развития имели гражданская война 1992—1997 годов и исключительно высокая социальная цена перехода к новому государственному строю.

Масштабы миграции в Таджикистане в наши дни беспрецедентны по размеру, социальному и экономическому воздействию на страну. Так, в 2008 году на заработки выехало не менее 800 тысяч человек. Это очень много для государства, население которого составляет 7 миллионов человек, половина из которых — дети и молодежь до восемнадцати лет. Каждая третья семья страны имеет, по крайней мере, одного члена, работающего за границей.

Несмотря на то что география миграционных потоков из Таджикистана охватывает целый ряд стран (Казахстан, Украина, Китай, ОАЭ, Афганистан, США), отходники — позволим себе употребить это старинное слово — направляются в основном в Российскую Федерацию. Сюда приезжают 97 процентов всех мигрантов. Подавляющая их часть работает в области строительства (около 75 процентов), в торговле, промышленности, сельском хозяйстве. Малая их доля занята в сфере коммунальных услуг, образования и др. При этом типы и сектора занятости мигрантов внутри страны и на выезде сильно различаются. Скажем, высококвалифицированные специалисты, учителя, бухгалтеры могут работать строительными рабочими, торговцами или дворниками...

В целом трудовая миграция из Таджикистана приспособлена к потребностям и условиям рынка труда Российской Федерации. Климатические условия объясняют сезонность труда в России, особенно характерную для строительства, добывающей промышленности, сельского хозяйства, розничной уличной торговли и общественного питания, т.е. тех секторов, где трудится большинство мигрантов из Таджикистана. Более двух третей мигрантов работает за границей сезонно, т.е. с февраля-марта по октябрь-ноябрь.

Формированию масштабной сезонной миграции способствуют как специфика условий жизни и работы в России, так и работа сезонников дома, в Таджикистане. Важными факторами являются также безвизовый режим, наличие развитой транс-

портной связи между Таджикистаном и Россией, низкий уровень заработной платы мигрантов в России, не позволяющий работникам привозить с собой семьи.

Трудно переоценить степень воздействия трудовой миграции на все стороны жизни Таджикистана. За короткий срок миграция стала структурной особенностью экономической и социальной жизни Таджикистана. Всего лишь за два года — с 2006 по 2008 год объем денежных средств, переводимых трудовыми мигрантами в Таджикистан, возрос с 1 до 2,6 миллиарда долларов. Согласно данным Национального банка Республики Таджикистан, объем денежных переводов в 2008 году составил 46 процентов ВВП страны.

Волна возвратной миграции

Итак, каким же образом глобальный кризис повлиял на трудовую миграцию в Таджикистане? Во-первых, стало колебаться число мигрантов. Зимой 2008/2009 годов пошла волна возвратной миграции. Изменился и состав людей, выезжающих в поисках работы, их социально-демографические характеристики. Появились новые стратегии миграции и возвращения. И наконец, сократился объем денежных переводов из России в Таджикистан.

Начальный этап воздействия кризиса на рынок труда в России (октябрь 2008 года) совпал с сезонным возвращением мигрантов из России на родину. По данным местных властей и транспортных предприятий, численность возвращавшихся осенью 2008 года сезонников была на треть меньшей, чем обычно. Дело в том, что многие сезонники не смогли собрать средства для возвращения домой из-за задержек и невыплаты зарплаты в России. Кроме того, часть людей предпочла остаться в России для того, чтобы наблюдать за развитием ситуации.

Сезонное возвращение мигрантов не закончилось в декабре, как обычно. Кризис вызвал волну возвратной миграции, которая последовала за периодом увольнений и сокращений персонала в России в декабре 2008 года. Возвратная миграция продолжалась вплоть до конца апреля 2009 года и на месяц задержала выезд сезонников в Россию. Они отслеживали ситуацию и отправились на заработки только в последних числах февраля 2009 года. Сезонный отъезд на работу растянулся на несколько месяцев — вплоть до июня. При этом число сезонников было чуть ли не наполовину меньше, чем годом раньше.

Вот один из примеров. Мы беседовали с руководителями джамоата Бахор Вахдатского района. По их данным, в джамоате насчитывается более 1500 человек, работающих в России. В последние годы направления выезда стали расширяться. Несколько десятков местных жителей работает в Китае, Йемене, США и других странах... Осенью 2008 года начали, как обычно, возвращаться домой сезонные рабочие, но затем за ними последовали те, кто пострадал от кризиса, — их оказалось полторы сотни. Около пятидесяти человек были выдворены или депортированы с территории России. Все эти люди собирались оставаться на родине в ближайшие годы. Остальные мигранты жили в обычном режиме, т.е. продолжали находиться в странах приема либо, будучи сезонниками, готовились к выезду за рубеж...

Всего же, по нашей оценке, в 2009 году количество таджикских трудовых мигрантов в Российской Федерации сократилось на 150—160 тысяч человек.

Как кризис бьет по мигрантам

Опросы и интервью, проведенные в России и Таджикистане, показали, что кризис глубоко затронул мигрантов. Чуть менее 90 процентов всех опрошенных сообщили, что их жизнь изменилась.

Кризис воздействовал на все стороны жизни мигрантов. Наибольшие изменения претерпела заработная плата — об этом сообщила почти половина опрошенных. В меньшей степени кризис повлиял на занятость мигрантов — на увольнения и

сокращения рабочего. Кроме того, в условиях кризиса трудовые мигранты стали значительно более уязвимыми к различным формам эксплуатации и злоупотреблений, чем местное население. Повысилась уязвимость мигрантов к торговле людьми, вымогательству, депортациям.

Что касается сокращения заработков, то, по результатам нашего опроса, наиболее часты задержка выплат, прямые сокращения зарплаты, отмена премиальных и бонусов, введение различных штрафов. Так, половина опрошенных нами строителей сообщили, что им задерживали зарплату от 2 до 5 месяцев. А более десятой части мигрантов считают, что им не выплалят заработанное, и квалифицируют поведение работодателей как обман.

«Зарплату не платят. Производство не остановилось, работает, но заработанное не отдадут» (наладчик, 27 лет, Москва).

«Снизился размер заработка: если раньше платили по двадцать тысяч рублей, то теперь за эту же работу платят десять тысяч. Да еще штрафы высчитывают — за опоздание или еще за что. Это рассказывают ребята из больших моллов типа «Ашан»» (экспедитор овощной базы, 39 лет, Москва).

Можно предположить, что большая часть работодателей, не выплатившая зарплату мигрантам, сознательно обманула их, сокращая убытки от кризиса за счет работников. С одной стороны, это было объективной необходимостью, приспособлением предприятий к сокращению деловой активности, с другой стороны, некоторые работодатели старались снизить убытки от кризиса за счет обмана и ограбления иностранцев.

Согласно опросу, проведенному Министерством труда Республики Таджикистан в марте-апреле 2009 года, более 70 процентов вернувшихся на родину мигрантов покинули Россию из-за невыплаты и/или задержки зарплаты, которую они все же надеются получить. Однако немногие мигранты пытаются защитить свои права.

«Вернулись всей бригадой — уволили из-за остановки работы фирмы. Не выплатили зарплату за три месяца. Мы не стали ждать, сразу же уехали. Они обещали переслать по почте. Кормили «завтраками», обещали заплатить за работу. Мало верится, что заплатят. Мы ни к кому не обращались за защитой наших прав, зачем? Все равно бесполезно. Много людей кидают, не платят зарплату, управу на них все равно не найдешь» (бригада сварщиков из шести человек работала в частной фирме. Екатеринбург).

По словам пресс-секретаря представительства МВД Республики Таджикистан по миграции в России Дильбар Ходжаевой, общая сумма невыплаты таджикским рабочим составляет свыше 30 миллионов российских рублей. Однако жалобы и обращения в Прокуратуру Российской Федерации нередко попросту не рассматриваются из-за отсутствия трудового договора между работником и работодателем.

Группа опрошенных строителей сообщила, что вместо зарплаты рабочим дают деньги «на пропитание» и предоставляют бесплатное жилье в виде бытовок или общежитий. Это объясняется тем, что ряд строительных фирм и отдельных подрядчиков, особенно те, кто планировали работать по государственным контрактам, весной 2009 года ждали результатов секвестра бюджета Российской Федерации, после чего надеялись начать работу. Они пытались сохранить квалифицированных работников, поэтому обеспечивали их бесплатным жильем и выплачивали так называемые «кормовые» в размере 5—6 тысяч российских рублей на человека в месяц. В результате большое количество строителей из Таджикистана не предпринимали никаких действий по защите своих прав, предпочитая ждать обещанного начала работы. В то же время наиболее квалифицированные работники, выяснив ситуацию, предпочли уехать на родину. Они считают, что ждать окончания кризиса в Таджикистане дешевле, чем в России.

Файзали, строитель, 31 год, среднее специальное образование, срок последней поездки — 6 месяцев, работал в Москве в «ДОН-Строе» вместе с двумя братьями и зятем. Им не выплатили зарплату за четыре месяца, но говорили, чтобы рабочие подождали восстановления строительства, и давали деньги на еду. Братья и зять уехали, оставив Файзали ждать выплаты зарплаты и следить за ситуацией. Дома в Яванском районе жена и пятеро детей живут на доходы от огорода, есть молочная

корова и козы, жена продает молоко и молочные продукты. Семье помогают отец и братья.

Тем не менее почти две трети мигрантов, решивших остаться в России, сообщили, что, несмотря на уменьшение доходов, их устраивают нынешние зарплаты. Значительная часть этой группы имеет высшее образование и принадлежит к возрастной группе старше 30 лет.

«Работаю в «Технокруге», в России шесть лет. Фирма обеспечивает жильем, разрешением на работу. Зарплату чуть сократили — на 20 процентов, но заработок стабильный. У меня больших проблем нет» (наладчик, 38 лет, родом из Кумсангирского района Хатлонской области Таджикистана).

Только треть респондентов, оставшихся в России, отметили, что их не устраивают заработки.

Сильно ударили по мигрантам и массовые увольнения. Опрос показал, что начались они с конца октября 2008 года, однако их пик наблюдался в декабре 2008 года. В праздничном январе следующего года масштабы увольнений снизились и опять выросли через месяц, когда треть респондентов потеряла работу.

Даже если не принимать во внимание дискриминационный подход к работникам-мигрантам со стороны работодателей, проявляющийся при сокращении штатов, то иностранные работники сильнее, чем местные, страдают от кризиса. Особенно это сказывается в отраслях, наиболее остро реагирующих на изменения экономической конъюнктуры, — в строительстве, обрабатывающей промышленности и торговле.

Можно предположить, что адаптационные меры предприятий в России стали фактором, препятствующим образованию мощной волны возвратной миграции в посылающие страны, такие как Таджикистан. И все же здесь возникает множество вопросов, требующих глубокого изучения: насколько различаются стратегии предприятий по отношению к внутренней рабочей силе и к мигрантам? Какие меры принимаются по отношению к нелегальным работникам? Как ведут себя предприятия в теневом секторе экономики? И т.д.

«Мы не чувствуем себя свободными»

Российское миграционное законодательство прикрепляет работников к работодателям, делая первых полностью зависимыми от воли последних. *«Мы не чувствуем себя свободными, мы зависим от хозяина. Без его ведома не можем выйти за пределы места, где работаем и живем. В любой момент нас могут схватить и депортировать. Если что случится, мы не можем сообщить ни органам власти России, ни Таджикистана, ни посольству Таджикистана в России, ни НПО. За время работы мы видим только милиционеров и своего работодателя. Мы абсолютно бесправны»* (пекарь-кондитер, 34 года, по образованию — врач-стоматолог, Москва).

Увольнения часто влекут за собой потерю жилья. Где же живут потерявшие работу мигранты? Согласно данным нашего опроса, после увольнения часть работников продолжала жить в общежитиях, строители жили на стройке, в бытовках, вагончиках, так как работодатели сохраняли за ними жилье в надежде на восстановление работы. Часть потерявших работу переселилась к друзьям, родственникам. Некоторые стали снимать менее комфортное жилье, например, койко-место в комнате с 7—10 постояльцами. Отмечены случаи, когда в одной комнате ютилось двадцать человек. Часть поселилась в нежилом фонде — гаражах, подвалах, сараях...

В период кризиса мигранты оказываются не только одной из социальных групп, наиболее подверженных экономическим рискам — падению доходов, потере работы, обнищанию. Для них также резко возрастают политические и административные риски, степень которых зависит от различных условий, в том числе от уровня коррупции, криминала, роста национализма и т.д.

Одна из самых острых проблем, с которыми сталкиваются мигранты, — резкое ухудшение отношений между ними и представителями правоохранительных органов. Это отметили 80 процентов тех, кого мы опрашивали. В России, так же как и в других

принимающих странах, рост безработицы привел к восприятию мигрантов как конкурентов на рынке труда. Такой взгляд, не имеющий под собой реальной основы, способствовал введению мер по сокращению иностранной рабочей силы. В их число входит не только объявленное двукратное сокращение квоты на использование труда иностранцев, но и барьеры в регистрации мигрантов и выдаче разрешений на работу, многочисленные проверки, депортации, а также обвинения мигрантов в преступности, тиражируемые через СМИ.

Заметно возросли трудности и соответственно плата при оформлении регистрации и разрешения на работу, включающие различные неформальные выплаты. Наиболее трудно получить разрешение на работу. По мнению респондентов, «ФМС принципиально отказывает гражданам Таджикистана в разрешении на работу, поэтому разрешение можно сделать в основном через посредника за большие деньги» (водитель автобуса, 37 лет, Одинцово). По информации из ФМС России, гражданам Таджикистана рекомендовано предоставлять разрешение на работу на срок до трех месяцев, а не на один год, как мигрантам из других стран. Соответственно возросли ставки неформальных платежей посредникам, расширилась их сеть.

Резко выросли и размеры неформальных платежей, которые мигранты выплачивают работникам правоохранительных органов за легализацию и нахождение на территории России — это отметили около 40 процентов опрошенных. Интервью показали, что суммы, которые приходится передавать сотрудникам ФМС, участковым инспекторам МВД и другим представителям правоохранительных органов Российской Федерации, увеличились почти на порядок (до 7—10 раз) по сравнению с прежними, докризисными.

Заметно выросли ставки неформальных платежей «с головы мигранта» участковым, линейным милиционерам и ФМС при облавах. Причем статус тех, кто вынужден откупаться, значения не имеет. Не важно, прибыл ли человек в страну легально или же проник нелегально — все платят одинаково.

«С начала кризиса ФМС стала жестче относиться: грабят, накрывают квартиру или место работы, окружают и требуют деньги; заходят в квартиру, не важно, есть у нас разрешение на работу и документы или нет, требуют «долю», забирают деньги и уходят. Ставки ФМС возросли. То же делают и участковые» (дворник, 26 лет, среднее специальное образование, Москва).

В Москве и ряде регионов действует «горячая линия», по которой местные жители могут вызвать работников ФМС и инициировать проверку документов в жилищах иностранных граждан.

Увеличение стоимости правового обеспечения миграции (штрафы, систематические отчисления ФМС, участковым, стоимость периодических выездов за границу для легализации пребывания или плата за легализацию посредникам) существенно сокращает доходы мигрантов. Чтобы уменьшить издержки, они перестают легализоваться. Но если и это не помогает, миграция становится экономически невыгодной, и мигранты возвращаются домой.

В 2009 году возросло число мигрантов, депортируемых из России в Таджикистан. Так, по словам начальника УФМС г. Москвы, количество выдворенных из России мигрантов за незаконное пребывание и другие правонарушения в Москве увеличилось в 2,5 раза. При этом наблюдается связь между доходами мигрантов и перспективой депортации. Как правило, депортируют тех, у кого нет средств, чтобы зарегистрироваться и получить разрешение на работу, а также нет наличных денег, чтобы откупиться в период задержания.

«В депортации попадают те, у кого денег нет. У них не хватило денег на легализацию, вот их и поймали, а если поймали, и денег не хватило откупиться, то депортируют. Друг рассказал, что его поймали, потребовали десять тысяч рублей, он заплатил, и его отпустили» (водитель, 36 лет, среднее образование, Одинцово).

В организации миграции заметно увеличилось число посредников, соответственно и число мошенников. В то же время посредники не объединены в крупные организованные преступные группировки, а представляют собой мелкие разрозненные группы. Таджикские посредники часто связаны с организациями диаспоры. Ле-

гализацию мигрантов осуществляют российские посреднические фирмы, редко связанные с таджикскими посредниками.

Характерная черта таджикской трудовой миграции — мигранты не жалуются и не ищут защиты у государственных органов.

Изучая социальное самочувствие мигрантов в период кризиса, мы обнаружили, что среди них растет отчуждение и фрустрация. Отчасти это связано с общим ухудшением социального климата. Более важно то, что положение мигрантов сделалось более уязвимым, а ксенофобия и дискриминация по отношению к ним возрастает. 80 процентов опрошенных мигрантов отметили, что к ним ухудшилось отношение милиции и ФМС, 60 процентов считают, что ухудшилось отношение к ним работодателей, а около четверти говорят о том, что у них ухудшились отношения с коллегами по работе.

Респонденты включили в «ухудшение» задержку и сокращение зарплат, увеличение числа и размеров штрафов (за опоздание, прогул, мелкие нарушения и т.д.), сокращение социальных льгот. Также был отмечен рост оскорблений и усиление ксенофобии.

Ситуация, в которой оказались таджикские работники в России, эхом сказалась на их семьях, оставшихся на родине и на Таджикистане в целом из-за существенного сокращения переводов из-за рубежа. Согласно информации Национального банка Республики Таджикистан, в целом за 2009 год объем денежных переводов в страну по сравнению с 2008 годом сократился на треть, составив 1833,9 миллиона долларов США.

Треть мигрантов продолжали переводить тот же объем денег, что и раньше, 40 процентов сократили размеры переводов, 20 процентов вообще не посылали деньги и только 5 процентов мигрантов увеличили размеры переводов.

Благосостояние домохозяйств, в которых члены-мигранты потеряли работу, за время кризиса существенно ухудшилось. Только треть уволенных мигрантов посылала переводы из случайных заработков своим семьям в период поиска работы. Половина домохозяйств в этот период расходовала средства и продукты, произведенные в своем хозяйстве, а также накопленные сбережения. Часть жила на собственные источники доходов: зарплату членов семьи — жены, брата, родителей, продажу произведенной сельхозпродукции, предоставление услуг (шитье, уборка) и т.д. Около пятой части тех, с кем мы беседовали, сообщили, что их семьи на родине совершенно обнищали.

Стратегии ответа на кризис

В ответ на изменения, вызванные воздействием кризиса, мигранты стараются адаптироваться к новой ситуации в стране приема. Только незначительная часть опрошенных мигрантов сразу же после потери работы решила вернуться домой. Остальные, оставшись в России, использовали несколько стратегий: около половины нашли другую работу после увольнения, четверть — взяли деньги в долг, чтобы переждать тяжелые времена, около 16 процентов наших информантов продолжали работу на новых условиях. Некоторые ждали выплаты зарплаты и в целом улучшения ситуации, а 1,5 процента отправились в поисках работы в другие регионы России.

Разумеется, наши данные о соотношении использования мигрантами тех или иных стратегий достаточно условны, так как мы опрашивали тех, кто вернулся на родину. Тем не менее можно выделить наиболее распространенные стратегии ответа на кризис.

Одна из них — продолжение работы в новых условиях. В этом случае у человека, избравшего такую стратегию, доходы существенно уменьшаются в результате сокращения зарплаты, штрафов, увеличения платежей сотрудникам российских правоохранительных органов. Как правило, мигранты минимизируют собственное потребление, а также уменьшают суммы переводов.

Для части мигрантов, особенно для тех, кому сократили зарплату, и тех, кто после потери работы перешел на менее оплачиваемые рабочие места, затраты

превысили доходы от миграции и сделали ее невыгодной. Даже максимальное сокращение личного потребления, в том числе отказ от найма жилья и переход в будки, сараи либо временные лагеря в лесу, не спасло положение, в результате люди вынуждены возвращаться.

Доходы мигрантов и вероятность их возвращения на родину тесно между собой связаны. Люди, имеющие определенные сбережения, располагают возможностью вернуться домой. Те, у кого вообще нет никаких денежных средств, с большей вероятностью останутся в России, даже потеряв работу. Как правило, они снижают требования к рабочему месту, соглашаются на менее оплачиваемые занятия с худшими условиями труда. В случае неудачи они перебиваются на рынках случайными заработками и снижают личное потребление до минимума. Часть из них, накопив деньги на обратный билет, уезжает, часть остается и по-прежнему ведет скудное существование. Если это возможно, они продолжают переводить деньги на родину, но в значительно меньшем размере.

Опрос также показал наметившуюся тенденцию возвращения предпринимателей и перевод ими части своего бизнеса в Таджикистан. *«Торговцы и люди из общепита также возвращаются — торговли нет, снизились прибыли, кур гриль не покупают, нерентабелен гриль»* (повар, 27 лет, среднее образование, Одинцово).

Согласно ответам мигрантов, эта тенденция обозначилась с конца 2007 года и заметно усилилась в 2008—2009 годах. Возвращение бизнесменов прекратилось в конце 2009 года в связи со сбором средств на строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане. Предприниматели, которых «добровольно-принудительно» заставляют покупать акции строящейся ГЭС, начали возвращаться в Россию либо искать возможности эмиграции в другие страны.

После потери работы почти две трети таджикских мигрантов пытались найти другую, а более трети вернулись на родину. Эти данные подтверждаются материалами опроса вернувшихся мигрантов, проведенного Минтрудом Республики Таджикистан.

Как правило, мигранты ищут работу в своей профессиональной сфере, постепенно снижая требования к условиям труда и заработной плате. Большинство ограничивается поисками в том городе, в котором находится. Наибольшее количество потерявших работу — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ситуация почти не изменилась в небольших городах и селах европейской части России, Поволжья (Самара, Саратов, Волгоград и др.), Южном федеральном округе, Сибири, Дальнем Востоке. Поэтому в 2009 году мигрантские сообщества активно собирали информацию о возможном трудоустройстве, высылали разведчиков, которые искали новые территории приема.

Поиск осуществлялся в основном через сети — через друзей, родственников и знакомых. Мигранты активно перезваниваются, выясняя возможности для трудоустройства в других регионах. К объявлениям в СМИ обращалась четвертая часть респондентов, к Интернету — почти десятая часть. Период времени поиска работы или ожидания для таджикских мигрантов довольно короток, что связано с ограниченностью их финансовых ресурсов: чаще всего человек ищет в течение одного месяца и, если не находит, возвращается домой. У трети опрошенных нами критический срок поиска продлевался до двух месяцев, а еще у трети — даже и более.

Не нашли для себя никакой работы лишь около 30 процентов респондентов. Остальные либо трудоустроились, либо отказались от места по двум причинам — из-за неудовлетворительных условий и оплаты труда или требования иметь гражданство Российской Федерации для занятия вакансии.

По мере поиска работы мигранты снижают требования к условиям труда и к зарплате. В крайнем случае они идут на рынки, в большие торговые центры (например, «Ашан»), строители — на строительные рынки и там занимаются случайными заработками либо временно устраиваются грузчиками, носильщиками, упаковщиками...

Потерявший работу мигрант — высококвалифицированный строитель средних лет с высшим образованием отказался от найма квартиры, перешел на строительный рынок, там собирает пластиковые бутылки, заполняет водопроводной водой и

продает торговцам. Зарабатывает до 700—800 долларов в месяц. Живет на помойке за рынком, спит в картонных упаковках. Продолжает переводить семье деньги.

Случайными заработками в торговых центрах, на рынках занимаются мигранты самых разных профессий. Это проверенный способ заработать на билет домой. В случае если по каким-то причинам человек не может заработать денег на возвращение, он занимает их у родственников, сохранивших работу. В ряде случаев мигранты получали деньги на обратный билет из дома.

Только после того, как испробованные стратегии оказались безуспешными, а сбережения и ресурсы, в том числе кредиты, помощь родственников и знакомых, исчерпаны, мигранты решают вернуться на родину.

Следует сказать, что трудоустройство мигрантов затрудняет не столько отсутствие рабочих мест, сколько изменившееся отношение к иностранным работникам, рост ксенофобии, протекционистские меры России по защите рынка труда. Это естественным образом вызывает у мигрантов желание получить российское гражданство, оставаясь сезонниками или временными мигрантами. Вместе с тем заметно возросло число тех, кто хотел бы переехать вместе с семьей в Россию на постоянное жительство.

«Возвращенцы» и остающиеся

Таким образом, на положение трудовых мигрантов влияет не столько кризис, сколько вызванные им перечисленные выше факторы — протекционистские меры по защите рынка труда, стремление работодателей сократить убытки за счет работников, резкий рост незаконных поборов, рост ксенофобии и пр., — что делает миграцию экономически невыгодной и опасной для жизни. Поэтому наиболее обеспеченные мигранты предпочитают вернуться на родину и переждать несколько лет, сократив расходы. Более бедные остаются в России, соглашаясь на худшие условия труда и жизни, меньшую зарплату. Самые активные меняют регион вселения, либо ищут возможности трудоустройства в других странах (США, ЕС, ОАЭ, Китай и пр.), учатся новым профессиям, более востребованным на российском рынке труда.

Мы задались вопросом, отличаются ли по социально-демографическим характеристикам, занятости, стратегиям миграции люди, которые в ходе кризиса приняли решение остаться в России, и те, кто решил вернуться в Таджикистан? Действительно, оказалось, что остаются мигранты старших возрастов, с более высоким уровнем образования, квалификации, с относительно высокими зарплатами и со стажем мигрантской жизни. В то же время среди возвращающихся повышена доля молодых людей с низким уровнем образования или с довольно высоким уровнем образования, но без стажа работы. Это говорит о том, что в ходе кризиса отсеивается категория неуспешных мигрантов, прежде всего малоквалифицированная молодежь в возрасте до 24 лет.

Тем не менее перспектива остаться в России зависит не от уровня зарплаты, а от способности и возможностей мигрантов сохранить старую или найти другую работу. Немаловажное значение имеет предприимчивость, активность, способность рисковать, переквалифицироваться и/или переехать в поисках работы. Еще более важным является терпение и неприязнательность, готовность примириться с трудностями, сокращением зарплаты, ухудшением условий работы и жизни. Так, 60 процентов оставшихся в России мигрантов сообщили, что согласны работать за меньшую плату, тогда как среди вернувшихся в Таджикистан мигрантов таких было в два раза меньше. Большее значение имеет также культурная ориентация на Россию («вера в Россию») и стремление связать свою жизнь с Россией. Две трети респондентов, оставшихся в России, заявили, что хотели бы получить российское гражданство. Что касается миграционных планов, то только одна треть планирует вернуться на родину, половина опрошенных не собирается возвращаться, и еще 10 процентов заявили, что вернутся, если заработают большие деньги или когда улучшится ситуация в Таджикистане.

Таким образом, самая заметная разница между «возвращенцами» и остающи-

мися в России мигрантами — в стратегиях миграции и возвращения. Обе группы использовали одинаковые каналы в поиске работы — это друзья и родственники, в меньшей степени — газеты и самостоятельный поиск. Остающиеся в России мигранты заметно активнее в поиске работы: 60 процентов согласны на более низкую зарплату, а среди «возвращенцев» таких заметно меньше — 40 процентов. 20 процентов остающихся мигрантов согласны в поисках работы переехать в другие регионы России, а среди вернувшихся мигрантов таких только 5 процентов.

Остающиеся мигранты активно учатся и переучиваются — в ходе адаптации к кризису свыше одной трети остающихся мигрантов поменяли сферу занятости, почти столько же за время миграции повысили свою квалификацию.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации в России более половины оставшихся мигрантов сообщили, что останутся в России, несмотря ни на что. Эта группа нацелена на получение гражданства РФ, переезд семьи и обустройство в России.

Вместе с тем выяснилось, что и возвращение на родину сопряжено с трудностями. Проблема возвращения мигрантов широко обсуждалась в Таджикистане зимой 2008—2009 годов, так как предполагалось, что в ходе развития кризиса сотни тысяч трудовых мигрантов вернутся домой, что резко ухудшит экономическую и социальную ситуацию в стране. Одной из антикризисных мер, связанных с такого рода опасениями, стала разработка мер правительства Таджикистана по обеспечению возвратившихся работой. По данным Министерства труда Таджикистана, в 2009 году были созданы 150 тысяч рабочих мест.

Однако в действительности волна возвратной миграции в странах Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, оказалась краткосрочной и относительно небольшой. Тем не менее в отличие от Китая, Индии, Мексики, Филиппин, Ливана, Иордании и других посылающих стран Таджикистан столкнулся с возвратной миграцией впервые, и это был первый опыт такой миграции в регионе.

В потоке вернувшихся в ходе кризиса мигрантов выделяются две большие группы. Почти пятую часть потока составляет молодежь 18—26 лет, впервые поехавшая на заработки. Это говорит о том, что во время кризиса отсеивается категория неуспешных мигрантов, среди которых преобладают молодые малоквалифицированные работники без знания русского языка и без опыта миграции. Многие из них работали без разрешения, то есть были недокументированными работниками.

Вторая группа «возвращенцев» — это высококвалифицированные мигранты, потерявшие высокооплачиваемую работу и решившие вернуться в Таджикистан, чтобы отдохнуть и переждать кризис.

Среди опрошенных нами мигрантов была бригада сварщиков самой высокой квалификации — шесть человек с высшим образованием в возрасте 29—42 лет. Они легально работали в России более девяти лет и потеряли работу в результате банкротства фирмы. Бригада ждала в России выплаты зарплаты, не устраиваясь на другую работу. Вернулись спустя три месяца после прекращения работы, так и не получив заработанные деньги. В Таджикистане они собираются отдыхать, так как за все эти годы ни разу не использовали отпуск. Аналогична ситуация с бригадой из семнадцати строителей-отделочников высоких разрядов. Они получили расчет после двухмесячного ожидания. Фирма, в которой они трудились, прекратила строительство и с задержкой, но полностью рассчиталась с рабочими, предупредив, что через полгода они смогут вновь приступить к работе.

Респонденты отметили, что многие работодатели дорожат квалифицированными специалистами и стараются сохранить работников даже в условиях кризиса. Они поддерживают с ними связь и после их отъезда на родину, рассчитывая пригласить ценные кадры на работу, как только начнется восстановление производства.

Средний заработок мигрантов в России составлял 400—600 долларов США, хотя мы встречали людей, которые зарабатывали от 1500 до 2500 долларов ежемесячно, но их доля незначительна. Обычно это высококлассные специалисты.

Планы на жизнь в Таджикистане

Опрошенные в душанбинском аэропорту мигранты рассматривали свое возвращение как временную передышку и не собирались реинтегрироваться на родине. Согласно результатам опроса треть из них планируют оставаться в Таджикистане «по ситуации» — то есть намерены уехать, как только ситуация на российском рынке труда улучшится; чуть более 20 процентов пока еще не приняли определенного решения; примерно столько же собираются дождаться конца кризиса на родине; некоторые предполагают остаться дома, пока не кончатся деньги. *«Буду жить в Таджикистане, пока жена не выгонит. Потом поеду опять в Россию»* (водитель, 24 года, вернулся из Екатеринбурга, родом из Бохтарского района).

Только 9 процентов сообщили, что решили остаться в Таджикистане навсегда.

Согласно интервью, средняя сумма доходов, которую мигранты должны получать, чтобы не ехать на зарубежные заработки, — 500 долларов (на семью из четырех человек).

Половина мигрантов планирует искать работу на родине, треть предпочитают отдохнуть в период кризиса и с его окончанием опять отправиться на заработки. *«Возвращаемся бригадой. Работу не искали. Сразу же, как нам сказали об увольнении, взяли билеты в Душанбе и поехали. Работу дома также искать не собираемся. Будем ждать, так как хозяева сказали, что через три месяца вызовут, работа будет»* (бригада отделочников, вернулись из Екатеринбурга).

Малая часть вернувшихся намерены использовать период вынужденного простоя, чтобы заняться устройством семьи — сватовством и женитьбой. Только 5,6 процента планируют начать свое дело, и уж совсем немногие собираются переждать кризис, занимаясь семейным сельским хозяйством. *«Сейчас возвращаюсь почти без денег — не собрал. То, что заработал, пересылал родителям, они купили на мои сбережения 6 соток земли за 2500 долларов. Буду заниматься хозяйством — участком, скотиной, коровами, баранами. Когда кризис кончится, опять поеду в Россию»* (охранник в частном охранном бюро, 26 лет, среднее специальное образование, вернулся из Санкт-Петербурга).

Большинство тех, кто хочет искать работу на родине, собираются устраиваться через родственников, знакомых и друзей. Четверть опрошенных уверены, что в Таджикистане работы нет. Эти мигранты собираются искать работу, но в случае неуспеха займутся семейным сельским хозяйством или будут ждать улучшения ситуации в России.

О своем деле задумывается почти треть опрошенных, однако все эти люди рассматривают перспективы собственного бизнеса с большим скептицизмом («если найду деньги», «если кризис позволит»).

Помощь в осуществлении своих планов подавляющее большинство вернувшихся мигрантов рассчитывает получить от семьи, родственников и друзей. Надеются только на себя около 10 процентов. Добыть средства у ростовщиков предполагают 4 процента, а кредит в банке — 2 процента. В Центр занятости намерен обратиться только один мигрант.

Вернувшиеся мигранты не собираются менять свой образ жизни. Только 9 процентов респондентов сообщили, что больше не поедут на зарубежные заработки. Все остальные планируют вернуться в Россию. Треть хотела бы сменить гражданство и переехать вместе с семьями в Россию на постоянное место жительства. Основной мотив — наличие работы в России и ее отсутствие в Таджикистане.

Среди той части мигрантов, что приняли твердое решение сохранить гражданство Таджикистана и не переезжать в Россию, выделяются две группы. Это немолодые мигранты, которые планируют прекратить работу на выезде, и молодежь с низким уровнем квалификации.

Интервью показали, что мигранты со стажем не хотят оставаться в России и перевозить семьи из-за низких доходов, неразвитого рынка жилья, дискриминации и отсутствия социального страхования. Они отмечают, что для переезда с семьей необходимы значительно более высокие зарплаты, чем у них, поскольку придется

покупать жилье и содержать семью, в которой чаще всего есть несовершеннолетние дети. Кроме того, в России мигранты — городские строители и наемные работники — не смогут вести семейное сельское хозяйство, которое является важным источником доходов мигрантских домохозяйств. Большое значение имеет недоступность социального страхования. Мигранты, которые не надеются на пенсию, уверены, что на родине при наступлении старости или в случае потери трудоспособности их поддержат семья и родственники.

Реинтеграция

Что же происходит с теми, кто из-за кризиса вернулись домой, прожили на родине месяц-другой и решили остаться в Таджикистане на длительное время, а, возможно, навсегда? Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели собственные исследования, дающие возможность определить стратегии реинтеграции «возвращенцев», а также использовали данные опросов, проведенных Министерством труда и занятости населения РТ. Все эти материалы показали, что всех реинтегрирующихся можно условно разделить на три группы — успешные, неуспешные и отдыхающие.

Успешные становятся самозанятыми, заводят свое дело (чаще всего получают патент) или бизнес. Как правило, это немолодые мигранты (старше 40 лет), которые решили прекратить работу на выезде по возрасту, из-за необходимости восстановить контроль над взрослеющими детьми или из-за потери трудоспособности. Обычно у них есть недвижимость, сбережения, скот, земля.

Неуспешные не находят работу и, потратив свои сбережения, опять собираются ехать за рубеж, заранее смирившись с любой работой и любыми самыми низкими заработками, в худшем случае надеясь выжить самому.

Отдыхающие — высококвалифицированные мигранты, имеющие сбережения и активы. Они переживают кризис на родине, где ниже стоимость жизни. Как правило, они отдыхают, лечатся, занимаются строительством или ремонтом своих домов, семейными делами, эпизодически — временной работой.

Заметную группу составляют незанятые — это преимущественно безработная молодежь. Их работа в России стала экономически невыгодной, сбережений нет, приобретен негативный опыт миграции. Но и в Таджикистане они не могут найти устраивающую их работу. Они оседают в своих домохозяйствах, перебиваясь эпизодической работой и становясь бременем для родных.

На момент обследования домохозяйств почти 15 процентов вернувшихся мигрантов уже устроились на работу. Остальные пока ищут работу, работают на семейном участке земли, ждут и наблюдают. Мигранты неохотно устраиваются на работу, предпочитая бизнес или семейное сельское хозяйство. Такие предпочтения объясняются тем, что три четверти мигрантов из Таджикистана — сельские жители. Среди вернувшихся мигрантов, которые уже начали работать в Таджикистане, выделяются три большие группы: члены фермерских хозяйств, владельцы собственного бизнеса, открытого на мигрантские сбережения, и наемные работники на предприятиях и в организациях.

Большинство мигрантов сообщили, что предпочли бы заняться фермерством, если бы государство предоставило им участок земли.

В целом уровень благосостояния домохозяйств вернувшихся мигрантов значительно выше, чем населения в целом. Несмотря на это, все «возвращенцы» в 2009 году сократили потребление и пытались сохранить сбережения, предполагая, что тяжелый период затянется надолго. Сберегают в основном в валюте, вкладывают в землю и скот, пытаются создать запасы продовольствия.

Реинтеграция «возвращенцев» в Таджикистане протекает довольно тяжело. Опыт миграции оказывает на этот процесс противоречивое и неоднозначное воздействие. С одной стороны, если до выезда из страны мигрант уже работал, то миграция прерывает его карьерный рост. Ситуацию ухудшает то, что мигранты за рубежом редко работают по специальности и, как правило, теряют навыки в профессии по диплому. Кроме того, «возвращенцы» за время отсутствия теряют имевшийся и не накапливают новый социальный капитал — полезные знакомства, нужные связи, общие ценности, знание «правил игры», которые помогли бы занять достойное место в социуме на родине, в том числе найти подходящую работу.

С другой стороны, мигранты получают за рубежом профессиональный и жизненный опыт, что улучшает их позиции в конкуренции за рабочие места. В настоящее время реинтеграция недавних мигрантовотягощена воздействием кризиса на экономику Таджикистана — растет безработица, падает совокупный спрос, сокращается товарооборот, соответственно страдает малый и средний бизнес. Останавливается строительство, закрываются предприятия. Тем не менее опыт миграции до некоторой степени улучшает позиции «возвращенцев» на рынке труда. Так, около 40 процентов респондентов сообщили, что после миграции им стало легче найти хорошо оплачиваемую работу. Однако для почти такого же количества вернувшихся домой ничего не изменилось, а чуть менее 20 процентов сообщили, что после возвращения им стало труднее найти хорошо оплачиваемую работу.

Анализ ответов тех, кто сообщил, что после возвращения им стало труднее найти хорошо оплачиваемую работу, показывает, что вернувшиеся мигранты сталкиваются с тем же набором проблем, с которым они имели дело до выезда за рубеж, — с безработицей и низким уровнем зарплат. Кроме того, среди них есть люди с пошатнувшимся здоровьем и старшего возраста.

Что же до успешных «возвращенцев», то их отличает весьма высокая бизнес-активность. Свыше 40 процентов опрошенных вернувшихся мигрантов инвестировали средства в создание или развитие бизнеса или предпринимательской деятельности. При этом пятая их часть уже имеет собственное дело. Чаще всего это торговля, услуги и сельхозпроизводство.

Часть мигрантов, имевших бизнес в России, — в основном жители Душанбе и Согдийской области — перевели свой бизнес в Таджикистан. Они продают машины, недвижимость, иное имущество в России и открывают несколько мелких торговых точек розничной торговли, столовые, гриль, парикмахерские в Таджикистане. Вернувшиеся мигранты покупают микроавтобусы, «газель», грузовики и занимаются перевозками.

Развивая бизнес, «возвращенцы» создают определенное количество рабочих мест, но меньшее, чем могло бы быть, так как их бизнес имеет преимущественно мелкий и мельчайший характер. Среднее число наемных работников на предприятиях, принадлежащих вернувшимся мигрантам, — 2,7 человека.

Бизнес «возвращенцев» несет на себе отпечаток трудовой миграции, которая в Таджикистане имеет ярко выраженный семейный характер. Чаще всего бывшие мигранты заводят свое дело при участии и поддержке семьи и родственников.

Все это в определенной степени способствуют технологическому развитию в Таджикистане, но это влияние не очень значительно. Часто мигранты не могут использовать свой опыт и знания из-за технологической отсталости производств. Передача опыта бывших мигрантов осуществляется только там, где это возможно, — прежде всего в сфере малого бизнеса.

Кроме того, мигранты привозят инструменты, станки и линии невысокой стоимости, так как, во-первых, они сами не имеют средств для крупных инвестиционных проектов и не имеют возможности привлечь инвестиции; во-вторых, бизнес-среда в Таджикистане неблагоприятна, и преодолеть все препятствия при реализации сколько-нибудь значительного бизнес-проекта можно лишь при наличии «крыши». Но, как правило, именно это составляет главную трудность для мигрантов. Исследования показывают, что на заработки уезжают люди, не имеющие доступа к ресурсам и власти, а также социальных контактов, помогающих включиться в местное бизнес-сообщество.

Мигранты не оказывают большого влияния на те области, где необходимы модернизация или большие инвестиции. Более того, те компании, которые не нуждаются в технологических или организационных нововведениях, отказываются от использования опыта недавних мигрантов. Таким образом, дополнительная квалификация и опыт вернувшихся мигрантов не используются в полной мере.

Вернувшиеся мигранты не оказывают существенного влияния на социальную интеграцию и развитие местных сообществ. Более того, они находятся как бы на обочине общественной жизни. Чаще всего они участвуют в хашарах — добровольных неоплачиваемых общественных работах и в ритуально-обрядовых мероприятиях. Около четверти бывших мигрантов вносит средства на благоустройство своей общины. Столько же участвует в деятельности традиционных мужских объединений, своеобразных мужских клубах «гаштак» или «гап». Часто бывшие мигранты создают свои

отдельные «мигрантские» гаштаки. Каждый десятый вообще не участвует в общественной жизни своей общины. Трудности вхождения мигрантов в общину после возвращения во многом связаны с маргинальным социальным статусом «возвращенцев». За годы работы за рубежом многие мигранты теряют социальный статус и не могут найти определенное место в своей общине после возвращения. Кроме того, домохозяйства мигрантов связаны с соседями и ближайшими родственниками почти так же, как с мигрантскими сетями и мигрантскими сообществами в странах приема.

Что касается местных властей, то мигранты относятся к ним настороженно и не доверяют им. Местные власти, в свою очередь, недолюбливают мигрантов и рассматривают их в качестве источника денежных взносов на благоустройство.

Если в большинстве домохозяйств села есть мигранты, то образуется мигрантская община, охватывающая весь кишлак. В таком случае возвращенцы достаточно активно участвуют в общественной жизни своей общины. В местах, где мигрантских домохозяйств мало, вернувшиеся мигранты почти не участвуют в социальной жизни своей общины.

Интересные изменения происходят в сфере гендерных взаимоотношений. Наши исследования показали, что в домохозяйствах вернувшихся мигрантов женщины играют более важную роль, чем в домохозяйствах без мигрантов. В то же время многие респонденты указали на множественные семейные конфликты, возникающие после возвращения мигранта, когда вернувшийся муж сталкивается с возросшим влиянием жены в семье и ее нежеланием снова полностью зависеть от мужа. Традиционный взгляд на гендерные роли мужчин-«возвращенцев» конфликтует с увеличившейся активностью женщин — жен мигрантов.

Ключевые стратегии «кризисной» миграции

В ходе исследования мы задались вопросом, какова нынешняя таджикская миграция в Россию, каковы ее социально-демографические характеристики, предпочтения, ценности и стратегии. Среди опрошенных мигрантов преобладают те, кто едет «по звонку» на известное им место работы, — их свыше 60 процентов. В эту группу входят квалифицированные работники на производстве, строительстве, в торговле, общепите, транспорте, услугах, ЖКХ. Две трети — люди старше тридцати лет, со стажем мигрантской жизни 2—9 лет, с хорошим знанием русского языка. Здесь и отпускники, которые возвращаются на постоянное рабочее место, и работники, которых работодатели вызвали на определенную работу. Мы встретили бригадиров, которые едут к знакомым работодателям. Они не берут с собой членов своей бригады, рассчитывая осмотреться на месте и затем решить, стоит ли вызывать их на работу. Были и «самозанятые», например, таксист в Москве с собственным транспортом и лицензией на оказание транспортных услуг.

Более трети мигрантов, направляющихся на заработки, едут без предварительной договоренности. Они согласны на любую работу с любой оплатой и любые условия жизни, рассчитывая переждать кризис в России и с улучшением ситуации устроиться на более подходящее место. Половина из них готова заниматься чем угодно вне зависимости от размера оплаты и условий труда. Мы назвали их «отчаявшимися», то есть людьми, которых гонит крайняя нужда. Это, как правило, члены мигрантских домохозяйств, пострадавших от кризиса. Если переводы являются основным источником доходов семьи, то сокращение доходов от миграции, особенно если в течение зимних месяцев семья истратила накопленные сбережения, ставит хозяйства на грань разорения и вынуждает мигрантов ехать на заработки в неизвестность, не заручившись уговором с каким-либо работодателем. Небольшое число мигрантов — это молодые малоквалифицированные мигранты с низким уровнем доходов, которых родные отправили к отцам и братьям в расчете на то, что они заработают хотя бы на еду.

Заметно изменились стратегии. Только половина мигрантов, опрошенных нами в зале вылета Душанбинского аэропорта, по-прежнему собираются работать сезонно. Остальные планируют находиться в России более длительные сроки: от одного, полутора, двух лет до «навсегда». 96 процентов респондентов сообщили, что если будет совсем плохо (если они не найдут или потеряют работу), то все равно будут искать работу в России и только четыре процента сказали, что в случае неуспеха

вернутся на родину. «Там, в России, я всегда хлеб найду, больше, меньше — неважно. А здесь нет ничего» (плотник, 46 лет, Раштский район).

Планы на будущую занятость показали, что мигранты достаточно мобильны и быстро приспосабливаются к изменяющимся требованиям рынка труда как родины, так и страны приема. В ходе опроса мы расспрашивали мигрантов, направлявшихся в Россию, об их занятии в предыдущую миграцию, работе на родине и о том, чем они предполагают заняться. Опрос показал, что переквалификация, овладение несколькими профессиями является одной из ключевых стратегий «кризисной» миграции. Поэтому выезжающие мигранты либо владеют несколькими профессиями, быстро ориентируясь и откликаясь на требования российского рынка труда; либо готовы приобрести новую квалификацию и поэтому согласны на любую работу, рассчитывая быстро ее освоить.

Оценивая гибкость, адаптивность и профессиональную мобильность мигрантов, мы нашли, что около 40 процентов готовы коренным образом сменить род деятельности и согласны на любую работу, включая смену профессии и сферы занятости. Ровно столько же тех, кто сообщили, что будут работать согласно своей квалификации и не планируют менять профессию. Свыше 10 процентов заявили, что согласны работать за меньшую, чем раньше, зарплату, и лишь немногие согласны на худшие условия труда.

Трудоустройство в период кризиса по-прежнему осуществляется в основном через мигрантские сети — через родственников, друзей, знакомых. Особую роль здесь играют точки скопления мигрантов, такие, как строительные рынки, стройконторы.

В поисках помощи мигранты также собираются обращаться к сетям. Свыше половины респондентов сообщили, что в случае необходимости они обратятся за помощью к друзьям. Однако, в отличие от материалов предыдущих опросов, заметно возросла доля тех, кто надеется только на себя.

Отвечая на вопрос о том, на какие средства будет жить семья после отъезда мигранта, респонденты указали, что больше всего надеются на семейное производство продуктов питания (натуральное хозяйство). Только чуть менее 20 процентов опрошенных сказали, что основным источником доходов будет заработок других членов семьи. Свыше трети респондентов сообщили, что оставили семье средства на первое время. Причем более половины из них заняли эти деньги. Некоторая часть рассчитывает на помощь семье со стороны родственников.

Самая большая группа мигрантов — треть — хотела бы получить гражданство России только для себя, оставив семью на родине. Это связано с ужесточением миграционных правил в России после начала кризиса. С начала 2009 года ФМС России выдает иностранцам разрешения на работу только на три месяца. Протекционистская политика на российском рынке труда заставляет работодателей отказываться от приема на работу иностранцев. Поэтому многие хотели бы получить российское гражданство, чтобы работать без помех. Более четверти людей, с которыми мы беседовали, хотели бы переехать с семьей на постоянное место жительства в Россию. Примерно столько же, но чуть меньше мигрантов отказываются от эмиграции со сменой гражданства.

Основным мотивом желаемого переезда и смены гражданства является безработица в Таджикистане и возможность получить работу в России. В гораздо меньшей степени привлекают более широкие возможности, лучшее развитие в России, нежели в Таджикистане.

Сравнение занятости «возвращенцев» и отправляющихся мигрантов показывает, что мигранты очень динамично реагируют на изменение ситуации на российском рынке труда: более чем в два раза сократилось число людей, которые собираются работать в строительстве, и в три раза увеличилось число людей, которые будут работать в общественном питании. Но самое главное, более трети отправляющихся мигрантов согласны на любую работу.

Еще более разительной является разница между возвращающимися и отправляющимися мигрантами по уровню доходов. «Возвращенцы» значительно более богаты, чем те, кто поехал работать в Россию в разгар кризиса: среди выезжающих мигрантов в три раза меньше людей с высокими доходами и почти в четыре раза больше людей с очень низкими доходами, чем среди «возвращенцев». Поэтому можно сделать вывод, что в кризисное время на заработки едут опытные мигранты с

большим профессиональным и житейским опытом, с обширными связями в мигрантских сетях. Кроме того, подавляющее большинство — члены мигрантских домохозяйств, потерявших доходы и сбережения в ходе кризиса. Таким образом, в пик кризиса продолжают мигрировать «профессиональные» мигранты, полностью зависящие от мигрантских доходов.

Оперативный ответ на кризис

Несмотря на апокалипсические прогнозы аналитиков, связанные с сокращением переводов и массовым возвращением мигрантов, худшего для Таджикистана сценария развития — обнищания населения и усиления социальной напряженности — пока удалось избежать. Во многом это произошло благодаря особенностям экономики мигрантских домохозяйств, мерам правительства Таджикистана по либерализации сельского хозяйства в кризисный период, а также благоприятным погодным условиям в 2009 году.

По предварительным подсчетам, в результате кризиса, в том числе сокращения переводов, уровень бедности в Таджикистане повысился только на 4 процента. Не вдаваясь в рассуждения об индикаторах уровня бедности и о качестве статистики, хотелось бы отметить, что важную роль в поддержании благосостояния населения Таджикистана в кризисный период сыграла трансграничная экономика мигрантских домохозяйств, которая включает как зарубежную работу членов домохозяйств, так и их участие в семейном сельском хозяйстве, преимущественно в производстве продовольствия для собственного потребления. Она позволила мигрантским домохозяйствам гибко и оперативно ответить на кризис, перенаправив усилия своих членов с зарубежных заработков на семейные наделы и арендованную землю.

Впервые за всю историю Таджикистана в 2009 году был собран рекордный урожай зерновых культур — более 1 миллиона тонн, 70 процентов из которых составила пшеница.

Рост производства продовольствия в Таджикистане был вызван не только благоприятными погодными условиями и усердием таджикских дехкан, в том числе и вернувшихся мигрантов. Падение в ходе кризиса мировых цен на хлопок привело к отказу от ставшей невыгодной культуры и освобождению от «хлопковой» повинности таджикских дехкан, которые заняли освободившиеся поливные земли продовольственными культурами. Кроме того, ослабление в ходе кризиса курса национальной валюты (сомони) способствовало сокращению импорта дешевых китайских товаров и продовольствия. Переводы от мигрантов, хотя и меньших размеров, были потрачены не на финансирование импорта, как в докризисное время, а на финансирование собственного сельхозпроизводства. В результате в Таджикистане смогли собрать невиданный урожай зерновых и других продовольственных культур, а также увеличить поголовье скота и птицы, что помогло компенсировать сокращение переводов.

Сравнивая различные группы таджикских мигрантов: тех, кто остается в России, тех, кто вернулся в ходе кризиса, и тех, кто в кризисный период едет на работу за рубеж, можно видеть, что самая заметная разница между ними — в стратегиях миграции и возвращения. Наиболее активные мигранты меняют регион вселения, ищут возможности трудоустройства в других странах (США, ЕС, ОАЭ и т.д.), учатся новым профессиям. В ходе кризиса отсеиваются неуспешные мигранты, в основном малоквалифицированная молодежь, которая остается в Таджикистане без работы и доходов. Опытные квалифицированные и менее притязательные мигранты работают в России, несмотря на ухудшение условий труда и жизни.

В то же время индивидуальные мигрантские стратегии являются частью стратегий мигрантских домохозяйств, которые гибко реагируют на кризис, вырабатывая наиболее эффективный способ реагирования на неблагоприятные обстоятельства. Трансграничная экономика мигрантских домохозяйств помогает всему обществу справиться с последствиями кризиса. Поэтому адаптация к кризису происходит и на уровне отдельных мигрантов, и на уровне домохозяйств, и на уровне всего общественного организма государства, столь глубоко вовлеченного в международную миграцию, как Таджикистан.

Александр Джумаев

«В вероучении моем равны и правоверный, и неверный»

К историко-культурным основаниям нашего единства

«Я думаю, что не стоит смотреть на реальность как на плоскую панораму. В разворачивающемся перед нами пейзаже много слоев, и самый глубокий слой, до которого дотягиваешься с наибольшим трудом, может быть раскрыт только при помощи поэзии. Однако он не становится от этого менее реальным».

Федерико Феллини

Океан истории

Когда-то, еще в доисламские времена, в Средней Азии была распространена древняя религия зороастризм с ее концепцией противоборства двух «вечных начал» — добра и зла, составляющих движение мирового исторического процесса, — и верования в неизбежную конечную победу добра. Следы ее и сейчас продолжают открывать ученые в культурах, материальном и духовном наследии среднеазиатских народов. А ее пережитки мерцают необъяснимыми сполохами в ментальности современного среднеазиатского человека. В русле зороастрийской традиции был изречен постулат, который, несмотря на кажущуюся горечь пессимизма, таит в себе проблеск надежды: «Я давно предвидел постоянство нескольких вещей. Не более («далее») чем на протяжении ста лет тело умрет, а власть уничтожится. На протяжении трехсот лет род разрушится, имя забудется и исчезнет из памяти, жилища и обители разрушатся и подвергнутся осквернению, род и потомки [будут] уничтожены и заслужат сожаление, старания [станут] бесплодными, труды и усилия — напрасными, власть перейдет к кратковременным правителям. Но богатство останется у тех, для кого была создана слава времени. Ведь вечное («вечные вещи») осталось и не разрушится, а слово праведное, творения вечные и добрые дела никем не могут быть похищены» (перевод О.М. Чунаковой).

Печально, но не прошло и ста лет, как исполнилось первое из этих предвидений — уничтожилась не только советская власть, но и распались многие культурно-исторические общности, складывавшиеся на протяжении более длительного времени. До сих пор остается неясной судьба самого советского культурного наследия в Средней Азии, возвращенного на синтезе русско-европейских и национальных традиций. Так же, как неясна и судьба среднеазиатского советского человека. Неясны и наши сложные культурные отношения с новой Россией, которая претерпевает разительные изменения, и эти изменения приводят ко все более возрастающим различиям между нами.

Самая сложная проблема здесь — это критерии оценок происшедших и происходящих изменений. В советское время существовала (ныне осмеянная и дискредитированная) достаточно емкая и многосторонняя марксистская система оценки ситуаций, основанная на целостном подходе к явлениям; на учете многих составляющих (и экономических, и культурных, и эстетических, и нравственно-этических, и других), которая в целом базировалась на идее гармонически развитой личности. Скажут, что эта идея — сплошная утопия. Но даже если и утопия, то и в этом есть свой резон, своя прелесть: утопия как путеводная звезда создает пространство и большое время для движения, для совершенствования. В этом смысле утопия о гармонически развитой личности, пусть и отдаленно, но напоминает учение о «совершенном человеке» (инсони комил) в классическом средневековом суфизме — мистическом течении, распространенном в прошлом и в Средней Азии (особенно в городской культуре). И в этом — в наличии социалистических утопий, возможно, и коренилась близость социализма исламскому мышлению, близость русской идеи справедливого социального устройства исламской доктрине устройства социума. Отсюда и такое долгое прощание с социализмом (да и простимся ли?) в Средней Азии у народов с большим исламским наследием (узбеков и таджиков).

В предлагаемых же ныне схемах отношений и концепциях человек как многосложное существо больше никого не интересует, он рассматривается только лишь как «экономическая единица», как рабочая сила — товар. А человек из Средней Азии — особый товар, это очень дешевый товар, почти рабская рабочая сила. Единственным «утешением» для него, а для капиталистов-гуманистов и гордостью являются призывы научиться продавать себя подороже и бороться за «право» отстаивать возможность продавать себя самостоятельно, а не так, как это происходит сейчас, когда тебя продают (а иной раз и перепродают по несколько раз) другие.

Среднеазиатские народы (в первую очередь узбеки и таджики) сохранили во многом представление о «справедливом правителе», уважение к власти и осознание необходимости подчинения ей. Киргизстан — это особый случай, здесь и иные народные исторические традиции, и правители перешли все пределы, и все доведено до крайностей. Но и в прошлом в городской традиции таких правителей объявляли «золимами» — злодеями, тиранами-притеснителями. Таджикский революционный поэт-джадид Абдулвохид Мунзим в своей газели, посвященной революции в Бухаре, написал о том, что казнь шаха в праздник революции допустима, а из его головы можно сделать чашу для музыкального инструмента танбур — «Каллаашро косаи танбур мебоист кард» (такое бы, наверное, и Сальвадору Дали не приснилось). Уважительное отношение к верховной власти у горожан связано, очевидно, и с тем, что на протяжении веков в культуре Средней Азии, в особенности, повторю, в ее городской части, культивировалась тема «справедливого правителя» (подшохи одил), которому противопоставлялся его антипод — «несправедливый правитель-злодей» (подшохи золим). На эту тему было написано большое количество всевозможных литературных сочинений в прозе и поэзии на таджикском и узбекском языках, как принадлежащих известным поэтам, философам, так и созданных самим народом (в фольклорной традиции). Конечно, и в российской глубинке народ продолжает надеяться на «справедливого правителя». Но в целом, в преобладающей части, эти представления уже не характерны для современного российского общества, проникнутого скептицизмом и цинизмом и по отношению к патернализму, и в особенности по отношению к любым упованиям этического толка. В Средней же Азии идея справедливого правителя сохраняется и, более того, модифицируется в соответствии с затянувшимся ожиданием его прихода в мир: он, мол, уже здесь, работает, но окружен продажными чиновниками, мафией; бедный правитель пытается помочь народу, но ничего не может поделать — не дают чиновники, ближайшее окружение. Скрывают от него правду о действительном плачевном положении народа, блокируют поступление правдивых сигналов о ситуации, не подпускают к нему ходоков из народа. А сами тем временем разворачивают все что можно. Конечно, в наше время информационного прорыва и даже информационного диктата вряд ли такое возможно. Хотя очевидно, что чиновничье засилье, произвол и коррупция в разы превышают аналогичные явления в недалеком еще «проклятом советском прошлом». Тогда все же, пусть и в

борьбе, но на чиновника можно было найти управу. Вспоминаются слова казахского культуролога Мурата Ауэзова, сказанные им в свойственной казахской интеллектуальной мысли афористической манере на одной из встреч интеллигенции Центральной Азии на озере Иссык-Куль в конце 1990-х годов, в период демократической эйфории в нашем регионе: «Лань всегда трепетна, волк голоден, а чиновник — вороват». Или выражение одного современного ферганского мыслителя: «Наш чиновник, конечно, берет, но он любит родину».

На этом примере отношения к власти среднеазиатских народов мы хотели показать существование одной очень серьезной проблемы методологического свойства. Многие вещи, переживания и надежды, которые для нас, среднеазиатов, составляют проблемный стержень времени, россиянам, российскому читателю в данном случае, могут показаться наивными или надуманными, иллюзиями. То, что актуально для нашего региона, банально для интеллектуалов России и других демократически продвинутых стран. Отсюда одна из причин нашего расхождения. Отсюда и кажущийся нам снобизм «московского специалиста», за которым нередко скрывается поверхностное знание Средней Азии, «диктуемое» установкой на успех в условиях ожесточенной конкуренции — быстрее успеть первым. Взять, к примеру, последний роман Чингиза Айтматова «Когда падают горы (Вечная невеста)»¹. Нашими интеллектуалами он был воспринят как новое откровение в вечной проблеме добра и зла, откровение, которое еще ждет своего осмысления; а для некоторых критиков в России там все предельно ясно: это, мол, сплошной, притом конъюнктурный, анахронизм. Отсюда же — комплекс «белого человека» из США и Европы, самовозбужденного и самоуверенного носителя своих демократических ценностей, с удивлением обнаруживающего отсутствие верблюдов в панораме среднеазиатских городов. Но это, так сказать, крайности, может, даже исключения, точнее — это лишь выборочное, частичное восприятие многообразной действительности. Ведь всегда есть и другие, противоположные примеры, и их, слава Аллаху, значительно больше.

На самом деле все не так просто. В особенности если не упускать из виду сохраняющуюся культурно-историческую общность между нами, между нашими культурами и народами. Свойство нашего времени — отсутствие чистых форм и в искусстве, и в культуре, и в ментальности, и в экономике: все переплетено и все взаимодействует, взаимодополняется, одно перетекает в другое, даже вопреки нашему желанию. Многое все еще балансирует и вибрирует. Что, куда и как повернет — никто не знает. Можно лишь предполагать. Сблизятся ли вновь, уже на новом витке развития, наши страны и культуры или Россия «прильнет» окончательно к США и Европе, а мы уйдем (точнее, нас «уведут») на Восток — к Афганистану, Ирану, Пакистану?.. Постепенно, конечно, незаметно, шаг за шагом. Или же укрепится многополярная картина с разными векторами симпатий и движений. Но вряд ли стоит надеяться, что так и будет существовать нынешняя вибрирующе-балансирующая ситуация «между» разными силами. Найдутся силы, которые приложат старания к изменению ситуации «неопределенности выбора».

А пока — вновь к «зороастрийской цитате» с ее проблеском надежды на то, что «слово праведное, творения вечные и добрые дела никем не могут быть похищены». Для культуры Средней Азии эта тема остается ключевой, глубинной, животрепещущей. Разумеется, это не прерогатива Средней Азии. Нет, наверное, такой духовной традиции, которая не призывала бы к добру и добрым делам. Благие, богоугодные дела — сердцевина этического учения и в среднеазиатском исламе. И что особенно важно — не только в самом учении, которое далеко не каждому известно в своей теоретической ипостаси, но — в значительно большей степени — в «устной форме», в быту, в повседневной жизни среднеазиатского мусульманина. И даже теперь, в эпоху испытания или уже крушения всех идеалов и страхов (перед партийным комитетом и его «вышестоящими структурами» и перед Богом и его «наместниками» на земле), считается, что «это зачтется», и не только на «том свете», но, что не менее важно, — здесь, на земле. Это вернется тебе в виде удачи в делах, личного счастья, благополучия в семье и т.п. И будь то мелкий жулик или даже крупный бизнесмен, сколотивший капитал несправедливым путем и ворушащий всякими сомнительными делами, все равно нет-нет да и вспомнит он о необходимости хотя бы изредка

«делать савоб» — богоугодное дело (у таджиков и узбеков — кори савоб, савобли иш): кому-то помочь, кого-то поддержать, что-то раздать, кого-то накормить... Не совсем безразлично ему и мнение мусульманской общины (махалли), если, конечно, он живет в ее среде. Махалля, хранительница консервативных традиций, благополучно существовала и в советское время и первоначально создавала немалые препятствия для распространения нового социалистического образа жизни, но потом их этические принципы во многом слились. В этической установке на «добрые дела» отложился многовековой опыт различных культур и религий, обосновавшихся на Великом шелковом пути. Опыт жизни в этом сейсмически неустойчивом общественно-политическом пространстве развивал чувство взаимопомощи и взаимной поддержки, приспособляемость к переменчивым условиям жизни.

Добрые дела на земле Средней Азии — не утешение малоимущих и неудачников, как интерпретировали бы это апологеты дикого капитализма с его теорией социального дарвинизма. Конечно, на протяжении столетий одни следовали им, а другие — нет, баланс сил сохранялся или нарушался. «Ну, какой узбекский мужчина, тем более ферганский, не поделится чашкой плова и лепешкой?» — любит повторять о своем муже — уроженце Ферганской долины моя знакомая, представительница старинного аристократического бухарского рода. «Отдайте лепешку... отдайте лепешку... отдайте лепешку...» — эта финальная фраза из философского спектакля Молодежного театра Узбекистана «Созвездие Омара Хайяма» по поэме Тимура Зульфикарова в постановке Наби Абдурахманова звучит как найденный поэтом-бунтарем ответ на мучительный вопрос о смысле жизни. То есть: поделись тем, что имеешь, не копи свои богатства. И люди продолжают делиться чашкой плова с соседями, будь они узбеки или таджики, русские или корейцы.

Но уже окрепло и новое, «рыночное» кредо, философия коррумпированных чиновников, тоже призывающая «делиться» и объясняющая смысл беспощадных расправ со своими же компаньонами или сослуживцами: «не делился, а надо делиться» или же — делился, но недостаточно. Все поменялось — «кто кого», чья «философия» возьмет верх? Процесс параллельный: возрождается и крепнет народная этика, вобравшая в себя принципы ислама, — крепчает и «рыночная этика». Переплетутся ли они в одно целое, облагородится ли от этого мораль «рыночников» или каждый останется при своем и две тенденции будут существовать в параллельных мирах? Кто знает. А пока — за окном моей квартиры в девятиэтажке слышно, как по утрам совершает обход жилого квартала отин-ойи (мусульманская чтица). Призывая к пожертвованиям, напевает она непростые тексты. Ухо улавливает отдельные фразы: «Бевафо бандалар бевафо дунеда» («рабы неверные в изменчивом неверном мире»). Иначе говоря: подумайте о том, как непостоянно и быстротечно все в этом мире. Но разве не о том же, да и когда еще, говорил великий Омар Хайям, но только не на народном узбекском, а на классическом персидском (перевод Владимира Державина):

Порой кто-нибудь идет напролом и нагло кричит: — Это я!
 Богатством кичится, звенит серебром и золотом блестит: — Это я!
 Но только делишки настроит на лад — и знатен, глядишь, и богат,
 Как из засады подымется смерть и говорит: — Это я!

Века перекликаются, и судьбы переплетаются... В тот год, когда в блокадном Ленинграде скованные голодом и холодом русские востоковеды готовили научную сессию, посвященную юбилею великого узбекского поэта-гуманиста Алишера Навои, и не прекращали исследований по истории узбекской и таджикской литературы, в Ташкенте, по призыву Первого секретаря Компартии Узбекистана Усмана Юсупова, многие узбекские женщины и мужчины ежедневно приходили на вокзал встречать поезда из России, привозившие обездоленных и измученных детей, в том числе — из блокадного Ленинграда. И все они (по разным подсчетам — более 200 тысяч человек) были обогреты и спасены. Сколько об этом было потом написано книг и статей, романов, стихов и поэм, снято фильмов. Эту историю хорошо помнит старшее поколение, известна она и историкам, и вроде бы все уже сказано. Ныне, когда на улицах среднеазиатских городов можно встретить бездомных детей и детдома не пустуют, а

дети нередко ведут борьбу за выживание наравне со взрослыми, в это трудно поверить: неужели такое могло быть? Как измерить этический масштаб этого явления и понять причины: что заставляло людей это делать? Трудно объяснить это чем-то одним. Было многое: и присущая узбекскому народу особая любовь к детям, и сострадание, и чувство патриотизма, и осознанная принадлежность к одной великой Советской державе и ее героической битве с фашизмом. Сказывались, по-видимому, и глубокие исламские этические принципы в их народном, вросшем в сознание человека бытовании, когда собственно исламское перестает осознаваться только как религиозное и превращается в народное. И эти принципы, как теперь очевидно, в своих основных постулатах могли совпадать с политикой Советской власти.

Из таких счастливых совпадений — отношение к детям-сиротам. Как самый страшный грех расценивается в Коране и в других источниках мусульманской доктрины нанесение обиды, ущемление прав и принижение детей-сирот. В прошлом, вплоть до 1930—40-х годов, в Туркестане, а затем и в Советском Узбекистане в десятках фольклорных стихотворений и песнопений были популярны сюжеты о сироте. Существовал даже особый жанр «Етимнома» («Сказание о сироте»), в котором излагалась широко известная в разных версиях в Средней Азии и на Среднем Востоке история-легенда о пророке Мухаммаде и сироте: «Однажды в праздник руза хайит Мухаммад по дороге в мечеть будто бы встретил горько плачущего сироту. На вопрос Мухаммада, о чем он плачет, сирота ответил, что все его сверстники ездят на верблюдах, а у него верблюда нет. Тогда Мухаммад посадил верхом на себя сироту и стал изображать верблюда. Обрадованный ребенок потребовал, чтобы Мухаммад ревел как верблюд. Мухаммад прокричал два раза «афв» (в арабском языке это слово означает прощение, помилование). В это время с неба раздался голос Аллаха, запретивший Мухаммаду в третий раз произнести слово «афв», так как иначе в загробном мире не останется ни одного грешника, прегрешения которого не были бы прощены». *(Версия в записи и пересказе О.А. Сухаревой.)*

Один из возможных смыслов этой притчи: нет таких причин и обстоятельств, которые могли бы оправдать небрежение ребенком-сиротой, кроме воли самого Бога, а Бог — на стороне сирот. И дело не в том, какой ты придерживаешься веры, мусульманин ты, христианин или кто-то еще. И даже не в том, верующий ты или неверующий. Ведь и «неверующий, но с чистой совестью гораздо угодней богу, чем верующий, но с нечистой совестью. /.../ И такие люди входят в бесконечную сложность божьего замысла. Они ему нужны» *(Фазиль Искандер)*. Кому-то по нынешним временам такие слова могут показаться ересью, если не знать, как напряженно на протяжении столетий билась мысль в культуре исламского мира над объяснением разных путей постижения Бога, их примирения и единения. А ересь там совсем другое — порицаемое в культуре ислама невежество (джахолат).

В разгар тяжелых боев с фашистами, когда жизнь солдата мерилась даже не днями, а часами, поезд мчит все новые и новые жизни разных национальностей на смертельные рубежи Великой Отечественной. В своем фронтовом блокноте Василий Гроссман записывает: «Пересели в обычный поезд. Теснота, давка. Контролер говорит человеку в черном пальто: «Пусть сядет боец, который сегодня едет, а завтра его нет». Узбек-красноармеец поет по-узбекски, громко, на весь вагон. Дикие для нашего слуха звуки, непонятные слова. Красноармейцы слушают внимательно, с каким-то бережным и стыдливым выражением, ни одной усмешки, ни одной улыбки».

Через много лет, когда уже не стало СССР и жизнь постепенно начала возвращаться в забытое национальное русло, вспомнил узбекский народный музыкант Тургун Алиматов и опубликовал на узбекском языке удивительную историю из своей жизни. В военные годы, вернувшись с фронта, он встретил на ташкентском вокзале незнакомого ему бедного и отчаявшегося русского человека. В руках у него был футляр со скрипкой. Осмотрев скрипку и поторговавшись о цене, стал Тургун пробовать инструмент и слегка наигрывать на нем узбекские мелодии. Услышав звуки скрипки, стали подтягиваться к ним со всех сторон люди, большинство было в военной форме, некоторые на костылях. В памяти Тургуна вспыхнули воспоминания о его недавнем пребывании на фронте и лечении в госпитале. И стал он произвольно наигрывать «Катюшу», а люди, кто как мог, подпевать и хлопать в такт ладошами.

Изменилось настроение и у хозяина скрипки, и он, довольный, сказал: «Эта скрипка сама расположена к тебе, ладно, если не можешь заплатить, — забирай ее так». — «Я сам артист, — ответил ему Тургун, — только недавно вернулся с войны и теперь работаю в Янгиюльском театре. А ты, похоже, хороший человек, странник, давай заберу тебя к себе домой». — «Я ленинградец, приехал в Узбекистан искать своих детей. Их эвакуировали в эти края в начале войны. Но в какой именно город, я не знаю. А скрипка осталась от отца. Играть на ней я не умею, но слушать люблю. Дома у меня ничего более ценного не оказалось, вот и прихватил ее — вдруг пригодится в какой-то день в дороге. Нет, я ее не продам. Как я могу обменять дорогую для меня вещь на деньги? Подарю-ка я лучше ее тебе. О деньгах не думай. Парень ты замечательный и на скрипке играешь прекрасно. Она в твоих руках не пропадет. А за то, что приютили наших детей, спасибо узбекскому народу!..». Свои воспоминания (опубликованные в 1996 г.) Тургун-ака завершил замечанием, что эта скрипка служит ему и по сей день. Любимый народом Мастер ушел из жизни в преклонном возрасте в 2008 году всемирно признанным музыкантом.

История — океан. Черпай оттуда факты, сколько хочешь и пока можешь и о чем угодно. Можно, например, о взаимной борьбе и неприязни. А можно — о взаимопомощи и взаимовыручке. Кому что нравится или — кому и чему служишь. А еще может быть и так, что для каждого времени — свои предпочтения. Ныне из океана истории все больше выбирают факты и события, которые несут в себе негативный смысл и которые сохраняют злая людская память. Немало их, писателей, публицистов, журналистов, на просторах бывшего СССР, да и далеко за его пределами, кто с сатанинской энергией одну за другой выпускает книги, статьи, снимает фильмы, рассказы, говорящие об ужасах наших взаимоотношений в прошлом, о взаимном истреблении и подлости. И думает простой человек: уж не дети ли это шайтана? Они требуют еще шире открыть для них секретные отделы архивов, чтобы ввести в оборот все новые и новые факты и сведения о масштабах злых дел и чтобы с еще большей злобой и ненавистью сокрушить остатки взаимной приязни. Сколько слито зла и ненависти в «океан истории» за последние два десятилетия!

Востоковед-арабист И.Ю.Крачковский в своих воспоминаниях заметил, что нам не всегда ясны в деталях «пути, по которым идет зарождение симпатии между людьми и народами», и «как глубоко иногда может проникнуть такая симпатия», но «будущее человечества во многом зависит от умения отыскать пути этой симпатии». Стоит задуматься: где и как теперь отыскать эти пути? И возможно ли еще, осталось ли время? Ведь может статься так, что и «времени не будет помириться» (Булат Окуджава). Нынешнему поколению, спрессованному временем и заданным механическим ритмом, кажется, уже и не до поиска симпатий. Даже сама постановка этого вопроса способна вызвать недоумение и раздражение у некоторых современных интеллектуалов. Мы, мол, находимся в эпохе постмодерна, все уже ясно и с властью, и со смыслом жизни. Остались одни интересы, финансовые. Есть, мол, церковь, мечеть, синагога, пусть они и занимаются этим делом, это их профессиональная забота. Но и представителей церкви (мечети, синагоги) иной раз трудно понять. Смотришь, вещает с экрана солидный иерарх о нежелательности и осуждении смешанных браков — и думаешь: где он живет, в какой стране, в каком веке? Или я сам сошел с ума и уже не понимаю происходящего?

История каждой культуры накопила в себе и таит еще не открытой массу позитивного материала. Взять любую эпоху, любой период, любую цивилизацию. Примеры глубочайшего гуманизма рассыпаны в исламской культуре. Ислам и суфизм теперь становятся притягательным символом, модным увлечением и предметом многих и самых разнообразных исследований и постижений. И пишут, и пишут, и рыщут, и рыщут... Но все так же сокрыто в нем столько неизвестного и непознанного! Немудрено, ведь кроме Корана и сунны пророка существуют еще тысячи и тысячи текстов по всем направлениям человеческого знания, комментарии на комментарии... Вот кажется: хорошо сторонникам тенгрианства, каких много среди казахов и киргизов, — нет у них такого количества сакральных текстов, а тем более комментариев к комментариям... Сказал как-то об этом моему старому товарищу казахскому писателю-философу Ауэзхану Кодару — он один из главных тенгри-

анцев и знатоков «степного знания». Но оказалось, что и у тенгрианцев вкупе с устной традицией «степного знания» — свой «океан», со своими вековыми культурными напластованиями. Еще к тому же многое переплетено с исламской культурой и другими традициями. Что ж, попытаемся и мы в отпущенное нам время что-то понять и прокомментировать.

«Маргиналы» Востока

Помнится, в годы перестройки «завучала» как одна из актуальных тема маргиналов, людей без рода и племени, без национальности, точнее, без необходимой «национальной чистоты», чистоты веры, единой цельной культуры, людей, как будто бы тоже повинных во многих наших бедах. Иной раз их приравнивали к популярному тогда образу манкурта. Да и сейчас можно почитать об этих «несчастных», в том числе и в серьезных этнографических работах. Полуругательным словом «маргинальный» обозначается весьма широкий круг явлений в обществе, они обнаруживают себя в разных социальных группах — и в самом низу, и на самом верху.

А мне представилось, что этим словом можно обозначить совсем другое явление — с противоположным, положительным смыслом. Явление, уникальное в культуре исламского мира. Окидывая взглядом историю, понимаешь, как велика роль «маргиналов-медиумов» в развитии идей толерантности, взаимопонимания между культурами и просто в трансляции разнообразных культурных ценностей от одного народа к другому, от одной конфессии — к другой, в обмене этими ценностями и в их истолковании для других культур. В каждой эпохе их не так уж и много, может быть, единицы, но именно они не дают окрепнуть фундаментализму в его разных — светском или религиозном — обличьях. Они, постоянно колеблясь и сомневаясь, способны следовать заповедям всех религий и верований одновременно или последовательно, стремятся понять всех и каждого. Они не сделали окончательного выбора в пользу одной культуры, но в этом и есть их собственный мужественный (и небезопасный для любого времени) выбор — следование принципу активного совмещения различного культурного и духовного опыта. Как далек он от современной дешевой всеядности, релятивизма и политкорректности, взращенных на ниве всевластия СМИ, где и смерть человеческая — всего лишь «рекламная пауза». Не будь их в тысячелетней истории, народы и нации, наверное, давно изрубили бы друг друга в битве за «чистоту» своих истоков. Разве не «маргинально» звучит одно из самых известных четверостиший Хайяма (перевод Вл.Державина):

Одна рука — на Коране, другая — на чаше пиров.
То мы — благочестивы, то нет для молитвы слов.
Под этим мраморным сводом, в эмалевой бирюзе
Кто мы — мусульмане, кяфиры? Неясно в конце концов.

И сколько аналогичных высказываний у разных авторов! Вот еще одно из наследия Хайяма, которое по нынешним временам массового «возвращения» к религии вообще может показаться кощунственным (подстрочный перевод мой):

Кумирня и Кааба — пространство рабства (хонаи бандаги),
Бить в колокол — мелодия рабства (таронаи бандаги),
Михраб и церковь, четки и кресты —
Поистине, все это — знаки рабства.

Значит ли это, что Омар Хайям не верил в Бога и не был мусульманином? Вовсе нет, наоборот — он был правоверным мусульманином. Но как великий человек свободного духа и бунтарь, он искал свой путь постижения Бога, не отягченный и не придавленный гнетом средневекового религиозного официоза.

С темой сомнения перекликается идущая через века на мусульманском Востоке тема многообразия и единства духовного опыта в постижении Бога. Эта тема в

разном объеме присутствует у большинства поэтов и суфийских мистиков. Здесь и великий Джалалиддин Руми, и Баба Тахир, и Адиб Сабир Термизи, Саади Шерази, Боборахим Машраб и многие, многие другие, как известные, так и неизвестные авторы. Часть из этих текстов уже давно известна ученым-востоковедам и опубликована на русском языке. Но есть немало и таких, которые до сих пор остаются в рукописях. Строка из рубаи, вынесенная мной в заголовок статьи, принадлежит малоизвестному музыканту, поэту, философу-суфию XVII века из Индии Бакийаи Наини, выходцу из Средней Азии (рукопись его сочинений хранится в Институте востоковедения им. Беруни в Ташкенте): «В вероучении моем равны и правоверный, и неверный» (Дар масхаби мо мумину кофир якист). Он же сказал и о сердце, которое вмещает сто Кааб и сто кумирен («языческих храмов»).

Говорят, ступай в Каабу, там место Бога твоего,
Идти же в Бинарес, о сердце, недопустимо.
Но Кааба и кумирня сердце не вместят мое,
Сто Кааб и сто кумирен — все они внутри него.
(Подстрочный перевод с персидского — мой)

Скажут, что слова эти, как и другие аналогичные, принадлежат своему времени или своему определенному философскому течению, возникшему там-то и тогда-то, под влиянием того-то и просуществовавшему до такого-то времени. Так-то оно так, но это лишь одна сторона правды. Если бы их смысл не приобрел всеобщего значения, универсального звучания, то вряд ли читатели переписывали бы их и другие подобные стихи из века в век, через столетия. Эти идеи, даже не находясь в прямой преемственной связи между собой, созвучны злободневным проблемам каждого нового витка истории, они движутся сквозь века и разные культурные миры. Вспомнился рассказ об Игоре Витальевиче Савицком, русском подвижнике из Нукуса, создателе знаменитого ныне на весь мир музея изобразительных искусств Каракал-пакстана. К ужасу некоторых ученых-археологов, подвергавших его жесткой критике, он складывал из различных разрозненных черепков, найденных на городище, цельные керамические совершенные формы. Для него была важна сама идея прекрасно-го в ее античном воплощении, а не точная и конкретная привязка того или иного обломка к тому или иному культурному слою (что было задачей археологов-историков). И через столетия в совершенно другом культурном пространстве высказанная мысль может оказаться «продолжением» далекой средневековой идеи. Подобные строки-размышления, возникшие уже в контексте советской «маргинальной» действительности, мы находим в стихотворении «Размышления у надгробного камня» ташкентского поэта, народного поэта Узбекистана Александра Файнберга:

Еврея-резника потомок православный в миру на мусульманке был женат.
Кто ж облачал его в прощальный саван? Кто проводил его до райских врат?
Мулла ершалаимской синагоги? Из Мекки поп? Всея Руси раввин?
Тут Соломон, и тот откинет ноги. Прости, Господь. Лехаим. О-омин.

Исторический опыт мусульманской цивилизации в разработке идей и практики сосуществования и взаимодействия культур, конфессий и традиций народов, их осмысления в надконфессиональных и наднациональных концепциях еще далеко не изучен. Насколько известно, не введен этот материал в должном объеме и в учебный процесс в школах и вузах наших стран. Нет популярно изложенных описаний наиболее интересных примеров толерантного образа жизни и духовного наследия прошлого. А вот литературы обратного свойства, посвященной бесчисленным войнам и походам больших и маленьких царьков и ханов, — сколько угодно. Немалая интеллектуальная энергия журналистов, публицистов, любителей-историков, да и профессиональных ученых-историков в наших странах направлена на восхваление подвигов средневековых властителей, сокрушавших соседние и дальние государства и народы. Даже какой-нибудь маленький батыр, размахивавший своим самодельным мечом, сидя на тощей лошаденке, и тот превращен стараниями новых мифологов в грозного могучего героя. «Умирает со скуки историк: за Мамаем все тот же Мамай» (В.Набоков).

Не наступило ли время «разрыва струн лютни»?

Лейтенант английской армии Александр Бернс писал о Бухаре в 1832 году: «Чтоб ознакомиться с узбеками и жителями Бухары, иностранцу стоит только сесть на одну из скамеек Регистана: там он найдет уроженцев Персии, Турции, России, Татарии, Китая, Индии и Кабула, встретит туркманов, калмыков и кайсаков из соседних степей, так же, как и уроженцев земель более плодоносных...». Вслед за Бернсом это подтверждали затем многие путешественники и ученые-востоковеды.

Прошло немногим менее двухсот лет, и нет теперь такого места в Центральной Азии, где бы можно было видеть подобное тому, что было в Бухаре. Разве что на границе. Да, пожалуй, только на наших межгосударственных границах можно еще увидеть «яркие и незабываемые встречи народов». Но о границах уже столько сказано, написано и снято! Тем не менее и мы решили кое-что добавить к этой теме. Ведь именно здесь чаще всего и происходит первый «культурный диалог» между людьми разных стран. Ситуация на границах — это косвенное отражение утраты других, куда более значимых границ — границ внутри нас, в нашем сознании, в понимании того, что можно, а что нельзя, в системе ценностей.

Многие не без основания считают, что крушение взаимной симпатии, взаимного уважения между народами и людьми или того, что теперь называют толерантностью или межнациональным диалогом, происходит именно на границах — на наземных пропускных пунктах, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах. Именно здесь возникают ситуации, которые и простой человек, и «интеллектуал» склонны моментально обобщать и переносить на целый народ и целую страну. Удивительно, что это касается почти исключительно негативных ситуаций. Тогда как позитивные почему-то не вызывают желания сделать обобщающее заключение и спонтанно воскликнуть: «Какой же все-таки замечательный народ эти казахи (туркмены, узбеки, русские...)!» А вот иначе — пожалуйста, сколько угодно: «Какой же ужасный народ эти казахи (туркмены, узбеки, русские...)! Да они и раньше такими были: грабили наши торговые караваны; угоняли и продавали наших женщин в рабство; грабили наши природные ресурсы и т.д. и т.п.». И пошло-поехало...

Приведу несколько примеров из собственных наблюдений на границах. А у меня их немало. Складывались на протяжении многих лет, начиная с середины 1990-х, когда по долгу службы приходилось довольно часто пересекать границы (в основном наземные) внутри Центральной Азии и в России. О некоторых я уже упоминал в разных публикациях по проблемам культуры Средней Азии и даже участвовал в составлении обращения группы интеллигенции Центральной Азии к правительствам наших стран с просьбой об упрощении пересечения границ для деятелей культуры (вот, небось, от души посмеялись госчиновники над «лохами»!).

Середина 1990-х. Расцвет эпохи «дикого капитализма», когда отнять и забрать у проезжающих граждан было едва ли не правилом на всех границах. Пограничники, а особенно таможенники, выходили на работу как на охоту. В средневековых мусульманских хрониках их бы наверняка выделили в особую социальную категорию со своими специфическими интересами — что-нибудь вроде «люди границ» (на персидско-таджикском: ахли худуд). Можно было наблюдать душераздирающие сцены: крики, плач, даже потасовки. Люди не знали законов, и им никто не говорил о них. Этим и пользовались. Многие, если не большинство, еще продолжали жить в воображаемом пространстве СССР, не поняв до конца, что же произошло со страной. Так и звучат в ушах вопросы: деньги есть? Валюту везешь? Где взял? У нас заработал? Почему не задекларировал? (А что там декларировать-то — 30—50 долларов.) Документ покажи! Где справка? А это что за бумаги? Научные? А бумаги законные? Человек поневоле чувствовал себя преступником. И забирали, вплоть до мелочи, на глазах у других, а если что, отведут в сторонку («пройди в ту комнату») и там уже внятно все объяснят (поделись, мол, по-хорошему). Конечно, те, кто возил товар и занимался челночным бизнесом, как-то принаровились, завели знакомства, даже телефончиками запаслись (встречай, мол, завтра буду с товаром), договаривались, отлаживали маршруты. Но простой народ страдал, как, впрочем, страдает и сейчас. Хотя теперь, конечно,

многое переменялось, в особенности в аэропортах, где этот номер уже не пройдет, разве что как исключение. А вот на наземных границах еще можно довольно часто столкнуться с разными «рецидивами». Правда, масштабы отъема, надо сказать, поубавились. А тогда... Прилетаешь в Москву или в Петербург и слышишь: «Не забывайте, где вы находитесь, вы находитесь на территории иностранного государства! Эй ты, в шапке, а ну, поди сюда!». (Замечательную фразу насчет «шапки»-тюбетейки мне подарил мой друг, известный узбекский ученый, к которому именно так и обратились в аэропорту его любимого некогда города.)

Конечно, встречались среди служащих и честные, порядочные люди, не хапужничавшие и даже приходившие на помощь своим недавним согражданам. И положение, наверное, постепенно, хоть и медленно, улучшается. Но остается один очень важный и серьезный вопрос: где теперь эти люди в погонах и в штатском, которые уже выросли, поди, до полковников, а то и до генералов? Сгинули, что ли, все они или все же перевоспитались? А если нет, то каков теперь масштаб их деятельности?

И думает простой человек: какой прок от всех этих ШОСов, СНГ, ОДКБ и прочая, прочая, если годами ежедневно идет «большой тренинг» по воспитанию ненависти между народами? На границах быстрее всех покончили с советским народом (неплохо помогли политикам). Кое-кто из старшего поколения вспоминает Сталина: да, был жесток, но ведь и порядок был, и чиновники при нем тряслись от страха. А может, мысленно и призывают его дух: приди, спаси нас от этого «разгула демократии». Подобно тому, как в годы революции местные патриоты-националисты призывали духи Тимура и Чингисхана, и пьесы об этом писали, и стихи сочиняли. Что же удивляться насчет Сталина, особенно в России, если сама реальная жизнь не оставляет человеку надежды? У меня в коллекции архивные документы — вот, например, предписание чиновникам в течение трех суток сообщить о принятых мерах по улучшению условий жизни такой-то семьи, кормилец которой на фронте Великой Отечественной. И конкретное жесткое предупреждение: в случае невыполнения — под трибунал. Так было, и это работало в то время. А сейчас найдут способ, выкрутятся, заговорят-заболтают, адвокаты грамотные, а то еще и оклеветают невинного, и превратится он из истца в ответчика. А ведь могли бы что-то придумать, раз все еще так перемешано и все еще числимся мы братскими, родственными или дружественными народами. И в конце своих грустных размышлений человек нередко приходит к такому «классовому выводу»: что тут поделаешь, наверное, «настало их время», «ведь они друг другу поддерживают, хоть и разных наций-народов, а мы — как собаки друг против друга».

Тут приходит в голову старое среднеазиатское, мусульманское «охир замон» (ахир заман, акир заман), то есть, в буквальном переводе с узбекского и других тюркских языков, — «последние времена». И в памяти всплывает строка из стихотворного хикмата (мудрости) Ходжи Ахмада Яссави, суфийского старца XII века из соседнего с Ташкентом города Туркестана, что ныне в Чимкентской области Казахстана: «Охир замон шайхлар иши хаме рие» — «Дела шейхов последнего времени — сплошное лицемерие».

Центры притяжения: среднеазиатский Вавилон

Вот мы и добрались до него, до города, который согревал и спасал и где еще теплится надежда, теперь уже, правда, слабая, что все еще вернется и он скажет свое слово. Ташкент без всякого преувеличения в последние два десятилетия едва ли не самый популярный и притягательный символ былого города СССР на постсоветском пространстве и за его пределами. К этому образу обращаются люди разных возрастов и поколений. Он — свежее, сильное ностальгическое поле, созданное огромным количеством людей, покинувших город после распада СССР и продолжающих разбредаться по всему миру. Их усилиями ташкентская ностальгия перенесена во всемирную интернетовскую сеть. Ташкент — не Нью-Йорк и не Москва, куда в последнее время едут делать карьеру и большие деньги все кому не лень. Здесь, конечно, денег не сделаешь, да и с карьерой не особенно развернешься, здесь — другое. Удачно расположенный с природной точки зрения, Ташкент — это не только

природное тепло, прекрасная роза ветров и горная прозрачная вода. Это всегда было и по-человечески очень теплое и комфортное место обитания людей многих национальностей. Ташкент можно было считать синонимом толерантности и человеческого сотрудничества, символом взаимосвязи Востока и Запада. И именно в этом смысле о нем следовало бы говорить и «опыт Ташкента» изучать. Но теперь приходится сказать совсем другое: к несчастью, почти все это уже в прошлом, это история. «Среднеазиатский Вавилон» распался.

Да, кто только не воспевал его, кто только не упоминал. И английский шпион Фредерик Бейли, чудом вырвавшийся из лап ЧК («Миссия в Ташкент»), и герой В.Шукшина, который налаживал в своей далекой баньке «маленький Ташкент». Последней по времени и, может быть, более других его воспела Дина Рубина, ведь здесь, по ее собственным словам, прошло ее «мусорное детство». Да, чего-чего, а стерильной буржуазной чистоты здесь никогда не бывало. Ташкент — своего рода вольный город, здесь всегда была своя вольница. И кто только не учился и не жил здесь из деятелей культуры и науки, политики и экономики республик Средней Азии и Казахстана в первой половине XX века. Кто только не был связан с ним из современных известных российских деятелей политики, культуры, искусства.

Ташкент конечно же многие десятилетия был неформальной столицей региона, связывая воедино народы и культуры всех республик Средней Азии и Казахстана, а также всесоюзные центры — Москву, Ленинград. Если Бухара и Самарканд — это пространство тюрко-узбекского, персидско-таджикского, иудейского и русско-славянского культурного взаимодействия, синтеза и противоборства, то Ташкент без преувеличения был очень уютным «маленьким Советским Союзом». Но при этом была в нем и своя давняя многовековая специфика, состоявшая в противоборстве и единении городского и степного, персонифицированного в узбекском и казахском культурном началах. Ташкент — пограничная зона между большой степью и большими городскими цивилизациями. Кала мен дала, дала мен кала... Движение степь — город, город — степь не прекращалось веками. Оно и теперь еще происходит, но в очень малом объеме. Может, опять увеличится, когда, Бог даст, в отдаленном будущем исчезнут все границы? Здесь место, где культура степи завершается городом и в городе. А город завершается степью и наталкивается на степь. Здесь город и степь — взаимопроникающие сущности. Если человек уходил из города в степь и начинал там жить, то он становился казахом, а если он приходил из степи в город — становился сартом-горожанином. Об этом очень интересно размышлял рано ушедший из жизни талантливый казахский ученый и публицист Нурбулат Масанов.

Именно ташкентцы — жители города превратили в изысканный эстетизированный культ элементарные жизненные потребности кочевых жителей степи. Казы, нарын, хасиб, кумыс... Местные гурманы всегда знали и теперь знают, где и как готовят эти яства. Чиновники, ссылаясь на то, что начальник (министр), мол, вызвал на совещание, специально выезжают поесть хасиба или нарына. А один ташкентский любитель кумыса (кстати, русский) даже попросил меня записать для него на кассету казахскую домбровую музыку, чтобы слушать ее во время питья кумыса — для полной гармонии. Если в Ташкенте неожиданно холодает, жители замечают: «Наверное, у казахов в степи выпал снег». А один казахский писатель-популяризатор написал, что посередине города Ташкента стоит большой памятник казахскому герою (Герою Советского Союза) Сабиру Рахимову, куда жители приходят на поклонение. Да, мифы и реальность здесь трудно отделимы друг от друга, а анекдоты о двух родственных народах распространены в изобилии.

Но кроме анекдотов много было сказано друг другу добрых слов и сделано добрых дел, которые и сейчас на памяти старшего поколения. Узбекский писатель Айбек вспоминает (в повести «Детство») наставление, которое его отец слышал от своего отца: «Недругов много, они есть всюду. Дружи только с достойными. Води знакомство с казахами. Казахи — народ добрый, отзывчивый. Мне часто приходилось иметь дело с ними, они любят мир, спокойствие». Сколько было высказано подобных искренних слов (в стихах и прозе) восхищения и признаний в любви и благодарности друг другу. Не может же это все пропасть, кануть в Лету, все равно когда-то, на новом циклическом витке истории оно вернется в общество.

Мой Казахстан, ты, волшебством
Взяв, удочку забросил.
Не рыба я. Во мне огнем —
Лучей горящих россыпь.

И я на удочку любви
К тебе сама попалась
И здесь в кипенье чувств творить
Из солнца песню стала.

Распутав леску, соткала
Слова про край чудесный.
Я б в юрту белую вошла,
Чтоб в ней остаться песней...

Это стихотворение узбекской поэтессы Зульфии «Удочка» в переводе с узбекского Б.Пармузина. Теперь такие стихи помнят разве что специалисты-литературоведы да редкие ценители поэзии из поколения интеллигенции советской эпохи. Во многом благодаря личным дружеским связям этого поколения еще как-то поддерживаются старые добрососедские отношения этих двух народов и вообще народов в масштабе региона. С их уходом многое переменится. Впрочем, начиная с 1990-х многое уже переменялось, да и сейчас на прежнее наше добрососедство продолжает обрушиваться шквал злобной и циничной критики. Энергичная, получившая образование на Западе, деловая молодежь, не ведающая трудностей прошлого и обезумевшая от пролившегося на нее долларового дождя, предпочитает выстраивать жесткие и прагматичные отношения, основанные только на выгоде и «интересе».

Ташкент — рай для поэтов, художников, композиторов... В прошлом закоулки города, где жизнь могла находить свои потаенные формы существования, порождали извилистость и потаенность мысли; а скрытые паранджой взгляды «сартянок», спрятанных за дувалами, вызвали нешуточные образы. Выживаемость в малом замкнутом пространстве обусловлена способностью к терпимости, компромиссу и приспособляемости. Здесь возникали маргинальные культурные ситуации и маргинальные культурные типы, которые вызывают интерес в качестве «объектов» творческого переосмысления, как это происходило в знаменитом ташкентском театре Марка Вайля «Ильхом».

Давно уже сказано, что Ташкент — город хлебный. Здесь искали и находили спасение сотни и тысячи людей в годы революции и гражданской войны. В Ташкент направлялись голодающие из казахской степи в начале 30-х годов, но не всем удавалось спастись. Как было уже упомянуто, в годы Великой Отечественной в городе нашли спасение тысячи жителей из разных городов СССР, в особенности дети. В те годы город стал едва ли не самым богатым в стране по количеству культурных заведений (многие из которых были эвакуированы сюда из центральных городов) и по интенсивности культурной жизни. Жилось очень трудно. Но о том, насколько была интересна культурная жизнь, говорят многие факты, которые, к сожалению, мы не можем здесь перечислить за недостатком места. Особая атмосфера города времен войны запечатлена в десятках документальных и художественных свидетельств. Например, в сонете Александра Файнберга «Ташкент. 1943».

Над мастерской сапожника Давида на проводах повис газетный змей. Жара. По тротуару из камней стучит к пивной коляска инвалида.

Полгода, как свихнулась тетя Лида. Ждет писем от погибших сыновей. Сопит старьевщик у ее дверей, разглядывая драную хламиду.

Плывет по тылу медленное лето. Отец народов щурится с портрета. Под ним — закрытый хлебный магазин.

Дом в зелени. Приют любви и вере. Раневскою добытый керосин. Ахматовой распахнутые двери.

Вместе с тем Ташкент — город не только хлебный, где жители веками, не торопясь, наслаждались жизнью. Это и город инноваций и всяческого рода амбициозных проектов. Таким он зарекомендовал себя в XX веке. Здесь было сделано немало разного рода изобретений и открытий, будь то технического либо культурного свой-

ства. В художественной культуре здесь всегда соседствовали разнонаправленные устремления: либо разрушить и искоренить традицию до конца, либо сохранить ее во что бы то ни стало в неизменном виде и не допустить никаких внешних влияний, либо все же найти новый синтез старого традиционного и нового современного. Последняя линия взяла верх, что и принесло свои разнообразные и богатые плоды.

В Ташкент волнами приезжали интереснейшие люди самых разных профессий и увлечений, разных национальностей. Три волны необходимо отметить особо: периода революции, периода репрессий 1930-х годов и эвакуации военных лет (1941—1945 гг.). Именно из этой среды выдвигались люди, вносящие время от времени радикальные изменения в картину художественной и культурной жизни города.

В 1920-х — начале 30-х годов в Ташкенте расцветает авангардная живопись, питавшаяся духом послереволюционного энтузиазма. Здесь творят ранние А.Н.Волков, Усто Мумин (А.Н.Николаев), Н.Г.Карахан, У.Тансыкбаев, В.Уфимцев, Е.Коровой и многие другие, теперь причисленные к родоначальникам и классикам среднеазиатского авангарда. В искусстве фотографии экспериментирует Макс Пенсон, влюбленный в Узбекистан и революционное переустройство старой жизни (теперь он «открыт» на Западе). Особого разговора заслуживают эксперименты в области композиторского творчества. В начале 1930-х годов в Ташкенте живет и работает не признанный в те годы Николай Рославец (1880—1944). Ныне его сочинения с огромным успехом исполняются, а творчество и теоретические воззрения изучаются в России и других странах в контексте достижений «русского авангарда». «Узбекские опусы» Н.Рославца, к сожалению, так и не вернулись в нашу концертную жизнь. Музыковед Виктор Беляев, крупнейший специалист по современной музыке того времени, понимал, что произведения Рославца не соответствуют задачам новой эпохи. Еще в 1933 году он написал об этом своему другу В.А.Успенскому в Ташкент: «Рославец, конечно, не может дать никакого приближения к стилю национальной узбекской музыки в своих композициях. Это знает всякий музыкант. Не знают этого только ташкентские музыкальные воротилы».

В середине 1970-х годов в Ташкенте начинается еще один художественный эксперимент, оставивший глубокий след в истории культуры города — деятельность театра-студии «Ильхом» под руководством Марка Вайля. Здесь авангард соседствует с андеграундом, с духом конфронтации и фрондерства. Теперь, по прошествии многих лет и после гибели Марка Вайля, «Ильхом» воспринимается и как одно из самых знаковых мест в культурном пространстве Ташкента. И не случайно в конце 1990-х именно театр «Ильхом» стал первой площадкой для проведения уникального в регионе Средней Азии и Казахстана международного Фестиваля современной музыки «Ильхом-XX» (основные расходы по его проведению взяло на себя отделение Фонда Сороса в Узбекистане). Десять фестивалей, проведенных под художественным руководством ташкентского композитора Дмитрия Янов-Яновского, изменили музыкальный ландшафт города. Ташкент авангардный шел вразрез с официальным художественным временем и получил признание постфактум.

В Ташкенте проклеивался авангард
Средь бедности, пыли и глины...
Но мы не искали погон и кокард,
Хоть путь был тернистый и длинный.

(Евгений Мельников. Из сборника «Лики и образы»)

Распад «среднеазиатского Вавилона» — это лишь часть тех масштабных изменений, которые привели к новой культурной ситуации в регионе. Картина мира переменялась. Но демонтаж «советской культуры» еще не завершен. Так много было наработано, что сразу и не осилить. Из общего единого тела советской культуры вычленяются (вырезаются) отдельные ее национальные части и сортируются по своим «национальным полкам». «Орудуют» как наши местные культурные деятели и ученые, так и приезжие «специалисты». Собственно говоря, а куда деваться и что делать? Нет теперь ни общей страны, ни общей культуры. К тому же передел востребован новыми элитами внутри стран и «институтами» за рубежом, и за это платят. Вот вам еврейское наследие, вот русское, а вот узбекское, таджикское... Многие из «препарированных» личностей несказанно бы удивились, будь они живы, своей при-

надлежности к какой-то одной национальной культуре. При жизни они относили себя к советским деятелям культуры, к советской культуре и меньше всего думали о своей этнонациональной или конфессиональной принадлежности. У всех были общая культурная платформа, общее поле деятельности и общий язык культуры — русский. Показателен пример выдающегося узбекистанского искусствоведа Лазаря Израилевича Ремпеля (1907—1992), прошедшего многие годы своей активной творческой жизни в Ташкенте и создавшего фундаментальные труды по истории искусства Узбекистана и Средней Азии (его столетие в 2007 г. осталось незамеченным в Узбекистане и в регионе в целом). Незадолго до смерти в частном письме другому ташкентцу — Борису Чуховичу (ныне гражданин Канады) он так выразил свое отношение к ставшим вдруг «актуальным вопросам»: «Вас волнует вопрос о гражданстве. Сознаюсь, я об этом не задумываюсь. Любой национализм мне тошнотворен так же, как и шовинизм. В Ташкенте я в прошлом не ощущал себя ни тем, ни другим. Не могу сказать, что разделял сполна призывы к «интернационализму», видя в нем род ассимиляции, где преобладает не этнос, а растирание всякой нации в порошок, до полного исчезновения в нем всякого духа, запаха, вкуса. Здесь я попал в другую среду (*речь идет о последнем периоде в жизни ученого, когда в начале 90-х годов он переехал из Средней Азии в Москву.* — Б.Ч.). Спорят о том, кто затеял драку: национализм (местный) породил шовинизм (великодержавный) или наоборот? Оба хороши! Оба тошнотворны в своей ограниченности. Если уж «наклеивать ярлыки», то я скорее «космополит», который в каждой нации ценит ее неповторимость».

Внутренний передел совпал с двумя прямо противоположными тенденциями — нашествием современной евро-американской суррогатной культуры, охватившей в первую очередь образ жизни и мировоззрение части нового поколения и предоставившей в распоряжение своих адептов джентльменский набор «духовных» ценностей масскультуры. Другая тенденция — для «широких масс» коренных народов — свобода обрядов и ритуалов, архаизация и мифологизация сознания. Эти две тенденции местами даже странным образом переплетаются, и объединены они одним общим началом — самоуверенной стихией не рынка даже, а «рыночного мышления» (все можно купить, на всем поживиться и все продать), размывающей не только всю предшествующую систему культурных и духовных ценностей советского времени, но даже и возрождающихся ценностей исламской культуры. Как говорилось раньше, «новое неудержимо прокладывает себе путь». Уход «старой культуры» под шумный аккомпанемент нарождающейся «новой системы ценностей» стал для многих ее носителей личной трагедией. Слова Б.Чуховича, сказанные по поводу судьбы ученого Л.И.Ремпеля, можно отнести едва ли не к большей части того поколения людей культуры, а равно и к ее отдельным ярким представителям: «Вскоре жизненная драма ученого завершилась. Драма же культуры, к которой он принадлежал, продолжается». Целокупное ощущение этой драмы проступает, казалось бы, через внешне частное и глубоко личное, превращаясь в обобщенный образ нашего времени. Вот из последних стихотворений Александра Файнберга (умер в Ташкенте в 2009 г.):

Что мне твой Нотр-Дам? Что мне твой Колизей,
если падает снег на могилы друзей?
Что, красotka, бассейн? Что мне твой лимузин,
если не с кем зайти в угловой магазин?
Что мне сотовый твой в ресторанном дыму,
если некому больше звонить по нему?
Меж крестов я пройду по январскому льду.
С плит холодных я веником снег обмету.
Ты, подруга, езжай. Ты меня не жалеи.
Я пешком добреду до берлоги своей.
До двора, где у джигов толпится с утра
с деловитыми лицами рвань-детвора.
Где на голых деревьях собор воронья,
Где берлога — и та уж почти не моя.

Ташкент, май 2010 г.

¹ Впервые опубликован в журнале «Дружба народов», см. «ДН», 2007, № 7.

Султан Яшуркаев

Царапины на осколках

Фрагменты Книги второй

По улице, нащупывая дорогу длинной палкой, шел слепой лет шестидесяти, в темных очках, с короткой рыжей бородой, в джинсовой куртке, на голове — кожаный пес. «Пес» это не собака, а легкая такая шапочка. Не знаешь, по каким приметам, но подумалось, что этот человек в плохом настроении. Собственно, какое с него и требовать настроение? Поздоровался с ним. Отвечая без улыбки, он приостановился. По обычаю, пригласил его в дом, он согласился, но во дворе сказал, что в дом не хочется, — вынес бы ему стул, он присел бы ненадолго. Пospешно исполнив его пожелание, стал разжигать огонь, чтобы поставить чай. Он назвался Муслимом, поведал, что идет в поселок Собачевка, это далеко, на краю города, за 36-м участком. Говорили с ним только на чеченском. Когда он уже сидел, заметил, что обувь у него — черные туфли старого фасона начищены до блеска. Поставил ему хлеб, лук и соленый творог, недавно обнаруженный в зеленой эмалированной кастрюле под нарами в комнатке, в которой жил в ту войну. Такое сочетание когда-то в нашем меню было вполне гармоничным, и теперь оно так, когда ничего такого, чем угостить человека, у тебя и нет. Он шел из Октябрьского района, вышел рано утром. Я посочувствовал: трудно же так далеко идти. Он промолчал, но потом спросил, учился ли я в школе. Я подтвердил, что учился. Еще спросил, не кончал ли какой-нибудь институт, ответил, что было и такое дело. На лицо его легла тень. Он молча отпил глоток чая и несколько резко спросил: «Видишь, я слеп?». Почувствовав неловкость, я промолчал. Он же: «Я ничего не кончал, я слепой, но и слепым видел, что это придет, а почему не видели вы, зрячие, "кончавшие"?». Ничего не мог ему ответить, чувствовал себя застигнутым на месте преступления. «Не знаю, для чего вы учились!» — добавил он тем же голосом и резко положил кусок творога, который нес ко рту. Повисло тягостное молчание. Хотелось, чтобы появился Парень и прервал эту тягость. Но тот не появился. Может, пожалев о своей резкости, Муслим, нащупывая чайную ложку, другим уже голосом, бросил: «Беда не в том, что слепой ходит вслепую, а в том, что зрячие ходят слепо». От мягкости этого тона легче не стало. Так ничего и не смог ему ответить. После некоторой паузы я отвечал только на его вопросы: откуда родом, где жили в Казахстане — обычные наши вопросы. После чая проводил его до «Вторчермета». По пути Муслим в свой черед рассказывал, что они в Казахстане жили в Талды-Курганской области, там он и ослеп в двенадцать лет, может, потому, что от голода ел много соломы. И сам помнишь, как резали солому, словно вермишель, и варили из нее суп; еще добавляли крапиву, если находили, или траву какую, древесную кору... Хотел и дальше его проводить, но он настоял, чтобы я вернулся. Уже вслед мне бросил: «Не бери в обиду мои слова». Махнул ему рукой. Зачем в обиду, это были верные слова. Вернувшись к себе, не читая, долго листал энциклопедический словарь, пытался отвлечься. Не получалось. Заглянул к Канту, засевшему в неимоверно толстой книге с красным переплетом. Какая разница, чем или кем отвлечешься?

Ты — лицо кавказской национальности, он — лицо немецкой национальности, он — мудрое лицо, ты — не мудрое. Он сидит в своем кабинете в немецком городе

Кенигсберге, может, тоже отвлекается от чего-то. Думает. Думы тоже иногда отвлекают... от других дум. Думать он должен, потому что он не чеченец, а философ. Он должен думать глубоко, потому что не просто философ, а большой, говорят, даже великий. Он так много думает, что его мысли станут поворотным пунктом в истории того, о чем думало все человечество до того, как стал думать он. После него философию разделят на два периода: «до-критический» (до-кантовский) и «после-критический» (или после-кантовский). В небольшом для такого большого мыслителя кабинете он думает о человеческом счастье. Говорит сам с собой: «...чем больше просвещенный разум предаётся мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности...». Подумав еще часа два, добавляет: «...к сожалению, понятие счастья столь неопределенное понятие, что, хотя каждый человек желает достигнуть счастья, тем не менее, он никогда не может определенно и в полном согласии с самим собой сказать, чего он, собственно, желает и хочет».

Прерывая Канта, возникает Достоевский... что-то у него про несчастного мальчика было. Почему-то захотелось подарить тому мальчику другую судьбу, чтобы, вопреки Канту, он прожил счастливым. Это надо сходить в ту комнату и сколько ж томов Достоевского перелистать, чтобы найти этого мальчика.

«...Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому назад в полицию, жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. "Очень уж здесь холодно", — подумал он. Постоял немного. Бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу...».

Закрыв книгу, направляешь вышедшего из подвала мальчика к счастью. Но по какой ни направишь его дороге, его встречает Кант и возвращает обратно.

Снился мальчик в Казахстане, он шел со стороны огородов рядом с велосипедом со спущенным передним колесом. Велосипед не катился, а шагал колесами, прихрамывая на спущенное переднее, и нес портрет Сталина. Так наш раненный на войне в ногу учитель физкультуры Алексей Иванович в каждый праздник ходил по селу. Мальчик и сам хромал на правую ногу, из большого пальца которой шла кровь. Это он порезался, упав с велосипеда, когда «гарцевал» на нем, отпустив руль. На палец налип большой ком песка и сочился раздавленной мякотью арбуза.

Проснувшись, не открывая глаз, стал бродить по улицам казахстанского села. Только не помнил, Семеновка это, Андреевка или Линовское — во всех них довелось жить. Возвращаться из детства не хотелось. Оно стало теперь убежищем, в котором укрываешься, как в подвале, от настоящего. Часто говорят «впал в детство», говорят как о какой болезни, а тот, о ком так говорят, убегает туда, где для него осталось единственно здоровое место. Или само детство прибегает к нему на зов о помощи? Наше детство, казахстанское, депортированное, хотя и не было настоящим, но для нас сегодня все равно детство, красивое даже, с особыми приметам, по которым

отличаем себя от других. Тут, кстати или некстати, вспоминаешь из своего давнишнего рассказа:

...Раиса Владимировна ходила между рядами парт и говорила, что сегодня день рождения Иосифа Виссарионовича, самого доброго отца всех детей на белом свете. Она говорила неправду. Мальчик знал, что это неправда, что тот злой. Дяди Гаца, Году, Шуайп, Мада, Азиз каждый вечер рассказывали, что этот Сталин плохой человек. Они вернулись с войны и узнали, что их дети здесь умерли, и их сюда на смерть отправил он. Дядя Азиз говорил: «Мы, дураки, орали: "За Сталина!", а он как с нами?!..». И еще мальчик слышал, как от промкомбината шел выпивший немец и бормотал про себя: «Сталин — шлехт». Потом у Нади Шнейдер, что училась в их классе, спросил, что означает «шлехт», она ответила — «плохой».

Вот и сказал он учительнице, что Сталин ему не отец, он плохой. Раиса Владимировна назвала его бандитенком. Тогда он встал, подошел к стене, на которой висел портрет в застекленной раме, залез на парту, снял и бросил портрет на пол, стекло разлетелось на осколки, а тот и не обиделся — усмехался в усы с пола. Раиса Владимировна сначала побледнела, как побелка на стенах класса, потом стала серой, потом покраснела, потом попыталась что-то сказать, но не смогла и со сдвленным криком выскочила из класса. Мальчик выпрыгнул в окно на завалинку, с нее — на землю и убежал в другое село, а оттуда — на кошару, к дальнему родственнику дяде Салману, пасшему колхозных овец.

Комендант нашел его быстро и забрал с собой в Семеновку. Колотя его по голове волосатым кулаком, спрашивал: «Кто велел тебе разбить портрет?!» Потом посадил в стойло вместе с сельсоветской лошастью. Его отдали в детский дом, что находился в казахском селе Бегень. Туда кто-то уже сообщил, что он разбил портрет, дети собирались гурьбой и били его. Его отправили в город Караганду. И там знали, что он разбил портрет, били, как в Бегене. Оттуда отослали в Павлодар. И там догнала его кличка «разбивший портрет», били и дети, и взрослые. В Барнауле, куда он попал после Павлодара, его привязали голым к незастеленной железной кровати и долго топтали ногами, потом перевернули кровать и ушли. Хватились его на второй день после обеда, нашли посиневшим, но живым.

Годы спустя он узнал, что многие из бивших его были детьми расстрелянных «врагов народа».

Из Барнаула он сбежал. В тамбуре товарного вагона на рассвете кто-то схватил его за воротник рваной фуфайки и поставил на ноги. Это был высокого роста, с большими усами, кондуктор в когда-то белой, а теперь грязной овчинке. Он дал ему несколько подзатыльников рукой в теплой шерстяной варежке и скинул на сумрачно и голодно смотревшейся станции.

Сквозь дыры в его старой фуфайке холод ранней весны царапал мальчика острыми кошачьими когтями. На здании вокзала большими буквами было написано: «Рубцовск». Кругом стояли сосны, казалось, они росли даже на железнодорожном полотне. Он не знал, в какую сторону Семипалатинск, куда хотел попасть. На станции, кроме товарняка, только что сбросившего его с себя, как строптивая лошадь, ни поездов, ни людей не было. Обойдя стороной вокзал, он пошел в глубь маленького городка, выстроенного сплошь из соснового сруба. Выбрав приземистый дом с широкой, низко осевшей завалинкой, сделал углубление в перегное и улегся спать. Он давно знал, что теплей завалинки соснового дома постели не бывает. Бок, на который лег, быстро нагрелся от перегноя. Перевернувшись на другой, он крепко заснул.

Проснувшись, хотя солнца не было видно, он понял, что спал долго, примет, по которым можно определить время, он не знал. Отогревшееся на завалинке тело ныло от голода, он не видел хлеба уже три дня. Зачерпнув из-под ног песок с чешуйками прошлогодних сосновых шишек, хотел пожевать его, чтобы перебить голод, но высохшие губы отказывались эту пищу принимать. Он подошел к сосне и, отодрав от ее ствола желтый комочек смолы, стал жевать ее, она была горькой, но все-таки хоть какой-то пищей. Что в таком местечке не будет базара, как в больших городах, он понял сразу, стал искать магазин. Тот оказался не так далеко от станции. Это был даже не магазин, а маленький ларек в покосившемся старом сосновом теремке. Он

вошел. В тесном помещении, склонив голову над прилавком, женщина читала книгу. Когда она услышала, что кто-то вошел, вдруг появившиеся маленькие руки закрыли книгу и унесли ее под прилавок. Но разглядев мальчика, женщина вернула книгу обратно и снова стала читать. На него она не обращала внимания. Товары в ларьке он и рассматривать не стал, заметив, что слева от входа стоит большая кадка с желтоватыми солеными огурцами, подался боком в ее сторону. Во рту зашевелилась жесткая голодная слюна и увлажнила высохший язык, он ее проглотил, хотя в горле и не почувствовал. Голова на миг приподнялась от прилавка, посмотрела на него большими голубыми глазами и снова склонилась над книгой. Женщина не заметила, как мальчик цепко выхватил из кадки скользкий огурец и мгновенно отправил его в карман фуфайки. Осмелев, он тут же снова запустил руку в бочку, но выскользнувший из пальцев большой влажный огурец звонко плюхнулся обратно в рассол. Тело мальчика напряжилось. Такой звук нельзя было не услышать, но голова женщины не шевельнулась. Он подумал, что женщина глухая, и расслабился. Второй огурец он взял не спеша, даже выбрал показавшийся получше и спокойно опустил его в другой карман. После этого женщина посмотрела на него снова, уже пристальней. Что-то было в этом лице, он не понимал, что и где именно, — в больших синих глазах или на бледно светящемся лбу. Это было что-то, не знакомое ему, чего он не видел на других лицах. Так и не определив, что это было, он вышел из ларька.

— Мальчик! — вонзился ему в спину голос женщины.

Он побежал.

— Мальчик! — повторила женщина. Ее голос остановил его — в нем тоже было что-то непривычное. Он оглянулся. Она стояла на пороге и держала в протянутой руке кусок черного хлеба. Он даже издали увидел, что хлеб не отрезан ножом, а отломлен от буханки. Кусок был большим и неодолимо притягивал к себе.

— Иди же, возьми, — сказала женщина. Он не шел, мысленно отвечая ей:

— Если даешь, бросай сюда.

Но она этого не могла слышать.

— Ну, иди же, не бойся, — повторила она тем же удивительным голосом. Но заставил его подойти не этот голос, а выражение лица, которое он пытался, да так и не смог разгадать. Он взял из ее протянутой руки хлеб — тяжелый, ржаной, самый сытный. В хлебе он разбирался хорошо, может, даже лучше тех, кто пек его. Это была словно бы вложенная в руку новая сила. Растерявшись, он забыл сказать спасибо. Женщина была маленькая и худощавая, сколько ей лет, он не смог бы сказать, вероятно, она была ровесницей его матери. От влажных огурцов карманы его фуфайки намокли, и из них на землю тяжело падали капли рассола. Женщина не могла этого не слышать — теперь он знал, что она не глухая. Ему было стыдно, казалось, что эти глухо падающие капли, ударяясь о землю, взрываются у его ног. Она ничего не сказала, на капли и не посмотрела, а пригласила его войти. Мальчик едва сдержался, чтобы не побежать.

Внутри она положила в помятую алюминиевую тарелку два огурца, вынесла из-за прилавка табуретку и усадила его. Он ел, она молча глядела на него, потом, оставив его в ларьке, вышла и вернулась с водой в большой алюминиевой кружке, дала ему попить, затем вывела на улицу и, поливая, заставила умыться, что ему не особо понравилось. Нашлось у нее и большое желтое мыло. Дав ему вытереться маленьким вафельным полотенцем, женщина посмотрела на него и рассмеялась. И тут он понял, **что** было в ее лице — это был свет, он шел изнутри. Когда она переставала смеяться, он не гас, лился через глаза и падал на него — он его чувствовал. Мальчик достал из карманов огурцы и положил их обратно в кадку. Потом, много лет спустя, он понял, что назывался этот свет простым словом «доброта».

Ее звали Наталья Львовна. Его она назвала Сашей. Затапив баню соседки тети Маши, отвела его помыться, стряхнув вшей с его одежды, прокипятитла ее в алюминиевом тазу.

Жила Наталья Львовна в приземистом домике из двух маленьких комнаток и темных сеней, оконце которых снаружи было заколочено досками, а изнутри обито еще и тряпками, чтобы сени не продувал зимний буран. В доме были книги, старая ржавая кровать, старый шкаф без одной дверцы, старое зеркало в черных пятнах, два

старых чемодана из фанеры, стол, две табуретки и еще старая швейная машинка с облезлыми нерусскими золотыми буквами. В тот же вечер она сшила ему на ней рубашку из своей синей кофты. Выговорить «Наталья Львовна» он не мог, у него получалось «Наташловна», она смеялась. Это имя ей понравилось, а ему нравилось, как она смеется. Скоро и соседи стали звать ее «Наташловна» и тоже смеялись. И мальчик привык к своему новому имени. Иногда она звала его Валерой. Потом уже тетя Маша рассказала ему, что так звали сына Наташловны, который умер.

Когда Наташловна уходила на работу, он колол дрова, приносил воду, растапливал печь, чистил картошку. Она запрещала ему делать это, говорила, что он маленький, что дрова она наколет сама и воду принесет, но он был сильнее ее, дрова она рубила неловко, а он умел это делать. Наташловна знала, что «он» выслал чеченцев с родины, и рассказала ему, что «он» выслал и многих других. Тихим голосом она поведала ему, что ее муж был писателем, писал хорошие книги, она работала в музее, где было много красивых картин. Однажды пришли к ним ночью и мужа забрали, потом и ее... Она отсидела несколько лет в тюрьме, после ее выслали сюда. Здесь она вначале работала библиотекарем, но начальник местного НКВД велел ее уволить как жену «врага народа». Добрый человек по имени дядя Вася помог ей устроиться в ларек.

И он рассказывал ей о себе; она, помогая ему, подсказывала слова, которых он не знал. Вечером Наташловна гасила свет и читала ему стихи. Говорила, что их надо читать в темноте, так они лучше звучат и лучше запоминаются. Он стихов не понимал, но ее голос и музыка слов вызывали в нем удивление, создавали ощущение сказки. Что-то в нем начинало петь в лад этим стихам, уносило в какой-то другой мир. То же чувствовал он, когда Наташловна доставала из чемодана маленькую скрипку и начинала играть на ней. Смычок касался струн, плававших внутри него, будто скрипка вытягивала звуки из него самого. Ему было больно и сладко, эти звуки казались живыми, летали по маленькой темной комнате светлячками, белыми бабочками, он видел их, им не хватало места, они бились о стены, потолок, маленькое оконце, пытались вырваться, как на базарах птички — из клеток. Наташловна называла имена тех, кто написал стихи, и тех, кто сочинил музыку. Откуда он мог знать эти имена? Он и произнести-то их не смог бы. Запомнил только два: «Ахматова» и «Цветаева», первое — потому что есть такое чеченское имя «Ахмат», другое имя было от слова «цветы».

«Сегодня мы живем с тобой в черной-черной ночи, но завтра придет день, и мы поедем в Москву. Ты пойдешь в большую светлую школу, вырастешь, напишешь большую-большую книгу о нас, расскажешь про тетю Машу, об этой скрипке, старом чемодане, что бывал он на многих этапах, слышал стук колес многих эшелонов, сидел в тюрьмах. Напишешь о злом черном железном всаднике на черном железном коне, всаднике, отбиравшем у детей матерей и отцов, и о том, как прискакал белый всадник на белом коне, выбил черного из седла, и тот рассыпался кусками ржавого железа. Напишешь о горах, где родился, расскажешь, какие они высокие, красивые, как их белые вершины достают до неба. Мы с тобой обязательно поедем туда, поднимемся на самую высокую из них. Человек ведь создан, чтобы подниматься высоко, ближе к Богу, правда, Валера?». Мальчик молчал, он давно уже забрался на ту высокую гору, как только она сказала о ней, и видел мчащегося белого всадника.

Когда она говорила «завтра», он считал, что это будет утром, но утром все оставалось как есть. Тогда он смотрел на Наташловну вопрошающим взглядом. Она чувствовала себя виноватой, пыталась объяснить, что означает это «завтра», но он не понимал, она начинала плакать: «Боже мой, что я говорю ребенку? Зачем я его мучаю?».

Посадили Наташловну, обвинив в недостатке товаров на 12 рублей. Еще у нее нашли книгу, которую нельзя было читать, потому что она была написана «врагом народа». А у мальчика навсегда осталось чувство, что недостача вышла из-за тех двух огурцов, которыми она накормила его в тот первый день. Эти огурцы всегда стоят перед ним упреком.

Снова Парень. Рассказывая, что вчера, как в библиотеке в книгах, копался в

чеченцах и ничего такого в этот раз в нас не нашел, настоятельно пригласил меня к себе во двор. В закутке у него оказался большой красивый красный петух. Очень даже большой. Показывая мне его, предложил: «Вот зарезать бы, а не могу, цыпленком его вырастил, и Лечи отказывается. Может, ты, старик?». Я отказываюсь с ходу. У него падает настроение. Сказав ему: «Ну, зарежешь ты его, съедим его, и такого красивого существа не станет на свете», — я вышел на улицу. Он пошел за мной.

Тишина. Но откуда-то слышны треск, дребезжание. Пытаешься понять, где это и что. Кажется, что-то рвется, какой-то червь что-то подтачивает, кто-то пилит, скоблит металл, бьется стекло, кто-то стонет, воем, непрерывно зудит цикада. Все это почему-то напоминает звучание слова «экзистенция». Хочется, чтобы все это было за стеной, на улице, на крыше, под полом, но оно в тебе, сидящем заточенным в свою же нервную клетку. Справа стена — бетон, слева стена — бетон, впереди — стена, позади... Кругом тот же бетон своего двора, космического равнодушия, собственной беспомощности. Слышишь чей-то голос. Идет старец, стучит большим посохом. Это Иеремия: «Посадил меня в темное место, как давно умерших. Окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои... Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто...». Он идет к Богу жаловаться. Хочется заговорить с ним, но он не останавливается, проходит мимо. Говорить не с кем, слушать некого. В прошлую войну собачка у тебя была, говорить с ней мог, люди убили. Теленок был, красивый, смысленный не по годам, мудреца белобородого мог бы одним взглядом поставить в неловкое положение — тоже убили. Сегодня ты один, и глухим шепотом пытаешься докричаться до их убийц. Вот идет Каин, в руке у него камень. Идет убить брата. Вот поле Авеля, подожженное Каином. Идешь по нему — оно черное. Вот солнце, видевшее, как Каин убивал брата, — тоже обуглилось. Вот небо, под которым брат убил брата, тоже... Звезда — уже не звезда, осколок, горящая пуля, ее выпустил брат убить брата. Родник, из которого Абель поил своих овец, не бежит, не звенит, запекся кровью. Спрашивает Бог Каина: где Абель, брат твой? Не признается Каин, не рассказывает...

В большущей кастрюле Лечи приготовил блюдо, название которому подбирали долго — суп, жаркое, еще что-то. Добавил, видимо, в эту «алхимию» все приправы, что нашлись в доме. Чувство, что где-то встречал уже такое вкусовое сочетание. В Казахстане, когда пас коров в степи, летом жара текла большой рекой, ее было видно, ее можно было пощупать, она была густая, у нее был белесо-серый цвет, она липла к губам, застревала в горле, что и на коров не получалось крикнуть. Издали, у мыса соснового бора, виделся дым в казахском хуторе — значит, там есть вода. Бросив скотину, побежал к хутору, он был километрах в трех. Во дворе пожилая женщина или уже старушка — апа — у круглой глиняной печи чистила картошку. Посмотрев на меня, сказала себе что-то и куда-то отошла. Я направился к колодцу и стал доставать воду. Когда поставил полную бадью на край сруба, апа вернулась с небольшой крынкой в руках, еще издали крикнула: «Тратор, бала». Из казахского языка я понимал некоторые слова, она сказала: «Подожди, мальчик». Подойдя, протянула крынку мне. Что в ней, знал заранее. Айран! Здорово утоляет жажду и сытный. Я отпил из крынки, насильно оторвав от себя посудину, протянул ее женщине обратно, но она, ткнув снаружи пальцем в ее дно, велела выпить все, я охотно это исполнил. Тогда она скупой улыбнулся и что-то сказала; понял из этого только одно слово «жаксы» — хорошо. На следующий день погнал коров в ту же сторону. В одном месте, проходя подножие небольшого кособора, набрел на земляники, было ее довольно много, значит, никто не попадал сюда, что и удивило: тогда чеченские дети рыскали от голода повсюду. Я собрал довольно много земляники в подол рубашки и побежал к апе. Она меня узнала, конечно. Показал ей свой гостинец, спрашивая глазами, куда его? Она поставила на круглый низкий казахский стол небольшую деревянную чашку и стала звать кого-то. Из низенькой саманной халупы вышел старик. Одной рукой апа указывала ему на ягоду, другой — на меня. Старик улыбнулся, поглаживая рукой жидкую белую бороду на слишком светлом для казаха лице. Это лицо было каким-то прозрачным. Апа жестом усадила меня за стол, поставила передо мной большую деревянную миску с едой и дала деревянную ложку. Они тоже сели. Старик сел рядом

со мной. На нем была старая одежда — залатанный стеганный зеленый халат, но от старика шел какой-то волшебный запах, который в той летней духоте нес прохладную свежесть. Я тогда не знал, кого называют святыми и как они выглядят. Потом, когда узнал, сразу же решил, что тот старик был святым. В миске было много мяса, много картошки. В тот день, наверное, впервые в жизни поел вкусно и сытно! Мясо, должно быть, было козым, там недалеко паслись козы. Это и напомнило блюдо Лечи.

Анатолий, пожилой угрюмый русский с низким лбом, приглашенный поставить «диагноз» «больной» машине Лечи, сказал, что такое блюдо по-русски называется «похлебка тамбовская». Лицом Анатолий напоминал актера МХАТа, игравшего Собакевича в «Мертвых душах». Грешным делом подумалось, что человек он в быту сварливый, а по количеству татуировок на руках решил, что и срок мотал. Парень отходил с чашкой в сторону и, быстро опорожнив ее, наполнял заново. Заподозрив, что съедает мясо, остальное же выливает, стал посматривать за ним. Оказалось, что нет, ест все добросовестно, позавидовал его аппетиту, удивляясь полному несоответствию его комплекции такому чревоугодию. За этим делом сумбурно обсуждали свое житье-бытье, которое Анатолий охарактеризовал одним универсальным русским словом. Присовокупив к нему местоимение «нам», обозначил и наше будущее. Лаконично выражался человек. Мы, пытаюсь выразить то же самое, ежедневно трачу тысячи слов. Может, потому, что мы трое были чеченцами, а он русским, добавил, что «в гробу видел всех этих... ельциных». И мы не остались в долгу, поставили его в известность, где видели своих, здешних. Парень, продекламировав нецензурную частушку, оформил все это «художественно». Не помню, говорил ли, что знает он их много, и начитанный, вчера упоминал роман Достоевского «Игрок», из которого сам я прочел только восемнадцать страниц. Совсем недавно прочитал роман Эдуарда Лимонова «Эдичка», пересказал его мне. Я этот роман и в глаза не видел. Иногда и стихи декламирует. Делает это, подражая Евгению Евтушенко, видно, слышал, как тот читает. Говорит, что «там» прочитал всю районную библиотеку, с заведующей которой имел «тесные дипломатические отношения». «Дипломатические» — потому что откровенно сказать старшему, как это называется, по нашей национальной «конспирации» неэтично. Любит, как сельские жители, пересказывать прочитанные книги и просмотренные фильмы; обороты речи и сравнения у него современные, из арсенала научно-технического прогресса, часто вставляет в речь иностранные слова. Иногда и самокритикой займется, вчера признался даже (что странно для чеченца), что он глупый. О себе думаешь не лучше, но ему ответил: самый счастливый период у нас приходится на точку нашей наивысшей глупости. Кажется, это его несколько утешило. Сам факт, что рядом с тобой человек, читавший Достоевского и, как признался, написавший восемь стихотворений, которые будут опубликованы после его смерти, оцениваешь позитивно, но есть в нем и свое «но».

Говорили о бывшем Грозном. Оказывается, был красивее Парижа, которого никто из нас не видел. Сам я никогда не считал его таковым. Парню нравился Тамбов и его старые купеческие дома, но все же самым красивым, как и Анатолий, он признал Грозный. На «десерт» «съели» Горбачева, приправляя горьковатыми на вкус метафорами. Анатолий, назвав его и Ельцина тем же одним словом во множественном числе, предложил... повесить обоих! «Присяжные» согласились. Я слушал, выбирая, что буду записывать из «гласа народа».

Лечи рассказал притчу. У жителя одного аула была некрасивая дочь, никто ее замуж не брал. Попал в этот аул один горец. Сговорились аульчане сбыть ту девушку гостю в жены и говорят ему, что вовремя он появился, видно, удачливый, сегодня у них как раз скачки, призом назначена дочь очень уважаемого человека. Коня его похвалили, предложили, как гостю, попытать счастья. Горец приглашение охотно принял. Начались скачки, аульские своих коней придерживали, горец своего погонял, прискакал первым и потребовал награду. Жюри, не мешкая, исполнило его желание. Увидел он тот «приз» и стал хлестать своего коня, приговаривая: «Ах ты, кляча дохлая, вчера осла не могла догнать, что сегодня-то разогналась, кабардинского князя скакуном себя возомнив!». Это было рассказано с каким-то политическим подтекстом, когда говорили о «параде суверенитетов», но я этот контекст потерял.

Пока искал утерянный контекст, появился Парень. Показывает какую-то бумаж-

ку и обзывает американских журналистов нехорошими словами: «Смотри, старик, что написал этот... (назвал того еще одним нехорошим словом) еще в ту войну: "Обычно вайнахских мальчиков обучают обращению с оружием, ножами и топорами с колыбели"». Пытаешься представить себе младенца с топором в руках, но видишь только иллюстрацию из книги: в колыбели лежит Геракл и в руке у него придушенная змея. Парень продолжает: «Этот товарищ не знает, что человеческий ребенок в колыбели долго учится обращаться с соской?». С издевкой говорю ему: «Откуда ты взял, что чеченский ребенок — человеческий ребенок?» Уловив мои нотки, еще раз назвал журналиста тем же словом. «Ладно, — говорю, чтобы успокоить его, — оставь, журналистика такое дело, человек океан пересек, "острый" материал нужен, экзотика, показать нас крутыми. Тебе что, хочется, чтобы с мотыгой нас малевали?». Но Парень все возбужденно цитирует: «"А сейчас, в силу обстоятельств войны, двенадцатилетние дети определяются в специальные военно-учебные центры, заменившие школы мирного времени. Получив подготовку в этих центрах, мальчики вступают в масхадовскую армию". Нет, старик, это не экзотика, а оправдание утверждающих, что все чеченцы от 10 до 65 лет боевики, террористы и экстремисты!». И самому такое не нравится, но думаешь: и чего он ухватился за писанное давно? Сегодня куда «экзотичней» пишут.

Вышел на улицу. Тишина. Ни в одном окне нет света, поселок, как человек, потерявший сознание, закрыл глаза.

А ночь ясная, звезды и прочая декорация кажутся неуместными, кощунством каким-то. Только на северной стороне горизонта огромной заплатой растекается тяжелое черное пятно, кажущееся почему-то жирным. Это где-то над газоконденсатным заводом, потому и кажется жирным. На небе половина луны, другую половину словно «грады» отшибли. В голову лезут отрывки стихотворных строчек классиков, отмахиваешься от них, как от комаров у реки Вохма в костромских лесах. Где-то далеко, в горах Шатоя, тускло отсвечивают всполохи, похожие на грозовые, если в это время может идти речь о грозе. Скоро еще больше разрастутся пожары, густыми черными дымами начнут уходить в небо нефтяные заводы, скважины, тогда не то что этих звезд, и самого неба не увидишь.

Все же по поселку изредка ходят люди. Это то радует, то хочется крикнуть им, чтобы уходили. Еще летом советовал знакомым уйти, пока в Ингушетии не подорожали квартиры. Никто не слушал. Засуетились, когда, как у нас говорят, «вода под хвост начала подступать». И что упрекать их? Сам президент России обещал, что больше войны не будет, и первую назвал своей ошибкой. Показали, как в Кремле чеченскому президенту руку пожимает, перед честным миром слово дает. А такие дела, по нашей архаичной символике, много что значат. Руку подал, слово дал — мир, дружба. Не вещь какая-то дана поносить, СЛОВО дано, президентское, царское. Хранил президент некоторое время слово; тому, кому дал его, помог президентом стать, так называемым «административным ресурсом» поделился, и купились люди на такое.

Вот зачеркнул «фольклор», что сочиняли за «тамбовской похлебкой», матерных слов много, запишешь их механически, а потом вычеркиваешь — колорит исчезает. Русский мат не так себе ругательства, он и средство... изобразительное. К тому же добрым должен быть фольклор, у нас же вышло собрание едкостей. Понимаешь, конечно, что не «устное народное творчество» надо расписывать, а решение какое-то принять, только какое? Может, где-то в своих потемках душа готовится в бега податься, как и другим советуешь? Чувствуешь, что она что-то хочет сказать, но не даешь ей слова. Отставить это — и ко Льву Николаевичу, к Большому Человеку.

Здравствуйте, Лев Николаевич! Вы изображали, как в ваше время казаки, укрываясь за возом сена, подбирались бить «гололобых». Нынче у нас прогресс: «чубатые» с воза на танки и «грады» пересели, «гололобые» кинжал на гранатомет поменяли, черкески на камуфляж — «производительность» такая, что ваше описание Аустерлица лубочной картинкой покажется. Вы писали, что Чечня дала вам много, изменила вас. Почему только вам, Лев Николаевич? Ермолову — нет. И нынешним — не знаешь, какой генерал сегодня всем этим делом и заправляет, — тоже нет. Точно

знаешь лишь, что университет, нареченный вашим именем, еще в первую войну превратили в грудку мусора.

За что, собственно, чеченцы вас уважали? Ничего такого особо лестного о них и не читал у вас. За то, видно, что народом их воспринимали, у которого, кроме кинжала, и песни есть, и сказки, и не считали, что точит «чечен» свой кинжал, чтобы зарезать младенца казака в люльке, а его ребенок балуется топором в колыбели. У вас, если кто и точит кинжал — так чтобы у кабардинского князя коней угнать, у казаков скот, кровнику за брата отомстить. За это и уважают вас, любят даже. Не особо дорогую саблю, что подарили своему другу Садо, в реликвию возвели, камень, на который садились, святым местом почитали. Теперь, ясное дело, ни сабли, ни камня нет, как и университета. Саблю, надо полагать, еще в первую войну украли «ваши» или «наши», а по камню станичные хлопцы «градом» пальнули. Ну, что вы с кем-то дружили, это дело частное. Не о том и речь, и не о ваших тут амурных делах. Заикнулся о них в Москве — «толстовцы» стали требовать свидетельство с гербовой печатью о вашем браке с чеченкой. Никак не могли допустить, что вы, в некотором роде национальное «зеркало», могли вступить в брак с женщиной разбойного племени. Да, не об этом речь — о том, что с терского хребта бьют «грады». Ближайший аул от них ТОЛСТОЙ-ЮРТ называется! Там и музей ваш...

Вот спросить вас пришел чеченец — в Москве он учился, много русских книг прочел, ваши в том числе — вторая «русско-чеченская» идет, хоть не хочет он верить в это, кто он теперь? Как эти люди поступили с ним? Со многими другими? Вас он спрашивает, потому что не опускались вы до ермоловых. К тем и вопросов не имеет. А вы — Толстой, совесть, целого народа совесть, человечества совесть. Да, другие пошли времена, но какие бы ни пошли, не признает он вашу смерть — не может умереть совесть. Он к вам — в лицо взглянуть, узнать, каким оно цветом пылает, молчит почему, когда ракетами по рынкам, больницам бьют, у матерей сердца разрываются? Вы не чувствуете, что на лицо вам что-то падает, растекается красно? Не стойте под вишней, Лев Николаевич, с нее капает кровью женская грудь... Почему голоса не слышно, говорившего: «Заблуждение о том, что одни люди могут насильем устраивать других людей, тем особенно вредно, что люди, впавшие в это заблуждение, перестают различать добро от зла. Если можно для хорошего устройства забирать людей в солдаты и велеть им убивать... то нет уже ничего не должного, все можно». Не видит он вас, Лев Николаевич. Видно только, как недалеко от Толстой-юрта с огромными красными павлиньими хвостами носятся снаряды «градов».

Не стреляют. Утро где-то проснулось, но в город еще не вступило, словно мягко протирая глаза, подкрадывается кем-то из кошачьей породы. Пора, когда по нашему времяисчислению сон человека становится «сладким». К небу напрашивается сравнение «как полинявший после стирки ситец», но это сравнение тоже полиняло от частого употребления. Луна, устало прислонившаяся невидимым горбом к горизонту где-то за поселком, за небольшой мутной чадрой случайного облачка прячет избитую кем-то физиономию, на которой все равно видны потемневшие ссадины. Такой видится, потому что Парень вчера сравнивал ее с лицом жены, которой ревнивый муж насажал синяков. Прочих небесных светил не видно, но небо чистое, воздух свежий и густой, отдает запахом только что замешенного теста, это, конечно, по ассоциации с лепешками, что печет Дугурха. Не хочется говорить банальное, что этот воздух пьянит, но что-то такое ощущаешь. Через час-другой эта идиллия кончится, начнется стрельба, придет специфичный запах — запах войны.

Со стороны улицы Калужской слышны приглушенные голоса — мужские, женские, детские, приближаются, говорят о какой-то обуви, что обронил ребенок. Эти люди пораньше тронулись в путь, чтобы до начала стрельбы покинуть город. Может, знаешь их, но по приглушенным голосам не определишь кто. Они прошли силуэтами и повернули за угол магазина, который давно не работает. Когда они уже исчезли, видимо, за ними тенью семенит старая, судя по голосу, женщина, на ходу говорит с Богом, это обычные причитания чеченских старушек: «Великий Дела, зачем ты создал тех, от которых отвернулся в этот черный день! Неужели созданы тобой люди,

чтобы убивали друг друга?!» Слушал ее, пока тоже не свернула за угол. Чем-то напомнила женщину, кричавшую у своих ворот, и еще плачущего Иеремию.

Днем по городу лучше не ходить. Так говорят все. От «слепых» бомбежек гибнет много народу, особенно оказавшегося на улице. Но покидающие город вынуждены ходить по нему или бежать, прижимаясь к стенам домов. Да и как проживешь, не выходя? Грозный теперь — город, где лужи крови на улице — такая же принадлежность, как когда-то клумбы красных цветов.

Иду к Зелимхану. По небу перекатываются большие тюки серого дыма, где-то над Черноречьем тоже дым, он густо-черный, клубится, уходя высоко в блеклое небо. На улице ничего и никого — все затаились в жилищах или уехали. Ни случайного автобуса не встретишь, ни отчаянных шашаников, которые, кажется, единственные на свете не боятся войны, разве что еще женщины, торгующие на рынке. Говорят, все выстроились колонной на площади автостанции «Окружная», оттуда перевозят беженцев в Ингушетию. Прибыльным стало делом. Говоришь, что идешь, а чувство такое, что всякая всячина, лезущая в голову, бьет тебя о развалины по обе стороны улицы. Пытаешься остановиться на чем-то, поставить себя на ноги и ровно идти — не получается. Неслышно, будто выделившись из стены, появился русский мужчина лет шестидесяти пяти, похожий на артиста Евстигнеева в кинофильме «Семнадцать мгновений весны».

— Летают, — говорит мужчина, глядя вслед двум самолетам, заметив, что слежу за ними, потом переводит взгляд на сигарету в моей руке, суетливо шарит по карманам своего поношенного пиджака.

— Летают, — отвечаю ему тем же тоном и протягиваю пачку с сигаретами. Увидев, что сигареты — «Прима», еще и краснодарская, одобрительно кашлянув, берет одну и наклоняется прикурить от моей. Правое ухо его имеет довольно большое рваное отверстие. Перед глазами проносится картина бомбежки города в ту войну, визг летающих осколков, один маленький из них пролетает сквозь это ухо...

— Опять с ума сходим, — говорит мужчина, опускаясь рядом на корточки и, не оборачиваясь, кивает в сторону хребта, где воют «грады».

— Опять, — отвечаешь ему в тон.

Молчим. Он прерывает молчание:

— Скоро придут.

— Придут.

Чувствуешь, что человеку хочется поговорить, а ты боишься втянуться в длинный разговор, надо докурить сигарету — и в путь.

Молчим. Он снова прерывает молчание:

— Думаешь, если русский — жду их?

Теперь смотришь на него пристальней: усталое лицо пожилого человека, не ждущего уже ничего хорошего от жизни. Наверное, и твое такое же. Становится жалко и его, и себя, но на вопрос не отвечаешь, хотя, может, и надо бы сказать, что не думаешь, ведь действительно не думаешь так. Он представляется:

— Федор Михайлович я, коренным буду, в 33-м родился на Старых промыслах, отец был нефтяником, ушел на войну и не вернулся. Та война была с настоящим врагом, а эта... черт его знает, кто с кем воюет. Взбесились люди. Ну скажи, что нам с тобой делить?

Понимаешь, что надо ответить, понимаешь, что и прав он, но ничего не можешь из себя выдавить. Потом запоздало отвечаешь:

— Вот сигаретами и осталось поделиться.

— Жулики, — бросает Федор Михайлович будничным голосом, будто о погоде. И добавляет: — Деньги это все, брат, деньги, они всех свихнули, капиталистами хотят стать, мать их! А мы с тобой кем будем? Вот хвалились вы, чеченцы, что у вас князей не было, а теперь как будет, когда одни стали богатыми, другие бедными?

Повторяешь:

— Да, жулики, — невольно копируя его интонацию и пропуская насчет наших «князей».

— И преступники,— добавляет он.

— И преступники.

— Ты мне скажи, чем занимается страна, в которой каждый год люди вымирают миллионами?!

— Тем, чтобы вымирали, наверное.

— Семейку, поди, отправил, сам остался? — спрашивает Федор Михайлович как-то по-домашнему, словно мы давно знакомы.

— Отправил, — чувствуешь облегчение, что он перешел к этому.

— Мои в Ставрополье. Сам остался вот за квартирой присмотреть, в прошлую войну только кухню зацепило, не знаю, как обернется в этот раз.

— Бросили бы к черту эту квартиру и тоже уехали, — говоришь это, жалея, что человек из-за квартиры рискует жизнью. «Грады», пушки, танки не спрашивают ни национальности, ни паспорта, в первую войну русских погибло в Грозном очень много. Но Федора Михайловича это обидело.

— Нет, я из своей квартиры никуда! — отвечает он возбужденно. Повторяет: — И на шаг не отъеду! Здешний я! Родился здесь! Мать похоронил!

Поняв, что сказал глупость, чувствуешь себя неловко: ведь то же самое и он мог сказать тебе. Наступает молчание. Воспользовавшись этим, хочешь встать, но он не дает:

— У меня среди чеченцев друзей много, и у отца было много. Вообще, неплохой народ, и русские — неплохой. Русские — большая равнинная река, чеченцы — горная, но обе попадают в одно море. Жить не умеем, не дают, мать их.

Про две реки интересно. Потом говорит, что Бог отказался от человека. Сам ты до сих пор думал в направлении, что человек отказался от Бога. Еще добавляет, что Бог отказался от вмешательства в русские и чеченские дела — устал и оглох Он от них. После некоторого теологического и политического философствования Федор Михайлович переходит к конкретностям. Мысль обычная, что в Москве засел разбойный люд с пьяным атаманом во главе. Потом ругает здешнюю власть, которая не могла бороться с преступниками и не умела «командовать». Спрашивает:

— Или думаешь, что здешние нас с тобой собрались защищать?

Усложняет тему, которую тоже не тянет обсуждать, но, чтобы, как чеченцы говорят, слова его «не унес ветер», роняешь:

— Тут до нас ли.

— Вот и я говорю! — Федор Иванович сплевывает.

По глазам видишь: хочет еще сигарету, снова протягиваешь ему пачку. Без особой связи с предыдущим рассказывает, что в прошлом году русского парня, компьютерщика из микрорайона, убили. Может, намекает, что здесь плохо обращались с русскими? Можно бы добавить, что те же плохо обращавшиеся с русскими не лучше обращались и с чеченцами, а их русские собратья в России плохо обращаются и с русскими, и с чеченцами, со многими другими. И деньги отбирают, и квартиры, и дачи, и людей похищают, и убивают, и насилуют, но он может принять это за попытку заступиться за «своих». Когда одни дерутся за передел власти, криминал тоже начинает кое-что делить. Разговоры о национальности преступников, которым наплевать на метрические данные «объекта», самые глупые. Переступившим в том числе и через свою национальность какая разница, как зовут жертву — русским, чеченцем, белорусом?.. Рассуждения о «качестве» «наших» и «ваших» — это характеристика самого общества, его состояния. А вообще, «все дороги ведут в Рим» и обратно, из центра на периферию. Вначале думалось, что раскурочивание здесь всего, что сохранилось в себе цветные металлы, хищение электропроводов и прочее варварство началось только у нас, потом узнал, что и это — оттуда и увозилось туда же. У местных «металлургов» и воображения не хватило бы на такое.

А та история с парнем действительно была. Сам его видел как-то у Зелимхана, Андреем звали. Щупленький был молодой человек, хромавший на одну ногу. Зелимхан у него консультировался по компьютерным вопросам, по отзывам его, тот был большим специалистом. Зелимхан сильно расстроился тогда, объявил, что отдаст свою машину тому, кто сообщит что-нибудь о лицах, совершивших это зверство, но

ничего так и не узнал. Мне это убийство показалось заказным, кому-то, видно, мешал именно как специалист.

Хотя разговора о советской власти не было, Федор Михайлович строго предупредил: «Ты советскую власть не трогай, такой власти на русской земле не было и больше не будет!». Не стал ее трогать. Ни один день не проходит, чтобы каждый встречный не упомянул Союз. И мы в своем закутке десять раз на день поминаем, понятное дело.

Расстались после третьей сигареты с пожеланиями друг другу «уберечь уши» в еще одной войне.

Это был типичный грозненский русский, изрядно «очеченившийся», часто, говоря о чеченцах, употреблял местоимения «мы», «наш», о русских — «они».

На центральном рынке не видно было никого, если не считать женщины лет тридцати, с голливудской грудью, посреди пустой дороги, усеянной множеством мелких кусков шифера. Перед ней стоял небольшой алюминиевый таз с селедкой. Она как-то лихо подбоченилась, выставив вперед левую ногу в остроносой галоше, словно собиралась пуститься в пляс. Издали принял ее за русскую, но оказалась чеченкой. Они привозят эту рыбу из Астрахани мороженой, солят и на второй день выносят на рынок. Назвать это дело селедкой, может, и обида для настоящей селедки, но люди покупают, той, настоящей, давно уже нет. Дома досаливают ее, выдерживая в рассоле. Пустой рынок в Грозном — плохая новость. Женщины этого рынка знают все. Они не просто торгуют чем-то, они — явление, общественный институт; если их сегодня нет, значит, знают что-то такое, чего не зная, тронулся в это путешествие ты. Спросил у женщины, почему сегодня здесь так пусто. Она спокойно ответила, что скоро этот район будут бомбить, она выскочила из дома, чтобы сбыть до этого рыбу и бежать в поселок Кирова.

Дальше шел с настроением еще худшим. В небе гудел большой самолет, но его не было видно. Знаешь по прошлой войне, что это разведчик, не будет бомбить, а все равно нервирует.

Рассуждаешь с кем-то о чем попало. В голове несешь что-то такое, чему не подберешь ни названия, ни определения. К реальности вернули два самолета, низко пролетевшие над местом, где раньше стоял двухэтажный универмаг, одна из наших достопримечательностей. Вот дом рядом с универмагом, на его пятом этаже в прошлую войну заживо сгорела русская женщина. В этом универмаге работал Зияуди. Он и его жена Роза — книголюбы заядлые, альбомы «Музеи мира» собирали, были в Болгарии, мечтали в Лувр попасть. Зияуди называли «человеком-улыбкой». Высокий, сутулый, худощавый, с вечно печальными глазами и улыбкой на лице. Все любили занимать у него деньги и... не возвращать, конечно. Он знал, что не получит их обратно, все равно одалживал. Роза жаловалась, что он ее по миру пустит. Ударившись в воспоминания и ожидая, что самолеты вот-вот выпустят снопы огня, постоял, прислонившись к дереву, обняв его, но они, покружив над городом, улетели в сторону Толстой-юрта. Слева истерзанное здание бывшего музея, давно разграбленного. Когда-то его директором была Раиса Ахматова, наша поэтесса, так гордилась им! Интересная была женщина, трагическая. К другой трагической ездила, к Анне Ахматовой — фамилия роднила.

Площадь перед бывшим обкомом КПСС. Большое было здание, много денег съело, много лжи хранило, страстей, интриг, вероломства, коварства, предательств... Вот митинг кипит переливающимся котлом: старики в радении перед Богом, и молодых много радеет. Человек на импровизированной трибуне жалуется: «...мука подорожала, сахар, масла нет... нас грабят, обманывают... взятки... начальники все себе... Всех из кресел долой!». О независимости еще не говорят — жалуются на плохую жизнь, требуют демократии, гласности. Ельцин еще свой. «Ельцин сказал...», «Борис Николаевич обещал...», «Хасбулатов велел... вот телеграмма! Поддерживает нас, говорит, чтобы скинули всех!». На трибуне другой: «Люди, давайте не будем спешить». — «Долой его!» — «Послушаем, что скажет». — «Нет, не станем слушать! Провокатор! Вниз его головой!». Тот спускается сам с опущенной головой и уходит.

Вот искореженные танки. Огромный мотор отшвырнуло на сотню метров! На

куполе здания колыхнется «Знамя победы». Вот здание взрывают, оседает в мусор. Вот мост, но уже не мост — изорванное тело из бетона, переломанные позвоночники из швеллеров, изогнутые ребра из арматур, сетка нервов из восьмимиллиметровой проволоки, по пять штук торчат металлические штыри, похожие на пальцы рук, голосящих на митинге.

В голове мелькает что-то о культуре. Кто-то изнутри говорит: не та тема, война идет — проиграла культура. Но до «Минутки» еще далеко, о чем-то надо думать, лучше бы, если б кто-то тебе рассказывал, что культура — хорошо, война — плохо. Бывший проспект Ленина, считавшийся в городе фешенебельным. Теперь оглядываешься на него, выстраиваешь в прежнем виде — ничего красивого. Здесь не было ни одного дома, который можно было счесть архитектурной достопримечательностью, как солдаты в строю, стояли серые стандартные советские здания. И этот бывший девятиэтажный дом, о жителях которого с благоговением говорили: «У него квартира в девятиэтажке!», Зелимхан называл «высотным сараем». Когда эта война доручит оставшееся после первой, родится миф о самом красивом на свете городе. Наверное, говоришь это потому, что никогда Грозный не любил. Отвлекая от грозненских достопримечательностей, «появляется» наш этнограф, профессор Сайд-Магомед Хасиев, рассказывает про композитора Верди. Тот вроде бы был не «чистым» итальянцем, предки его откуда-то пришли, биографы установили, что с Кавказа. В его музыке встречались странные мотивы. Специалисты заинтересовались, стали искать их истоки, нашли... в чеченской музыке. Еще рассказывал, что в Англии один из музеев обнаружил в своем хранилище запись мужского хора, сделанную в прошлом веке, воспроизведя и прослушав ее, решили, что она на грузинском языке и пригласили из Грузии профессора, тот установил, что поют... чеченцы. Вообще, чеченское и грузинское хоровое пение схожи, только со временем наше пришло в упадок под влиянием религиозного фактора, ставшего доминировать в период той еще кавказской войны. Пение перешло в исполнение религиозных «назм» и сегодня звучит эффектно. Создать национальный хор нашей культуре не удалось. Правда, на уровне колхозной самодеятельности что-то возникало, с колхозным же репертуаром, это в Ножай-юртовском районе, где живут самые музыкальные из нас. И композитор у нас был великий — Умар Димаев. Каждый наш ребенок его знал. Он был голосом души народа, из обыкновенной казанской гармонии извлекал все, что лежало на сердце чеченца. В 37-м году на конкурсе народных музыкантов сам вождь народов вручил ему денежную премию. Он так берег ее, что не потратил из нее ни рубля. Когда семь лет спустя Сталин той же рукой выслал его народ с родины, он выбросил премию в щель товарного вагона, увозившего его в Казахстан. В депортации нелегально ходил по селам и городам, где проживали его соотечественники, и играл им — оживлял в них умершую музыку их душ, и они поднимали головы. Однажды комендант послушал его и проткнул мехи его гармони острой железкой. Димаев залатал дыры и продолжал играть. Он был последней национальной песней чеченцев. Теперь — легенда. Никто его не повторил, не смог продолжить. Есть, конечно, музыканты, композиторы, но другие. Халебский — еврей, но наш композитор, много сделал для нашей музыкальной культуры, воспитал многих наших музыкантов. Аднан Шахбулатов был у нас большим композитором, умер в расцвете творчества, и была у него умная и добрая жена. Сколько раз говорил с ней, бывал дома, уважаю, что была такой преданной женой своему мужу, а имя вылетело из головы. В первую войну, когда люди старались спасти свое имущество, вынесла из горящего дома только рукописи мужа. У Умара Димаева много сыновей, все музыканты, но другой формации. Все же вспомнил имя жены Шахбулатова — Зоя. (Переживи и эту войну, Зоя!)

В Казахстане у одной женщины была очень дорогая гармонь. Поскольку ни царская, ни советская власть деньгами чеченцев не баловали, торговля между ними обычно шла обменная, основной валютой был скот. Та гармонь была куплена за четыре коровы. Увидев, что гармонь Димаева залатана, та женщина принесла и отдала ему свою. Имиша Шарипов рассказывает все эти истории. Но его нет, только война пытается вставить свои «ноты»; чтобы не слушать их, и говоришь сам с собой. Имиша — главный дирижер театра, о нашей музыке, о музыке всех народов знает все. Наша музыка вроде бы ближе к джазовой, отражающей тончайшие нюансы челове-

ческой души, у нее сложный ритмический рисунок. Но наша, как была народной, так и осталась, у нее только два лада. Наш мажор и минор не выражают ни радости, ни печали, для этого нужны третий и четвертый лады, за неимением оных чувства должен выразить сам исполнитель. В танцах тоже имеем «родственников» — кроме басков еще и ирландцев, о которых и не подумал бы, хотя их саги напоминают наши фольклорные сюжеты и старые обычаи. Это подсознательно пытаешься сказать, что мы тоже люди, и музыка у нас есть, и композиторы, и писатели, и филологи, и философы... В нас выработался комплекс — все время доказывать, что у нас есть то-то и то-то, что мы — народ, не убивайте нас. Самым великим нашим философом был известный на всем Кавказе Киши-хаджи (Кунта-хаджи). Это он основатель учения непротivления злу насилием, а не Толстой и не Ганди, он и повлиял на Толстого, служившего тут как раз во времена этого учителя, великого пацифиста. Нет, все же основателем того учения был Христос. Да, о философах сложно, о поэтах проще, о наших, веденских. Самый поэтический аул в нашем в районе — Дышни-Ведено. Нескольких классиков дал отечественной поэзии. Вспомнилась строка одного: «Ты была моей соседкой, я тебя поцеловал, это было по весне, 4 апреля». На родном языке звучит очень даже по-робертбернсовски. И календарь какой точный! У чеченцев, правда, насчет «целовать соседку» обычай несколько иной, но поэтам можно. Есть в этом селе... Нет, пожалуй, хватит, у нас на один аул положено в среднем два-три поэта, дышни-веденцы перебрали квоту, чуть ли не к ножай-юртовцам стали подбираться. В Ножай-юрте поэт и певец в каждом дворе прописаны, их на порядок больше, чем во всей остальной Чечне, у них и дети говорят гомеровскими гекзаметрами. Ни один советский поэт не воспел колхозный строй лучше ножай-юртовцев. Это не ирония — искренние они, верящие в хорошее, нет его еще — верят, что оно в пути. «Зори коммунизма» были для них не метафорой, а завтрашним утром. Вот Урус-Мартан — самый густонаселенный, больше будет трех Ножай-юртов, а не можешь вспомнить ни одного поэта из него. Не то что тут народ бесталаный — занят он, рыночными отношениями занят, а занятому таким делом не до поэзии. Там самый крупный базар. И в Москве, в самом Генеральном штабе об этом знают. Зная, и запросили генералы в прошлую войну с них самый крупный выкуп за... «не бомбить». И в эту, наверно, запросят, а бомбить будут, уже бомбят.

Пытаешься не оглядываться по сторонам. Кругом тебя лежит огромный покойник, раскидав по сторонам перебитые ноги и руки — бывшие улицы. Где-то внутри иронией звучит голос Буркаева: «Миллионы звезд включает Грозный — мой рабочий, славный город мой...». Умер певец раньше своего города. А вот зазвучал голос Султана Магомедова, ни у одного чеченца не было такого голоса, в нем природа, может, повторила великого Собинова. Раньше у нас пели исключительно женщины, мужчины же только фольклорные баллады — илли — исполняли речитативом, слышал их еще в Казахстане, откуда мы привезли богатый репертуар. Казахстан — наш самый большой фольклор, великий сказ народа о том, как сохранил он себя. Достойную этой устной эпопеи письменную, литературную создать никому из нас не удалось. Сегодня эта устная эпопея будет пополняться под аккомпанемент пушек, самолетов, танков.

Вот и дотасил себя «культурно» до «Минутки». И тут вспомнил, что надо было «зайти» еще к Илесу Татаеву, посмотреть на его фантастические изваяния, которые не просто творит, а открывает в дереве. Был человек режиссером, снял много художественных и документальных фильмов. Это называл своей работой, а скульптуру — увлечением. Подобных скульптур и в мире нет. Материал, с которым работает, не совсем дерево, а кап — нечасто встречающиеся в природе наплывы, наросты на деревьях. То, во что он их превращает, — соавторство с природой. Был бы французом, испанцем, англичанином, о нем говорил бы мир. А так французы, англичане, испанцы тихо скупают его шедевры для своих коллекций. Наши богатые еще не доросли до этого. Станный мы немножко народ, мягко говоря. Башни у нас есть старые, кто из нас не писал о них, не гордится ими, а все разваленные, никто и камня не поднял, чтобы поставить на место. А слово «возрождение» нам нравится, в который раз возрождаемся.

Снова два самолета. Ударили где-то на той стороне, похоже, по поселку Мичу-

рина, и улетели. День солнечный. «Грады» методично бьют по аэропорту и по Ханкале, кажется. Ханкала — постоянно чья-то база. Видно, проклятое место. Все беды Чечни начинались отсюда, так и назвать бы «воротами беды». И сарматы здесь шли, и гунны, и Чингисхан, и Тимур, и ногайские мурзы, и крымские ханы, и царские генералы... В советское время был военным аэродромом.

Небольшой рынок напротив бывшего магазина «Луч» разнесен в щепки. Шифер, накрывавший навесы над прилавками, размолот в цвет муки второго сорта. Сюда угодила большая ракета, по стратегическому замыслу Генштаба, направленная разрушить дом Басаева, находившийся где-то неподалеку. Посреди дороги большая воронка. Недалеко от нее лежат человек и собака. Собака была в этой жизни не крупной, но в той сильно взбухла, теперь кажется большой. Они лежат валетом — человек и собака. Ни на теле собаки, ни под ним не видно крови, человек лежит на животе — под ним и вокруг ее много, она почти черно потемнела, и на лице спеклась, сделав его неузнаваемым. Одной руки, правой, нет — валяется у погнувшегося бетонного столба. На почерневших тканях плоти и вен копошатся несколько больших бронзовокрылых мух. Рядом лежат старая хозяйственная сумка и окровавленный будильник, стрелки его показывают без пяти минут три часа. Наверное, это одинокий русский и забрать его некому. Не знаешь, что делать. Чуть выше разрушен саманный дом, по руинам ходит невысокий мужчина в серой телогрейке или куртке, чем-то похожий на космонавта, высадившегося на другую планету. Он русский, и раньше его видел, идя к Зелимхану. Пошел в ту сторону и, поравнявшись с разрушенным домом, крикнул ему, что там мертвый лежит, будто он того мертвого не видел еще до тебя. Тот, как-то боком, махнул рукой, не оглядываясь. Понял, что человек сильно расстроен. Я поплелся дальше, решив, что с Зелимханом что-нибудь придумаем.

Добрался до дома Зелимхана. Никого! Не мог же он уехать, не предупредив, не пригласив поехать с ним! Заглянул во двор через расщелину ворот, по обстановке определил, что они не уехали. Постучался к соседу, русскому, но никто не ответил. Заглянул через забор из посеревших досок во двор — нет, в этом доме никто не жил. И говорил же Зелимхан, что сосед дом продал.

С досадой, что вообще вышел сегодня из дома, пошел не обратно, а дальше наверх, в сторону больницы: не хотелось снова видеть того мертвого. Не доходя до больницы, повернул налево, решив коротким путем добраться до улицы Гудермесской и по ней спуститься к автостанции «Южная», которую тоже называют «Минуткой», как и весь этот район. Отсюда ходят автобусы и в наше Ведено. Подумалось, может, кого и из земляков встретишь. Когда в Грозном увидишь человека из своего района — что родственника встретил. Выросшему в селе город всегда чужой.

По старой памяти считал, что переход тут до улицы Гудермесской не особо протяженный, но ошибся, шел долго, подумалось даже, что заблудился. Раньше, давно, как-то проезжал тут на машине. Когда с высоты пустыря увидел автостанцию, опять появились два самолета со стороны Толстой-юрты и низко закружили над «Минуткой», за ними появились еще два, в районе центрального рынка. От них стали отделяться снопы пламени и... пошло. Кружившие над «Минуткой» тоже ушли в сторону центра, но не стреляли, потом нависли над поселком Алды, ударили четыре раза. Там сразу поднялось большое облако пыли и дыма. Решив, что самолеты сейчас вернутся и повторят то же самое на «Минутке», присел на обломок бетонной плиты перед домом, в котором, по-видимому, никого уже не было. Покурил. Самолеты не вернулись, незаметно потерялись из виду. Они прилетают из Моздока или Орджоникидзе, точнее, может, из Беслана.

Еще издали было видно, что на автостанции много народа. Где-то, вроде на Ханкале, что-то стреляет, кажется, пулемет. «Вчера наши» идут на «вчера своих».

Людей на «Минутке» было много — это собравшиеся в Аргун, Гудермес, Новогрозный, Хасавюрт, Ведено, Шали, Чишки, Шатой... Во всеобщем гуле голосов трудно было что-либо разобрать, много детских голосов, младенческого плача. Издали увидев машину, толпа бросалась ей навстречу, автобусов не было, только легковые, в основном старенькие «Жигули», водители кричали, что никуда не едут. Отчаявшиеся женщины истерично кричали на них, умоляли спасти их детей, совали в руки деньги. Кто-то соглашался, качая головой, большинство уезжало, вслед им неслись гулы упре-

ков. В Хасавюрт не соглашался ехать никто — якобы на дороге туда уже стоят танки. В наше Ведено тоже не соглашались, говорили, что там бомбят «по-настоящему», по селу Элистанжи ударили вакуумными бомбами, много народу полегло. В Шатой кто-то поехал, оказавшись родственником женщины, прямо с ребенком на руках бросившейся на капот его машины. О положении в Гудермесе спорили, как в оперативном штабе. Одни утверждали, что там тоже танки, другие — что танков нет и не будет, наши решили Гудермес не сдавать, там держит оборону очень решительный генерал, третьи утверждали, что танки все же есть, но на окраине со стороны поселка Новогрозненский. Говорили женщины, знающие обычно больше мужчин. Высокий пожилой мужчина кричал: «Вот какое доброе дело принесли нам Горбачев, Ельцин, наш земляк Хасбулатов, Дудаев... Лучшего царя, чем Брежнев, у нас не было!». Женщина, тоже пожилая, с большой белой сумкой в руках, на которой была нарисована хоккейная клюшка, проклинала власти, тамошние и здешние, называла «вшами», пробравшимися в «овчинку бедного народа». В другом месте слышалось: «Если не может, почему место занял?!» — имелся в виду то ли российский, то ли местный президент. В это время два самолета вернулись и ударили ракетами, как показалось, в районе поселка Мичурина. Высокий мужчина в красной рубашке и черном галстуке, пояснил, что это по винно-коньячному заводу, на что кто-то сострил: «Что теперь пить-то будем?». Вокруг послышались смешки, кто-то из старших шутника одернул. Громко слышалось повторяемое еще с первой войны: «Теперь сельские ребята должны будут воевать, а шаставшие по базарам, обвесившись автоматами, разбегутся». Где-то на левом краю вспыхнул ожесточенный спор между женщинами, одних можно было поставить под лозунг «Свобода или смерть», других — «Мы за мир!». Победили первые. Одна женщина из той стороны беспрестанно повторяла: «Мужчина рожден умереть в нужный день!». Этот аргумент стал решающим. Среди мужчин слышались приглушенные возражения хотевших, видимо, еще пожить.

В этом шуме и говоре поймал себя на мысли, что готов уехать в Ведено. Несколько раз вместе с толпой бросался к машинам, высчитывал, за сколько часов можно пройти 61 километр пешком, но счет перебил молодой человек, громко объявивший, что ему срочно нужно в Бачи-юрт, заплатит в «портретах Вашингтона». Многие рассмешил старик, с акцентом жителя гор спрашивавший, не пробежал ли тут баран. Видимо, старик, живет неподалеку. Молодой человек в кожаном плаще крикнул: «Бараны здесь, старик, ждем чабана!». Это у одних вызвало смешки, других возмутило. Последние стали его ругать, тот, ворча, скрылся в глубине толпы. Вслед за ним — и два подвыпивших парня, появившиеся неведь откуда. Раньше их не было видно. Им плевали вслед.

Здесь надо было иметь записывающее устройство. Парень из Бачи-юрта бросился к иномарке, появившейся, когда я слушал рассказ женщины, что в советское время русский секретарь райкома КПСС лично пожал ей руку и вручил путевку в Крым как лучшему свекловоду в совхозе, а нынешняя власть продала ее поле жулику, воровавшему раньше у нее помидоры. Иномарка остановилась. Это был джип «Мицубиси». Из него вышли трое в камуфляже. Они что-то тихо разъясняли парню из Бачи-юрта. Тот молчал. Потом военные бросили в толпу: «Идите, люди, по домам и спокойно занимайтесь своими делами, ни одна чужая нога не вступит в город!» и, пока до них не докатился гул нарастающих тайфуном женских голосов, сели в машину и отбыли в сторону центра. Комментарии полетели им вслед, хорошо, что они их не слышали.

Как-то незаметно народу стало меньше, неожиданно наступил вечер. Никак не мог объяснить себе, как, сам того не заметив, пробыл здесь столько времени. Форсированным маршем двинулся обратно к Зелимхану. По дороге думалось: как много «народов» стало в одном маленьком народе, а он же не цифра, чтобы делиться. Виделась высокая башня в горах, она накренилась и рухнула, камни ее разлетелись в разные стороны. Это была не просто башня, а то, что называется национальным согласием. Развалины вокруг — не порушенные бомбами дома, а камни той порушенной башни.

Когда пришел к дому Зелимхана, было темно. Ворота по-прежнему на замке. Быстро пошел вниз по улице, держась правой стороны — подальше от собаки и человека. Когда дошел почти до круга «Минутки», рядом, мигнув светом, останови-

лась встречная машина. Из нее кто-то вышел. Младший брат Зелимхана! Зелимхан сидел за рулем «Волги», принадлежавшей не совсем ему — оставлена у него кем-то с перспективой продажи. Оказывается, они перебрались в дом знакомого — тот уже уехал. Их дом выходит окнами на проспект и имеет больше шансов быть разрушенным при воздушном налете. По дороге бегло пересказал Зелимхану свои приключения и впечатления. Рассказал про мертвого и собаку. Зелимхан привез нас закоулками к дому, в котором они обосновались. Не выходя из машины, послали младшего брата Зелимхана вынести лопаты и найти какие-нибудь перчатки. Он вернулся с двумя лопатами, перчаток не нашел.

У того же столба, где валялась оторванная рука, быстро выкопав неглубокую яму, уложили того человека. Я не знал, в какую сторону кладут русские покойника и имеет ли это у них значение, положил, как у нас кладут, головой в сторону Мекки.

После ужина решили пойти к Мусе Бексултанову, оказывается, живет почти рядом. Муса интересный. Есть в нем и какая-то постоянная веселость, если глубже копнуть, может, и наигранная. С ним можно, как у нас говорят, «вкусно» пообщаться, имеет замечательную черту — не говорить о политике. Хотя писатели считаются народом сложным, а Зелимхан и за народ их не считает, Муса ни с кем не конфликтует, ни к кому не ревнует литературу, говорит: литература — не жена, пусть спит, с кем хочет. Зелимхан питает к нашим писателям чувства, которые сам называет «особым мнением». На каждого пишущего у него заготовлен индивидуальный пакет с несколькими пилюлями, со всеми при этом дружит, и все ему прощают то, чего никогда не простили бы друг другу. С Зелимханом дружит, как сам говорит, «чаще», они выходцы из двух соседних горных ущелий, это их сближает, хотя больше сближают носы: у Зелимхана с кривизной направо, у Мусы — налево. Когда они вместе учились в университете, по этим ориентирам запоминали уклоны в партии большевиков.

Говорили не о развитии отечественной литературы, а о том, кто куда подался или собирается податься. Вроде бы много народу уходит в Грузию, туда проще пробраться через наш Итум-Калинский район, граничащий с грузинским Шатили. Правда, на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс российские пограничники беженцев не пропускают, хотя президент Грузии дал на то официальное добро. Муса говорит цитатой: «Мы пойдем другим путем».

Решили: мы с ним послезавтра убудем в Грузию, Зелимхан в ближайшее время переберется в Ингушетию, он ждет, пока его друг загрузит свое хозяйство. Муса советует мне не брать с собой лишних вещей, сумка не должна быть «особо беременной», он знает, что в горах я начну «буксовать» и ему придется тащить ее. Я отшутился, что тоже — бывший горец. Попив чаю, еще раз подтвердив свое решение, разошлись.

Согласился как-то механически, потому что чувствовал себя заранее уставшим от всего, и от самого себя, своего нытья. Рядом будет кто-то, с кем тебе интересно, пребывание на «Минутке» тоже сказалось. О том, что нас ждет в Грузии, что там будем делать, и не думалось. Теперь как-то забылось, как в прошлую войну подтрунивали над теми, кто подался в бега, себя же чувствовали чуть ли не героями. Это не некий «экзистенциальный страх», а желание упасть щепкой в реку, чтобы несли тебя туда, куда течет сама.

После столь важного решения настоял, чтобы Зелимхан отвез меня домой — надо же собираться. Он привез меня и уехал сразу же, было часа три ночи.

Спать не хочется. Взял две сумки, собираясь приступить к сборам, но, вспомнив советы Мусы, одну отставил, потом, подумав, что времени еще много, бросил и вторую. Вышел во двор. Тенями памяти по нему пробегают Барсик и Том. На серо-бронзовых вишневых деревьях просыпаются редкие птички. Ночь сдала смену и может сказать, что за время ее дежурства чрезвычайных происшествий не было. Вряд ли сможет сказать то же самое вечером наступающий день. Война просыпается обычно в 8.00. Есть в утре какая-то обновленность, какое-то новое начало всего, что-то таинственное, сакральное. В нашем утре это порушено. Наше утро — дурной вестник.

Возвращаешься в дом, идешь в комнату, где много книг. Хватаешь наугад. Возвращаешься и садишься у открытого окна спальни. Узнаешь, что схватил «Афо-

ризмы», на ощупь думалось, что это томик стихов Поля Элюара из серии «Литературные памятники». Останавливаешься на фамилии любимого с юности Шиллера и читаешь: великие души переносят страдания молча. Узнаешь, что ты не та душа, не можешь молча переносить весь этот бардак, который и приличным страданием не назовешь. Это раздражает, захлопнув книгу, — снова во двор.

Теперь мутная жидкость утра стала прозрачной. Садись на холодную ступень коряво залитой бетонной лестницы, ведущей на веранду, и закуриваешь. Вспоминается тибетская притча. «Я шел по дороге. Вдруг почувствовал зверя. Когда он приблизился, это был человек. Когда он приблизился еще ближе — оказалось, что это мой брат». Засыпаешь, твердя себе: все равно надо человека любить, что бы ни происходило с ним, любящий лучше нелюбящего. Обозленный человек — враг себе, ты всю жизнь боялся такого, страшно, когда сам становишься таким.

Проснулся, когда «грады» приступили к работе, с ходу схватил сумку и стал совать в нее вещи, посчитав, что страшно опаздываешь, но вскоре успокоился, до вечера было далеко. Зелимхан обещал приехать с наступлением темноты. По двору степенно, по-хозяйски, ходит здоровая облезлая крыса. Что-то вынюхивает — ищет, чем поживиться. На человека посмотрела совершенно равнодушно, давая понять, что несколько его не боится, имеет тут такие же права, что и он. Был бы Барсик, не потерпел бы такой дерзости. Найдет что-нибудь, крысы народ настырный.

Приходит Парень. Теперь с клочком старой газеты, протягивая который, спрашивает:

— Слышал, старик, такое дело? Это об известной «Дикой дивизии».

Кто из нас не читал это, не писал об этом! Верчу в руках клочок, не зная, что с ним делать. Парень говорит:

— Может, «белого царя» и надо ругать, но и отметить надо, что ценил в чеченцах кое-что, да, старик?

Как-то в Первую мировую два полка, чеченский и ингушский, разгромили германскую «Железную дивизию». Царь на радостях послал восторженную телеграмму чеченцам и ингушам. Вот и перетаскиваем эту историю во все, что у нас издается. Особенно нравится эта история ингушам (зачинщиком баталии царь называет ингушский полк). Недовольный моим молчанием, Парень обиженно роняет:

— Если бы такое совершила какая-нибудь Его Величества лейб-гвардия, Пикуль написал бы об этом трилогию, Никита Михалков снял бы сериал. Нет, старик, все же царь считал чеченцев неплохими ребятами.

Молча возвращаешь ему клочок; прекрасно знает, что я это читал, делать ему просто нечего. Ушел несколько обиженным за «Дикую дивизию».

В ожидании Зелимхана бродишь по улице. Вспоминается свой аул, аульские старики, которых давно уже нет. Чем давней их нет, тем, оказывается, нужней они. Их лица излучали свет. Нет, не праведниками были, не сияли над их головами нимбы, как на иконах, просто были подлинными старцы, с каждым из них говорил Бог, как и они говорили с Ним, потому что имели Бога. Когда читаешь о Сергии Радонежском, понимаешь, что это был великий старец, большой человек, божий. Сколько лет живет в памяти народа!

Когда-то «воккха стаг» (старец) у нас реликвией был буквально — большой человек, не только возраст имелся в виду, его не просто уважали — любили, радовались ему, отцом и дедушкой был всем. Никто и сарая не возводил в ауле, не посоветовавшись со стариками, не узнав, одобряют они это или нет. Пахоту начинали в указанный ими день, сеяли по их календарю. Они несуетливо улаживали аульские конфликты, никогда не могли бы спровоцировать молодежь на что-нибудь сомнительное. Когда снимали фильм про нашего знаменитого танцора Махмуда Эсамбаева, их приглашали статистами, обещали хорошие для них деньги, но они отказывались, для них это была никчемная суета. С трудом удалось посадить на съемочной площадке лишь нескольких из них.

У нас на рынке довольно большая группа сегодняшних стариков торговала каракулевыми папахами, еще кое-чем из прошлой национальной атрибутики, иногда у них можно было купить и что-нибудь интересное, подлинно антикварное. Когда начались известные события, они, завершив свой рабочий день, по пути домой свора-

чивали на митинг и, надев на головы свой лучший товар, садились в первом ряду. Тут же подбегали журналисты, делали съемки, в вечерних новостях их показывали из Москвы. Невольно сравнивал их с теми стариками. Нет, те никогда не сели бы так, мимоходом.

Осиротел аул, когда их не стало, все почувствовали это. Он лишился главного, словно из-под него вынули фундамент. И жаловаться стали: «Вместе с ними из аула ушла благодать», и ушла — главной благодатью они и были. После них вся Чечня опустела, это были последние подлинные чеченцы. Современные старики, не в обиду будь им сказано, «разбавленные», им просто столько-то лет, но ушло понятие «большой человек», не только в нашем ауле ушло, и в соседнем, в Чечне ушло. Так оно и в Дагестане, на всем Кавказе, в России, во Франции, в Бангладеш, на планете всей. Может, они были последним пристанищем духовности человека. Старики, конечно, всегда будут, и хорошие, и добрые — БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА не будет, это была великая должность. Нет их — мельчает народ, в толпы превращается, которыми, как гирями, может играть любой «атлет». Ты их не просто вспомнил, это память зовет их, просит у них чего-то, уравнивают они как-то, помогают, делятся спокойствием, которого было в них много. Целую книгу бы о них! Это была бы хорошая книга, добрая, не дрянь, что о войне, политиках, убийцах, ворах, проститутках... Но не написать тебе ее, не передашь ты их, не твоим воображением были они созданы, они были природой от природы, она много лет вынашивала их и создала по образу своему. Ты можешь просто так, зрительно выхватывать наружные штрихи, главного в них ты и не понял, когда слышал, видел их живыми. Сейчас пытаешься внушить себе, что понял что-то задним числом, но это лишь сожаление о том, чего не понял в свое время, и еще о том, что ни тебе, ни ровесникам твоим не суждено наследовать им. Наследников от них не осталось — лишь физическое потомство.

По предназначению своему жили эти старики, много работали физически. Кто мог поспеть за Бага, когда он косил? А это дело большой выносливости требует, кому приходилось заниматься этим, знает, что это такое. В ауле и выражение осталось: «Поет, как коса Баги». Была в природе такая должность — крестьянин-мыслитель, ими и были эти старики, и провидцами большими, многое сбылось, что предсказывали, несбывшееся, может, ждет своей очереди. Удивляешься теперь, как они, необразованные, не прочитавшие в жизни ни одной книги, не знавшие имени ни одного лауреата Нобелевской премии, чувствовали время, могли читать его письма, глядеть в будущее, видеть, что произойдет с нами, сегодняшними. Часто повторяли: «Много железа вокруг человека, мир стал пахнуть бетоном». Не отсталость в них говорила, еще их прапрадеды знали, что железный топор лучше каменного, они говорили о мере вещей, что любая чрезмерность — плохо. Вот натравили друг на друга ребят с двух сторон, уничтожают они друг друга, старости не увидят, мудрость к ним не придет, нехорошо уходить из этого мира со злостью в глазах, в душе, нездорово, не человечно. Оттуда стреляют — ненависть сеют, отсюда — ненависть, а старики те говорили: «Ненависть — пожар в человеке, сам в нем сгорит».

Еще говорили: «Ровное дыхание — это спокойствие в человеке, его правильные веса». Когда старый Бага поднимался на высокую гору Чармой-лам, у него и был этот «баланс», словно по улице к соседу прошелся, мы же, «золотая молодежь», валились от усталости. Кто из этих стариков курил? Пил? Никто, конечно. Это мы, у которых еще пушок под носом не появился, занимались этим. И жизнь они крепко любили, ценить ее умели, зная, что она на самом деле есть, говорили: «Земная жизнь — как соленая вода, чем больше пьешь ее, тем больше жажда». Это были слова их учителя, великого Кунта-хаджи. За свои лет 120 Бага ни разу не переступил порога больницы. Вот, оттеснив его, в памяти встает Сайдал-али, невысокого роста, сухопарый, ловкий, как юноша, сразу вызывает улыбку. Когда однажды схватил что-то вроде легкого насморка, весь аул его проведаль — никто не мог поверить, что к нему могла прилипнуть какая-то зараза, все хотели убедиться в этом лично. У него характер был ироничный, насмешливый, рассказывать умел — что сказку слушаешь. У Баги стиль изложения был несколько «академичный», не делал так называемых лирических отступлений, Сайдал-али же с фантазией был, захватывал слушателя, умел сгущать краски. И сами старики любили его слушать, посмеиваясь, он и их вышучивал. Лишь много лет

спустя понял я, что он имел незаурядное литературное дарование. Они прожили свой трудный век, вынесли, сохранили его, мы же росли, чтобы свой разрушить. Они сомневались, что Земля вращается вокруг Солнца, не укладывалась в них эта «висячесть», для них все должно было иметь основу, опору. Для нас это было свидетельством нашего превосходства над ними, будто эту Землю вокруг Солнца вращали мы сами. Увидев, что в него запрыгнула лягушка, младший сын Баги трактором заглушил родник на краю их поля. Старик расстроился сильно, кричал на сына, что придет время, когда «вода будет вам дороже молока, будут кипеть и сохнуть реки, жарко будет вам, за каплю воды за горло будете друг друга хватать». Сегодня, когда высыхает Аральское море, в котором ты когда-то купался, ел на берегу печеную рыбу, когда на твоих глазах происходит много «очевидного невероятного», убеждаешься, что эти неграмотные люди говорили то, о чем только теперь начинают размышлять ученые.

В каждом кавказском ауле есть такое место, где после дневных дел к вечеру собираются старики, у нас такое называется «пхеха». Садились они строго по старшинству, младший, по просьбе старшего, докладывал новости аула, района, города, что в мире происходит. Так начинались степенные беседы: о погоде, какой по приметам ожидается урожай, каким будет покос, какая выдастся осень, о Хрущеве, о президенте США Эйзенхауэре, о строении мироздания, на чем держится Земля... Старейший начинал: «Слышал я, что наш паччах (царь) по столу американского паччаха галошей ударил (все они ходили в галошах)». Или: «Говорят, лежит мир наш на спине огромной рыбы». Другой деликатно дополнял: «Слышал я, что мир наш стоит на рогах огромного быка, а бык этот — на спине еще большей рыбы». Третий: «Мы вообще-то пылинки в глазу этого мира, этот мир и сам пылинка в глазу другого, чихнет случайно тот далекий мир, тряхнет тот бык рогами — и начнет валиться синяя крыша над нами». Для нас это было незнанием ими астрономии, физики вселенной, невежеством отставших от науки, просвещения, прогресса. Оказалось — говорили о хрупкости мира, его уязвимости, чувствовали его недуги, беспокоились за него, лишний раз дерево не разрешали срубить, ребятишкам, бросавшим камни, чтобы орех сбить, говорили: «Не спеши, внучек, когда созреет, сам упадет к тебе», учили их сажать саженцы, по сломанной ими ветке яблони высчитывали, сколько яблок дала бы она осенью.

Эти старики не перебивали друг друга. Молодым, слушавшим их стоя, говорили: вы не будете собираться так, сидеть так, у вас будут «тобанаш» (партии, группировки), одни грязнее других, у вас будут распри, вы не будете слушать и слышать друг друга, вы разрушите свое пхеха, вас погубит несогласие. Как, глядя из сегодня, когда все это сбылось, провидцами их не назовешь?

Многое ушло с ними: сказки, легенды, предания, мифы, подлинный родной язык, топорща... Примитивная вещь топорща, для нас примитивная, для них это был вид прикладного искусства. Если в магазине покупали топор с фабричным топорщем, тут же выбрасывали это топорще, мастерили свое. Топорще старого Висхана узнавали все, говорили: «Топор с топорщем Висхана делает свое дело сам...».

Увидишь, как где-нибудь в городе или по телевизору конфликтно говорит современный старый человек, и вспомнишь тех стариков, в которых не было неприязни, желания уязвить другого. Их слово было лечением, имело вес. И смеяться умели от души, шутить, задавать молодым загадки, друг другу тоже. Женщин любили, имели, что им дать.

Бага, Сайдал-али, Висхан, Висайхан, Мовсар, Израил, Дени, Мухмад, Хаба, Шахгири, Рахим, Лусу, Абдурашид, Аднан, Магомед, Геха, Гаиб, Гирми — последняя плеяда больших людей нашего аула, про которых говорят: люди, которых «не коснулась плесень времени». Они и были нашей культурой. Их внуки тоже чеченцы, но с вопросительным знаком — как медальон на шее. Это уже вопрос не этнографический, он тот, на который не хочется отвечать. Ответить — сказать себе много неприятного. Вот проносятся перед тобой лица их, и спрашивают они: что, потомок, про нас пишешь? А у тебя есть «лицензия» на это, разве сохранили вы наше лицо? Каждый из нас оставил вам в ауле родник под своим именем, из которого вы пьете. Что вы оставите? И нет у тебя ответа им. Внутри себя говоришь: но я люблю вас, старики, поэтому и пишу о вас, не для кого-то — для себя. Если доведется написать еще книгу, они будут и в ней, они твоя память, корни. Ты — ветка, давно оторвавшаяся от них и начавшая сохнуть, они же никогда не высохнут. Наверное, это пишет память сироты, потерявшего нечто большое, безвозвратное. Теперь они для нее образы, символы и

тоска по своему бывшему... народу. Это они говорили, что в 44-м депортировали чеченцев, а в 57-м вернули другую «национальность». Жили эти большие люди по-своему, много бед видели, но кто прожил счастливей их? И умерли по-своему, по-людски, никто из них не скончался в муках, с криками, под обезболивающими наркотиками. Каждый угас тихо, в свой час.

За все это время в доме ничего не трогал, решив оставить все как есть, но вдруг подумалось о будущей разрухе, детях, и решил снести в подвал компьютер, принтер, видео, телевизор, посуду, ковры и прочее, что называется в быту ценным. Возился долго, при каждой ходке вниз давая себе слово, что это в последний раз. Наконец остановился и забросал «эвакуированное» чем попало сверху: лопатами, вилами, мотыгами, граблями, косой, старыми металлическими весами, разными инструментами, проволокой, еще всяким хламом.

Тут пришел Лечи и позвал поесть. Вспомнив, что после завтрака из нескольких орехов ничего сегодня не ел, не заставил себя упрашивать. Были гости: два ингуша, родственники Лечи. Лечи приготовил что-то похожее на предыдущее блюдо. Показалось, что на этот раз еще вкуснее. Каждый сказал повару комплимент. Уже сытыми, стали выяснять, у какого народа Кавказа самая вкусная кухня. Хотя Лечи постарался сегодня, но первенство досталось не чеченцам, первые три приза получили грузины, азербайджанцы и армяне. Потом тему сменили запчасти к иномаркам, это у Лечи самый «философский» вопрос.

Два ингуша тоже обратили внимание на молодого человека, облицовывавшего свой дом, восхищались, как и я.

Вернулся от Лечи к вечеру. Поставил еду, что принес от него, собаке. Ходил по двору, смотрел на израненный дом, вспоминалось, как строил его. Родственников доводил так, что по выходным они прятались от «прораба» — надоедал им, как председатель сельсовета — постоянными просьбами прийти на субботник или воскресник. У нас обычай хороший есть помогать строящемуся, был во всяком случае. Многие тогда убедили меня, что он у нас несколько «поизносился». В первую войну после очередного безобразия авиации занимался сбором «вещественных доказательств» и возможным ремонтом. Теперь понял, что это бессмысленно. В ту вообще тянуло подробно описывать все эти разрушения, собирать, считать осколки, складывать из них разные фамилии. Нынче неохота заниматься этим «правописанием»; выбило что-то — и ладно, что щепки считать, когда лес рубят.

Вышел на улицу, став с противоположной стороны, опять смотрел на дом. Когда построенный дом своими руками говорит: «Мой дом», он вкладывает в это себя.

Уже ночь. Еще раз сходил попрощался с Лечи, потом с Дугурхой. Опечалилась. Теперь ждать Зелимхана.

Он приехал к полуночи. Я закрыл калитку, и мы уехали. Хотелось оглянуться на дом и попрощаться с ним, но было стыдно, ты предавал его, оставлял одного израненным.

Приехав к Зелимхану, сразу же лег спать, не особо раздеваясь, он же при керосиновой лампе читал роман Кнута Гамсуна «Голод». Считает большим своим упущением, что не прочел его раньше. И что бы это ему дало? Думал об оставленном доме, он стоял перед закрытыми глазами на красном поле. Есть у наших женщин проклятие: «Чтоб тебя неожиданное постигло!», об этом и думалось. Не помнишь, как заснул. Шел по улице с сумкой на плечах, каждый дом, мимо которого проходил, вставал на невидимые ноги и следовал за тобой. Часто оглядывался увидеть свой, но его не было, шла одна стена нашего дома в ауле, разрушенного «градом» еще в прошлую войну. Стена шла, прихрамывая, покачиваясь из стороны в сторону, как человек под тяжелой ношей.

Потом качался самолет, пытаюсь сделать посадку в Париже. Сверху Париж был похож на наш аул, когда смотришь на него с горы Чармой-лам. Эйфелева башня стояла посреди села — там, где раньше сажали колхозный табак, она торчала чучелом с «шапкой» — жестяной банкой из-под залежалого импортного масла, которое как-то завезли в местный ларек. По салону бегала темнотица стюардесса и шепотом кричала каждому в ухо, что самолет сейчас упадет и будет больно, но французские врачи всех вылечат, погибнет только она, так как родом из Африки, она упадет на бивни большого слона. Но самолет не упал, а повис на Эйфелевой башне, все стали

спускаться по ней, как по дереву. Стюардесса спускалась первой, звонко смеясь. Под ногами были железные сучки, похожие на осколок, что торчит в стене нашего дома с прошлой войны. Внизу с одной стороны стояли журналисты, нацелив на нас камеры, с другой — в больших рыцарских шлемах, нацелив автоматы, — военные, они будут проверять, кто из пассажиров чеченцы. Стал вспоминать, в какой карман сумки положил документы, и не смог. Проснувшись в тревоге, на ощупь бросился к сумке. Заворочавшись, проснулся и потревоженный мною Зелимхан спросил, что случилось. Не отвечая ему, в темноте обшарил все отделения и кармашки сумки. Документов не было! Вытащил все вещи — не было! Был уверен, что собрал их давно, и зрительно представлялось, как клал в сумку. Зелимхан встал и зажег свечу. Вместе снова обыскали всю сумку и одежду. Предположил, что снес документы с вещами в подвал, хотя и не верилось в это. Зелимхан, и сам расстроенный, пытался успокоить меня, но я был в трансе, нервно настоял, чтобы отвез меня домой. Он оделся, и мы поехали. Расстался с ним, пообещав вернуться, как найду документы, теперь все уверенней думалось, что снес их в подвал.

Еще в темноте стал вытаскивать из подвала все в него сброшенное. Получалось плохо, в беспорядке наваленное сверху цеплялось друг за друга. Так рассвело. Как все это удалось вытащить, и не понимаешь. Документы не нашлись! Обнаружил лишь старый военный билет, оставленный за ненадобностью. В него вклеена фотография молодого человека, которого уже не знаешь. Чувство, охватившее в доме Зелимхана, перешло в некое смирение. Машинально в еще большем беспорядке побросал все обратно в подвал. Пошел в котельную и лег на нары. Ни о чем не думалось. В душе и в теле было полное спокойствие. Лежал, закрыв глаза, внушая себе, что спишь.

Пришла мысль, что, окажись документы на месте, все равно бы в Грузию не поехал. Долго спорил сам с собой: «поехал бы — не поехал, остановился бы в последнюю минуту...» Это тоже успокаивало.

Оказывается, калитку ворот оставил открытой. Озадаченный этим, во двор вошел Лечи, стал звать меня. Я вышел. Он несколько опешил. Ведь я вчера попрощался и отбыл! Объяснил ему причину. От досады он долго качал головой, но потом стал утешать: зря, мол, поторопился вернуть вещи в подвал, это от волнения не нашел бумаги — куда им деться? Заново вытащили из подвала все. Он ворчал, что я так плохо все уложил. Ничего не нашли. Лечи доказывал: значит, положил их в другое место. Меня это раздражало, был уверен, что положил в сумку. Обыскали с ним весь дом, нашлись многие вещи, считавшиеся раньше утерянными. Так наступил вечер. Лечи увел меня к себе. Дал поесть, все успокаивал, хотя я уже и не переживал, больше удивлялся: куда же мог подевать такую кучу документов? Среди них была и сберкнижка с остатком вклада на сумму 8 рублей советскими деньгами.

Вечером приехал Зелимхан. На его вопрос о документах попытался пошутить, что вчера во двор заглядывала крыса. Шутка не прошла. Ему не верилось, предложил снова поискать. Я отказался. Он занялся этим сам. Часа через два сдался. Хотел забрать меня с собой, но я отказался.

Какое есть лечение от войны, о чем должен думать человек под ней, что вспоминать, чтобы не думать о ней? Что рассказать о ней тем, кто где-то далеко, не слышит ее? Как ему докричаться до них сквозь завывания «градов», чтобы пришли и не дали убить его дом, его книги, его собаку, телянку, корову, курицу, айву? Чем он должен занять себя в этот долгий день ожидания, день, который вчера состоял из определенного количества часов, а сегодня стал вечностью? И минута вечность, когда следишь за самолетами, летающими парами, ждешь, что они воронами сядут именно на крышу твоего дома. Кто мы такие? Почему такие? Почему называемся русскими, чеченцами, эвенками, казахами, хуту, тутси; христианами, мусульманами, буддистами, иудеями, атеистами?.. Куда идет эта великая толпа из шести миллиардов голов? Чего хочет? Наивно ставить эти вопросительные знаки, а ставишь. Эти тысячи «куда?» и «почему?» то сцепляются в длинный эшелон товарных вагонов, увозивших когда-то твой народ в далекую мерзлую казахстанскую степь, то выстраиваются в парадные шеренги и маршируют перед тобой, чеканя шаг на всей площади твоего тела. Война только постучалась в твою дверь, вышибла ее, но еще не вошла в дом, не коснулась тебя физически, а тело уже устало. Устало еще в прошлую...

(Продолжение следует)

Лев Аннинский

«Для вас — бред, а для меня — нет»

Из цикла «Последние идеалисты»: Андрей Вознесенский

Смерть Вознесенского потрясла меня, хотя я видел и знал, что дело к тому идет. Потрясла еще и потому, что реакция страны на его уход оказалась такой неожиданно острой и сердечной, что это само требует осмысления. Значит, что-то такое пообещал он полвека назад, что навсегда врезалось в души. Обещал построить города будущего? Обещал. На самом деле строил воздушные замки? Да, воздушные. Там им и место, остается только подвести под них фундамент. Фундамент не подвели — подвели взрывное устройство под названием то ли шахидов пояс, то ли суверенная демократия. Но поэт тут уже ни при чем. Он этого не обещал. Он только с подавляемым ужасом наблюдал происходящее — не подавая вида, что ему страшно, и не прекращая строить в воздухе блестящие формальные конструкции.

Об этом строительстве конструкций я и написал (еще при жизни поэта, при последних его публикациях) нижеследующую статью — для 3-го тома моей «серии» «Красный век».

Публикую, как написал, ибо не вижу необходимости менять хоть слово.

«Я на дух надел наперсток»

Андрей Вознесенский

Наперсток нам понадобится, когда дойдем до игл. А пока вспомним те реалии, какие с сивилловой зоркостью высмотрела у Вознесенского когда-то его соратница Белла Ахмадулина.

«И я его корю: зачем ты лих? Зачем ты воздух детским лбом таранишь?»

Лихость? Это не главное; лихостью щеголяли все поэты поколения, взлетевшие вверх в 50—60-е годы и замершие в зените в 70—80-е; по части лихости Вознесенский — не главный среди них рекордсмен. Хотя и был лих. Имелось и еще кое-что, у других не замеченное. Напомню. Во-первых, «детский лоб». И во-вторых, «воздух», протаранный этим лбом.

Фантастическая репутация Вознесенского необъяснима вне этих качеств. Необъяснима его «молниеносная стадионная слава», отнюдь не сменившаяся затем «опалой», как скромно заметил сам поэт в позднейшей автобиографии (мемуарной), — опала была звонкой и лишь способствовала тому самоощущению, о котором сам поэт в позднейшей же автобиографии (поэтической) сказал: «я — человек-легенда», скромно добавив: «легенда — тоже человек». Легенда шла по пятам, летела впереди, таранила воздух эпохи.

Эпоха менялась. Каждое десятилетие уводило почву из-под ног поэтов, возраставших на почве протестного (или антипротестного) интереса к реальности; звезды закатывались. Вознесенский оставался — именно таким, каким был Вознесен читателями с самого начала: не столько по существу, сколько по мастерству. Именно в роли мастера строчек, повелителя слов и ритмов, гипнотизера формы, — он не только не утерял свою репутацию, но удивительным образом пронес ее и через

застойные, и через буйные десятилетия, сохранив свое магическое влияние... непонятно, на что? На смену жизненных приоритетов? Он этим вроде бы не интересовался. ...На новые поколения читателей? У них появились свои кумиры. ...На авторитет лирики? Но лирика сама ушла с авансцены за кулисы литературного театра.

И тем не менее: «сердца миллионов колотятся в такт моим бумаженциям».

Блажен, кто верует, конечно. Но не без оснований же! Изумительна живучесть Вознесенского, прорывавшаяся через швы не просто десятилетий (определивших «закат» его поколения), но веков (на границе которых Двадцатый был наконец проклят пережившими его людьми и народами), нет, круче: через швы тысячелетий, которые у Вознесенского переглядываются загадочно, показывая друг другу нули, как кольца кастетов... Может, именно для таких предчувствий и послечувствий нужна была ему Муза.

«Муза зауими», озабоченная вроде бы чистой формой.

В пересчете на «содержание» эта «чистая форма» как раз и реализуется для начала в тех двух безумствах, которые засекала соратница поэта: «детский лоб» — невменяемая вера в Разум — и «воздух», в котором так хорошо было строить идеальные замки, надеясь потом подвести под них фундамент.

Попробуем теперь подвести?

Взрывчатку везут пудами!
Мы строили второпях.
Надеемся на фундамент.
В фундамент заложен страх.

Страх? А может, имитация страха? Вы знаете Давида Копперфильда? Нет, не того, о котором вы подумали, а — фокусника? Гениальный шулер! Он просто лежит на воздухе. И никакого страха. «Каждый может так».

Каждый??

Ну, если не каждый, то уж поэты — должны. Гавриил Романович Державин — профессиональный шулер! «Ложный жулик с подлинной тревогой».

Виртуозная формула. Человек жульничает в мире жулья, чтобы спасти подлинность: тревогу в душе. Как вам нравится такой оборот смыслов? И где кончится их коловращение? И кончится ли? Кто способен удержаться в этом мире подмен? Кроме шулера, есть ли еще реальные силуэты в итоговой картине мира (я беру итоговый том собрания сочинений, выпущенного Вознесенским уже в нашем миллениуме).

Нету физиков? Нету лириков? Усвоили. Но и поэтов, что реяли над миром лилипутов, тоже больше нет. Шулеры, лежа на воздухе, реют над обитателями гигантского Желтого дома.

Конкретные фигуры, выхватываемые Вознесенским из наличного контингента, свидетельствуют о его снайперской наблюдательности.

Вот челночница, что-то кричащая с кормы шаланды. А может, не шаланды, а баржи недодолбанной бандерши. Вот Мадонна из Зарядья: «тройню черных родила». На фоне того, что «русские перестали беременеть», факт отрадный, хотя несколько шулерский. Вот гонщики в иномарке. Вот панк «со щеками, как чашка Чехонина». Понятно, если справиться, кто такой Чехонин, и знать, что такое аллитерация. А вот фигура, в общедемократическом контексте понятная без всяких справок: форвард, забивший штуку, бежит, раскинув руки¹. На фоне педофильской элиты, набирающей упырей, он просто родной. А вот — не родная ли? — «Омоновка кричит, под маской скрыв чадру: — Ты чей, чат? — Ru!»

Ru — это Россия.

Кто там еще? «Абсолюта» дети, телки и плебей. «Хрюк кабанов. Чавканье трясин. Над интеллигенцией — кулак». Чей кулак? «Хакеры, пай-мальчики очкастые, а иные даже без очков». Впрочем, может, они и не хакеры. Может, агенты.

¹ Форвард (англ.) — слово уже понятное; штука (рус.) — еще не очень; перевозоу на англ.: забивший гол.

Воткнули носы. И тоже: «один очкастый, другой без очков». По очкам и не изобличишь теперь тех умников, которые когда-то кричали: «Гениальность в крови планеты!» и обещали построить стратосферные замки.

Что мы имеем теперь?

Паноптикум. Время лаж. «Спасли меня в «Новом мире» когда-то, пират пера! А вдруг и тогда схохмили? Все это теперь мура». Из теперешней муры и тогдашние мечтания — мура. Все — трупы. «Потрясно, что я живой». Катапультироваться бы из этой жути, но куда? «Живу среди дебилов и диковин. Глухонемые воют в шапиту. Я знаю, что один из них — Бетховен. Но кто?» А поближе нету? Есть и поближе: «Мы — дети дури. После падучей в нас затаилась за занавескою дурь гениальная Достоевского». Помогает? Мало: дурь наша — ниже пояса, это не дьявольщина, это... как это у Чехова? «Что сегодня называем «пошлостью», это не свобода сатаны, это вопли на соборной площади потерявшей родину страны». Точнее было бы наоборот: родина потеряла страну. Но это неважно в общей фантазмагории воплей, разменов и переименований. «Все товарищи сегодня — господа. Над попсиною страной наискосок голосина стонет, голосина — с ним навек мой волосиный голосок...»

Голосок-то пронзительный. Иглой пронзающий эту жуть. Сквозь нее кровавящий душу.

«Веру наивную не верну. Жизнь раскололась. Ржет вся страна, потеряв всю страну. Я ж — только голос...»

Страна ржет. Отняли море — хоть бы что. Ветер потерь свищет в мозгах? Такое время. Шулера гадают на картах? «Держава, что была вчера, сама — полкарты». Игра слов отдает притворным глумом. «Россия вскрыла вены... — Неотложку, Господи!» — и комментарий в сторону: «если неотложка еще жива». Жизнь есть Смерть. Страна распята. Страна-муза, страна-прачка. Тут голос взвивается до истинных слез: «Моя пятая стена — Стена Плача». Взвившись, вновь опадает до шуточек, за которыми спрятана боль диагноста, слишком зоркого, чтобы прикидываться слепым: «Мне непонятно, с кем помолвлена отчизна». Да ведь известно с кем: с «экономикадзе». Очередной диагноз — в стилистике наркологов: «И Россия в страшной ломке, воя, прет в последний путь». На этом пути похоронное настроение сменяется не менее искренним азартом шоумена-интернетчика: «Я — сальто перевернутой отчизны. Я — старый клоун. В клюкве, не в крови. Я вышел в чат. Страна, поговори!» Интонация мечется между прощальной грустью: «Жаль, что я, Россия, не увижу твои золотые времена» — и весельем игрока, дорвавшегося до ставки: Россия — «Божье казино».

Как совместить эти взаимо-косящие, обоюдно-подкашивающиеся взгляды?

Никак — от ума. И запросто — в волшебном оксюморе поэзии:

Что судьба нам накукарекала?..
И рыдает, и гибнет народ.
Но волшебное русское зеркало
все читает наоборот.

Без Кремля в этой симфонии не обойтись даже такому далекому от политической кухни поэту, как Вознесенский. Прямую браваду я комментировать не буду: «Соревнуются шуты примерять колпак Кремля». Но с восхищением комментирую следующий пассаж:

«Если сложить Кремль зелеными башнями внутрь, получится идеальный круг рулетки, с гнездами для шарика по кругу стены».

Вот уж где игра сильнее расчета! «Доиграетесь!» — пригрозил увозимый с игрища алкаш. Лучше него этот игровой зуд не откомментируешь.

Завершим, однако, портрет родной Державы

И перейдем от панков, плейбоев и их телок к более нежным и перспективным возрастам. Вот школьница. Она — шкодница. Вот детишки в детсады: из любознательности сбрасывают кошку с десятого этажа, закапывают, а через пять дней бережно отрывают — посмотреть, что с ней стало. Все подвиги этих цветов жизни не пересказываю, ставлю вопрос шире: а есть ли кто-нибудь в близком, родственном кругу, принятый безоглядно? Как насчет отцов, с которыми у «детей Двадцатого

съезда» был великий спор? От имени отцов сам Хрущев удостоил Вознесенского высочайшей порки, хорошо еще что только словесной.

А родители?

Родителям тут воздано в разных жанрах, включая пресловутые видеомы, но если брать собственно стихи, то два-три остроумных оборота вполне высвечивают и неизбежность проблемы, и попытку решить ее все в том же притворно-шулерском ключе.

«Отец и мать, ваш дар я промотал, как клоун».

«Вы нас духовно богаче, забулдыги-отцы. Вы сдавали многоразовые бутылки, А мы — одноразовые шприцы».

«Непредсказуемо папа с мамой стали тобою...»

Отдаю должное ясности первой формулы и остроумию второй, но предпочитаю третью по остроумной ясности, с которой отпрыски отдают должное той истине, что они — непредсказуемые «дети мглы».

Где там место души во мгле?

Когда-то наследники тургеневского Базарова тыкали в глаза растерянным идеалистам распотрошенных лягушек; наблюдавший эти диспуты умный мужик заметил: «Вы мне покажите в разрезанном вами теле душу, тогда я в нее поверю!» — на что еще более умный интеллигент сказал: «Если душа обнаружится как кусок тела, то это и будет означать конец веры в душу».

Вознесенский кружит около этой старой хохмы:

«Кишки на стол! Кишки на стол!»

Все это могло бы показаться очередным номером в стиле Копперфильда, но напор поэтической хирургии и неожиданно прорезающаяся в ней патетика заставляют вслушаться в лейтмотив повнимательнее. Пешеходы на «Пушкинской» с вывороченными утробами — отклик на взрыв в подземном переходе. «Внутренности взбесились» — уже рефрен. «Не играйте с внутренним миром! Не заглядывайте вовнутрь!» — еще и подсказка.

Что же внутри?

Внутри — «жемчужины из моего желудка в остатках дерьмового ужина».

Разрублено, разрезано, разжевано, переварено. А голод все не отпускает. Голод души.

«Как мучительно прогрызаться через воющие кишки!.. Человечья цивилизация развивается вопреки // миру Божьему и животному. Все теснее тюрьма-ведро. Ты с насмешливою зевоткой озираешь людей в метро».

В метро и вообще в мире, как в ведре, все перемешано, и это еще один лейтмотив поэзии Вознесенского. Перемешано все.

«Войны, технари, налоги, кровь, поэты, Лужники и новейших теологий виртуальные жуки».

Виртуальное столь же реально, сколь реальное виртуально. Наш санузел прямо совмещен с иным измерением. Лезешь в Конфуция — находишь Лейбница. Созерцаешь девочку с персингом — осязаешь девочку с персиками¹. Лучшее всего это проникновение одного в другое явлено в строке: «Трахнул ведьму серафим». Но лихо звучит и вот это:

«Вошел священник в обитель блуда, как в Магдалину вошел Господь. Не выбирает вино сосуда — одухотворяет из глины плоть».

Еще один рецепт сотворения плоти из глины:

«Пахнет кексом, сексом, тестом, текстом и, конечно, протестом».

Протестом мы, конечно, транспонируемся в реальность Двадцать первого века, в нынешние дни гнева, марши несогласных и митинги в защиту права на митинги. Так наш век трахается со всеми предшествующими.

«Бог. Кайф. Грех. Рюрик. Рерих. Ленин».

Присутствие Ленина (особенно если учесть «Лонжюмо» и прежние ленинские мотивы Вознесенского²) придает этому всесмешению оттенок политической про-

¹ На Серова ссылки нет — и так должно быть понятно, что за персики. А вот piercing Вознесенский пишет латинскими буквами, видимо, еще не веря, что этот способ татуировки уже прижился под нашими осинами.

² Включая самый громкий: «Снимите Ленина с денег!» — и ведь осуществилось же.

граммы, но программа тут скорее фонетическая: важно то, что Рюрик и Рерих братаются по созвучию имен.

Ономастические просвечивания — «ноу-хау» мастера. «Бизнесенский» — пример кунштютюка, ради которого мастер не жалеет самого себя. Еще пример, не лишенный виртуозности: Бедуин де Каберне¹.

На мой-то вкус лучшее в этом жанре — «алфавит от Айги до Шойги»: и в словари лезть не надо, и мир стянут строчкой.

Мир — ворох подмен и совпадений, распавшихся частей и сросшихся членов, разлетающихся кусков и слетающихся стервятников. Собрать его можно, как собирают детский конструктор: надо одеть воздух игрушечными запчастями.

С запредельными высотками молодого Вознесенского эти нынешние конструкции имеют преемственную связь: тогда воздушные замки, тараня воздух, реяли в невесомости, — теперь они сыплются из невесомости в бредовую реальность и застывают в ней... на случай какого-никакого фантастического проекта. Получается что-то вроде склада запчастей для некоего неведомого Бытия.

«Мир распадается на запчасти».

Мир и познается через запчасти. Это, наверное, самый главный лейтмотив в итоговой лирике Вознесенского. И это прямой путь к пониманию того, какую роль играет в этой лирике пресловутая «чистая форма».

Из нас любой — полубезумен.
Век гуманизма отшумел.
Мы думали, что время — Шуман.
Оно — кровавый шоумен.

Вроде бы классический имперский ямб. Иногда — классический простонародный хорей. Реже — плачущий трехсложник. И все это — в пределах традиционной просодии. Иногда дающей ритмическое место дольнику. Или тактовику. На этом безукоризненно звучащем фоне слова переглядываются, кувыркаются, корчатся, зависают, висят, срываются.

Простейший (на простодушного читателя рассчитанный) прием перевода прыгающего содержания в прыгающую форму: верстальщики заваливают текст то вправо, то влево, и он по странице «шатается». Или текст, сорвавшись с последней строки четверостишия, начинает метаться по странице, втягиваясь то в спираль, то в кольцо, то в мертвую петлю. Или когда этой вольноотпущенной строкой обрисовывается силуэт сапога или утюга. Или сердца. Или крышки рояля. Или еще какого-нибудь символа, как-то связанного с содержанием данного текста. Ценители такого рода стихографики могут быть довольны. Я — не из их числа.

Мне понятнее чисто литературные находки на ухабах этого поиска. Например, фразы, замирающие на полуслове:

«Я тебя очень.. Мы фразу не кончим. Губы на ощупь. Ты меня очень...»

Связи, изначально разорванные, внушены читателю, чтобы он срастил их самостоятельно. Чтобы осознал, что они есть. И что их нет.

Иное сращение слов вознаграждает читателя какой-нибудь неожиданной скабрёзностью:

«На все юнески и гринпис бельгийский мальчик отвечает: «Псс...» С ним русский мальчик состязается в стране былин: гринписдецентрализация, блин!»

Оставляю читателя смаковать этот блин и перехожу к более привычным приемам стихооборотничества: это палиндромы, как правило, у Вознесенского изысканные, тонко пародирующие общепринятые смыслы. «Воронеж — женоров». Это же «норов наш». «Нирвана — а наври». Это же вранье наше, радость нирванопоклонников.

Самый излюбленный прием — разрыв словесной ткани, сращиваемый механическим повтором.

¹ Иван Александрович, — удостоверяет мастер на случай, если знатоки истории лингвистики переспросят: Бодуэн де Куртенэ?

«Давайдавайдавайдавайда...» (При чем тут Вайда?»).

«Темзатемзатемзатем...» («Что за тем? За темью темь»).

«Цокольцокольцокольцокольцо...» («Кто расшифрует?»¹).

Эти цепочки — любимый фокус шоумена. Иногда настолько артистичного в своем лукавстве, что его игра напоминает угадку. В какой руке спрятано? Не важно, что, важно: в какой руке?

Виртуозность наперсточника?!

Может, и эта метафора не так проста? Иголок Вознесенскому натыкали смолоду и критики, и власть. Пришлось обороняться.

«Я на дух надел намордник. Жмет, конечно. Но красиво».

Еще более красиво — про папаху Эсамбаева:

«Папаха сверкнет как наперсток, надетый на Божий перст».

Бога я, пожалуй, обойду. Его не видно. Полный улет. Зовет — нету. Договорить до конца не хватает духу: «Боже, отпусти на не...» Ожидаемый ответ прессингует реальность таким привычно-родным образом: «Пошли вы на...»

Хочется обратно в стих?

Пожалуйста:

От ответов твоих поежишься.
Ты не жалуешь словари.
Так булавки торчат из ежика.
Тоже пирсинг. Но изнутри.

Вот теперь порядок! Лучший Вознесенский. Мастер формы. Но — изнутри.

Так вот, чтобы завершить о форме.

Да, перед нами действительно мастер. Признанный мастер, и эта репутация по справедливости не меркнет за десятилетия его работы.

Но эта форма имеет самое прямое отношение к содержанию: к самому существенному аспекту отношений с реальностью.

Форма — крах мечты об идеальном мире, которого больше нет. Форма — мучительная попытка вернуть мирозданию смысл и образ. Форма — вопль о содержании, которое выскальзывает из формы.

Куда выскальзывает? В безумие? Скорее, в полубезумие. Чтобы его можно было записать.

В записи это полубезумие не уместается ни в какие прежние рамки: этичные, эстетичные, политичные, поэтичные.

В точной записи это — бред.

«Для вас — бред, а для меня — нет».

Воздух, протараненный детским лбом, уже почти не помнит, что когда-то был ветром.

★ ★ ★

Пухом тебе облака, вечное дитя русской лирики...

¹ Тут в строке миниатюрный рисуночек, который я расшифровываю как божью коровку. Возможно, я ошибаюсь.

Дмитрий Шеваров

Твёрдый переплет

Старинных книг мерцают корешки,
Сверкают в сумерках веселой позолотой.
Блуждает сок таинственной строки
Под темною корою переплета.

Новелла Матвеева

Никогда мне не написать про Гёте в прошедшем времени. Только — в настоящем или в будущем.

Обветшают подшивки, осыплется и исчезнет без следа чушь телевизионных картинок, забудут имена политиков и «звезд», а книги со скромной надписью на титульном листе «Издатель Сапронов» останутся. И когда-нибудь станут старинными. Созреют для вечности. Новые поколения с благоговением возьмут их в руки, будут поглаживать корешки и вздыхать: «Да-а, были времена... Какая культура! Какое удивительное сочетание благородства, простоты и изысканности!..»

Так Гёте оправдывает нас и наше время. Так, за Гётевой спиной, мы зайцами прыгнем в транссибирский экспресс русской книжности, в тот поезд, где в первых вагонах — Карамзин, Жуковский, Пушкин да братья Киреевские, а в прицепном плацкарте — мы, последние, кто писал в прописях перьевыми ручками, сморкался в промокашки, ел мел и опрокидывал на себя чернильницы.

И канет наш поезд в ночной глуши, мелькнет пунктиром во снах школьников, ошалевших от зубрежки китайской грамоты, и уйдет по тупиковой ветке в тайгу. Туда, где стоят на случай войны черные паровозы, резерв ставки...

* * *

Москва, поздняя осень 2006 года. Книжная ярмарка интеллектуальной литературы. Гёте с Леночкой тут с раннего утра. Я прихожу чуть позже и помогаю им обживать стенд, похожий на скворечник. Тут надо как-то разместить гору книг и самим поместиться. А книги и разложить-то негде. Гёте уже просил стол у организаторов, но ему сказали, что столы закончились.

Мы ходим по лабиринтам между стендов и смотрим, нет ли чего бесхозного. Но народ тут такой собрался, что каждая веревочка и та при деле. Я заглядываю в какой-то темный чулан и вижу пластмассовый круглый стол, никем не занятый. Убеждаю Гёте, что стол ничейный. Гёте проявляет интеллигентские сомнения. Это ведь только со стороны он выглядит решительным сибиряком, крепким и твердым. Но за этой твердой обложкой — нежная душа и чуткая совесть.

Пока Гёте чешет в затылке и прислушивается к совести, я со словами «не утащим мы — утащат другие» хватаю стол, и мы уносим его в наше гнездо.

Через час вокруг этого столика будут толпиться люди и затеваться длинные беседы об Астафьеве и Распутине, о Байкале и вообще о Сибири. А потом придут и настоящие, живые классики — Валентин Григорьевич, Лев Александрович, Валентин Яковлевич, Игорь Петрович... Присядут с краешка, а то и задвинутся в угол, но народ

уже узнал их и валит за автографами. Книги быстро убывают. Гена, радостный и взмокший, разрывает пачку за пачкой.

Потом тащу его в буфет. Пробираемся туда через книжные дебри. У каких-то стендов хватаем друг друга: «Ты глянь, глянь...» Застреваем у каких-то диковинных фолиантов, забываем, что голодные.

В буфете он не дает мне заплатить: «Ты у меня в гостях...» Устраиваемся с кофе в уголке, вокруг — галдеж пестрой толпы, но нам он почему-то не мешает говорить о самом тихом и несуетном.

— Гена, ты рос конечно же среди книг?

— Да нет, книг у нас дома было совсем немного. Небольшая этажерочка у моей кровати. Жили небогато, как все в нашем городке Черемхово, это под Иркутском.

Но я любил ходить в библиотеку. Она была в шахтерском Доме культуры. Мне очень нравился запах библиотеки, там было тепло, красиво. На улице лужи, покосившиеся заборы, черные от сажи и пыли бараки, пьянство, а в библиотеке светло и уютно. Меня тянуло туда, я ходил между стеллажей, трогал книги на полках, листал, присаживался тут же читать...

— А кто первый раз привел тебя в библиотеку?

— Не помню. Мне кажется, я всегда туда ходил. Я не часто ходил, не был уж таким сумасшедшим книжником, которого бы в библиотеке все ждали... Нет, мне просто нравилось туда ходить, брать домой книжки про героев-пионеров.

— Когда ты впервые ощутил книгу как чудо?

— В четырнадцать лет мне попал в руки «Последний поклон» Астафьева. В той книге не было ничего особенного с точки зрения оформления, ничего такого внешне-го броского, что могло бы потрясти. Но оторваться от чтения было невозможно. Мне было так жалко всех этих деревенских людей, жалко Витьку, его бабушку, всю их родню. Так полюбилась мне эта деревня и все ее жители, таежная природа! Для меня, городского мальчишки, это было потрясение.

Я впервые почувствовал, что в глубине души я скорее всего человек деревенский. Бабушка моя была сельской учительницей, преподавала по деревням Черемховского района и даже орден Ленина за это имела. Но бабушка умерла еще до моего рождения, и первый раз в деревню я попал в двадцать три года, когда женился. Мои замечательные тесть и теща учили меня косить, стоговать, метать зароды, доить коров, многим другим деревенским «премудростям» И оказалось, что все это мне так близко и дорого. Я понял, что все это было всегда во мне где-то рядом, только не раскрыто в силу обстоятельств. С тех пор я просто рвался в отпуск в деревню, чтобы успеть на сенокос. Вот, к примеру, в Москву меня почему-то никогда не тянет. Для меня тут невозможная жизнь. Иркутск и то уже слишком большой и суетный для меня город.

— Каким, получается, долгим был твой путь к встрече с Астафьевым...

— Да, ничего случайного не бывает. В январе 1985 года я приехал на юбилей красноярской молодежной газеты, а Виктор Петрович был туда приглашен как почетный гость.

На вечернем банкете мы оказались друг против друга за столом. Он говорил замечательные тосты, был весел, потрясающе обаятелен и прост в общении. Я тут же напросился к нему на интервью. «Да завтра же и приходи», — запросто ответил он.

Пришел, мы с ним просидели, побеседовали о войне, я все записал на диктофон. А с Петровичем странное всегда ощущение было: беседа с ним непринужденна, много шуток, разных историй и за этой внешней простотой разговора часто забывалось, что ты пришел по заданию редакции, что несколько вечеров готовился к беседе, рассчитывал получить на свои «очень умные» вопросы философские ответы, в которых бы писатель глубоко и мудро размышлял о жизни... А уходил от него всегда с ощущением грандиозного провала — протрепались полтора часа, и что я теперь из всего этого сделаю для газеты? Но начинаешь расшифровывать беседу и убеждаешься: там все есть, все на своих местах...

— Мне тоже посчастливилось с ним беседовать и помню, как он дотошно вычитывал текст интервью, кое-что заново переписывал.

— Он очень любил работать с распечатанным текстом. «Пишу, пишу, — рассказывал, — пока не завалю весь стол бумагой, и тут уж зову Марию Семеновну разгребать меня. Она все листочки соберет и несет к себе на машинку. А уж когда принесет с машинки напечатанный текст, вот тогда наступает для меня любимая страда».

Очень любил Виктор Петрович первое прочтение своего текста с машинописного листа. Правка, вставки, переделка текста — с этим он любил работать до изнеможения. Он даже не так радовался выходу журнала с его повестью или рассказами, или новой книге, как тексту с машинки. «Пастух и пастушка» переписывалась и перепечатывалась несчетное число раз. Восемнадцать раз он садился за капитальную правку «Царь-рыбы».

— Одна из причин была цензурной?

— Да, было давление цензуры, были требования редакторов, часто абсолютно маразматические. Но при этом и Виктор Петрович, и Евгений Иванович Носов, и Валентин Григорьевич Распутин во многом были им же и благодарны. Тогдашняя идеологическая система заставляла не просто эзоповым языком говорить о наболевшем, она прежде всего заставляла писателя требовательней относиться к своему труду, кропотливо работать над текстом.

— А читаешь «Последний поклон» и кажется, что это на одном дыхании написано.

— Это написано на дыхании всей жизни. Он же писал эту книгу до конца своих дней. Намаявшись с новой повестью, мучительно дававшей, или с военным романом, он уходил в книгу о детстве, как бы давая себе творческую передышку. В результате «Последний поклон» вырос до трех книг. Издать «Последний поклон» в подарочном, красочно иллюстрированном варианте — наша мечта с моим постоянным художником-иллюстратором Сергеем Элояном.

— Сергей — талантливейший художник, ни на кого не похожий. Вместе вы сделали уже десятки книг. Как у вас с Сергеем рождается образ книги?

— В самом начале работы нам с Сережей всегда важно понять, каким будет сквозное восприятие книги. Когда мы находим его, я уже не влезаю в чисто художественные вопросы, и Сереже полностью доверяю.

Вот была у нас книга, называлась «Вернитесь живыми», в нее вошли шесть повестей писателей-фронтовиков. Сергей сделал один вариант, другой и только на третий раз был найден образ: солдатский стол, грубо сколоченный из досок, на нем стоит шесть кружек алюминиевых. И такое небо рассветное, и звезда падает — можно подумать, что это сигнальная ракета. И она же отражается во всех шести кружках. Долго не могли найти решение распахнутого титула. В итоге Сережа нарисовал изрешеченные колонны рейхстага, и на них было написано: «капитан Быков», «рядовой Астафьев», «лейтенант Носов»... — как будто они расписались все.

— Как ты представляешь себе читателя тех книг, которые вы выпускаете?

— А никак не представляю. Я даже иногда думаю: а есть он, этот «мой» читатель, или нет?.. Я просто люблю автора, хочу издать его книгу и поставить ее себе на полку, вот и все. А что будет дальше — меня не интересует. Я делаю книгу, для меня это тоже художественная задача, и когда получается — в этом и радость.

— Но и в самом благородном издательском деле существует своя коммерческая составляющая.

— Конечно, вкладывая деньги в издательский бизнес, необходимо их вернуть и желательно с прибылью. И во всех моих проектах, кроме первого, это пока удавалось. Наверное, и удавалось потому, что делалось с радостью.

— А что случилось с первым проектом?

— Это был двухтомник Астафьева, весь тираж которого в 1993 году, на заре первоначального накопления капитала, один ушлый книготорговец попросту украл. У меня тогда на какое-то время исчезло всякое желание издавать книги. Ничего себе, думаю, порядки на этих грядках. Не за себя было обидно, а за Виктора Петровича.

Он меня тогда еще попросил поддержать Евгения Ивановича Носова. Ведь все 90-е годы автор «Усвятских шлемоносцев», классик русской литературы, не издавался и просто бедствовал. Выход книги мог бы его здорово поддержать, а у меня тогда

из-за этой гнусной истории не получилось его издать. Сборник рассказов Евгения Носова «Яблочный Спас» я смог выпустить только в этом году.

— Ты чувствуешь себя продолжателем Сытина, Павленкова, Солдатенкова — тех старых русских издателей, чьи имена до сих пор на слуху?

— Меня сближает с этими людьми, наверное, лишь любовь к издательскому делу. Они существовали в другой культурной и экономической среде. Они были богатыми, состоятельными людьми, меценатами. Ничьим продолжателем я себя не чувствую и никаких особенных традиций в своих делах не замечаю. Слишком мало еще пока сделано, да и в издательском деле здесь, в провинции, я — одиночка.

— Мы с тобой хорошо помним те времена, когда в любом райцентре и даже сельмаге можно было найти такие книжки, которые в Москве днем с огнем не сыскать. Книги были так же доступны, как хлеб. Сегодня из книги все чаще делают пирожное, предмет роскоши, вещь, которой надлежит пользоваться лишь состоятельным интеллектуалам.

— Ну есть и другая крайность — издавать книги «для убогих и сирых», сверху глянцева обложка, а внутри серая газетная бумага и текст мелким шрифтом. Мне сколько раз предлагали: а не хотите ли издать такую книжку, чтобы она стоила двадцать рублей и все могли бы ее купить? Но до такой же крайности тоже нельзя опускаться. Это же книга!

Да, в зависимости от содержания, цели издания и рыночной задачи, по возможности книга должна быть материально доступной для читателя, но при этом она всегда должна оставаться произведением издательского искусства.

— В ваших с Сергеем книгах — редкое сочетание простоты и изящества. Их хочется подержать в руках подольше. Но в нынешних книжных магазинах разглядеть такие книги очень трудно. Вокруг столько яркого, пестрого, манящего...

— На мой взгляд, в нашей книготорговле совершенно утрачена всякая культура работы с книгой. Нет даже понятия о том, что есть книги, которые продадутся и без всяких на то торговых усилий, потому как, «отпиаренные» в средствах массовой информации, они просто «прыгают» на тебя с полок книжных магазинов. Стоит тебе только туда войти, как они нагло хватают тебя за рукав: «Купи меня, купи!»

А есть книги скромные, внешне не такие броские, но зато более опрятные, они ни к кому не пристают, а спокойно и с достоинством ждут своего читателя. К ним надо подойти, с ними надо поговорить, немножко полистать — вот с такими книгами и надо работать книготорговцам, помогать читателю найти именно свою книгу. Это историческая литература, это поэзия, это книги наших сегодняшних классиков — иногда еле сводящих концы с концами...

Раньше все-таки в книжных магазинах работали замечательные женщины, они могли посоветовать, с ними можно было поговорить о литературе, они всю жизнь с книгой провели. А сейчас в магазинах все книги закомпьютеризировали, девочки, которые там работают, как в «Макдоналдсе», все на одно лицо и одинаково ничего не знают о книге, для них что книга, что гамбургер, что колготки.

Книг сейчас много и разных, и это замечательно, но и книжных магазинов тоже пусть будет много и разных. Книжный магазин должен быть немного клубом. Вот в Питере это уже чувствуется. Там есть книжные магазины, которые работают круглосуточно. Можно в любое время войти, взять кофе или минералочки, или даже пивка, посидеть, полистать, почитать. И люди приходят. Мне это очень понравилось. Там так спокойно, тихо, как в той моей далекой уютной библиотеке из детства. Вот в такой обстановке можно совершать открытия и находить что-то для души...

* * *

В августе 2009-го я зашел в книжную лавку Литинститута. Долго один рылся в книгах. Потом кто-то еще зашел, я не обернулся. Слышал только, что какая-то немолодая женщина беседует с хозяином магазина. Вдруг слышу: «Сапронов... Сапронов...» Я обернулся, а женщина уже выходила из магазина. Я догнал ее, она плакала. Нет, она не знала Гену, но знала все его книги и приходила за ними сюда, в лавку. Мы вместе дошли до метро, вспоминая Гену, соединенные печалью о его уходе.

Когда он мне снится, то я обычно на что-то жалуюсь, а Гена меня весело успокаивает: «Представь себе книги, которые мы с тобой еще сделаем, — и все будет хорошо!..»

Так обыкновенно было и в наших письмах. Вот некоторые из тех, что удалось вытащить из электронной почты. В них — тяжкие будни и редкие праздники частного издателя, которому не на кого уповать, кроме Бога.

«Теперь все во власти Всевышнего и резонансе читательской души...»

Из переписки Геннадия Сапронова с Дмитрием Шеваровым

2007 год
8 марта. Иркутск

Дима, дорогой, привет!

Извини, что сразу не ответил, но на то были веские причины. Полетел я 1 марта на три дня в Китай¹, а застрял там аж на неделю. В день отлета в Шеньяне приключилась такая стихия, которой не было в тамошних краях 50 лет, да и я на своем веку такого не видывал. Сутки мело и пуржило так, что я уж думал — света белого мне и не увидеть вовсе. Снега навалило столько, что и через четыре дня, когда улетаю, я продирался сквозь многометровые городские айсберги.

Так что вот и просидел я у китайцев заложником четыре дня. А спасала меня от одиночества и тихого помешательства твоя книжка², которую я взял с собой в дорогу, чтобы дочитать. Вот и тянул ее по страничке, наслаждаясь. Ты молодчина, Димка! Книжка такая тихая и светлая, добрая и чистая, что мне, в моем номере-камере, она была просто лекарством (таблеткой, микстурой, компрессом...) от тоски и злости на весь белый свет, что так глупо я оказался заточенным в практически на неделю безвыходное положение.

Рад, что твое интервью с Валентином Григорьевичем³ состоялось. Фото я тебе прилагаю, правда, там нет Валентина Григорьевича возле школы, но есть кадры из Аталанки в его родном доме, на катере по Ангаре, возле храма в Усть-Уде, который был построен благодаря и его стараниям, и освящен в прошлом мае. Если они тебе подойдут, то буду рад. Если можно, сохрани для меня газетку, когда выйдет ваша беседа.

Мы прилетаем с Леной 14 марта. 16 марта презентация всех наших книг в Доме национальностей.

Поздравляю всех твоих женщин с сегодняшним праздником, таким внешне не весенним, но, надеюсь, светлым и теплым в душе.

Обнимаю тебя, дорогой!

До скорой встречи!

Твой Геннадий

¹ В последние годы по экономическим причинам Геннадий чаще всего печатал свои книги в Китае.

² Д. Шеваров. «Освещенные солнцем. Добрые лица XX века». М., 2004.

³ Беседа с В.Г.Распутиным готовилась для газеты «Труд» к 70-летию писателя.

2008 год
12 апреля

Дима, привет!

Книги в типографии. Вроде все идет по плану.

Хочу тебя пригласить 21 апреля в Центр русского зарубежья на выставку Юрия Селиверстова и презентацию книги-альбома, который мы сделали вместе с Курбатовым. Впервые знаменитая графика Юрия Ивановича (особенно его великие портреты «Из русской думы») выходит в альбомном варианте. Это на Таганке в двух шагах от метро напротив церкви Николы в Гончарах. Приходи обязательно. Будет Курбатов, Распутин, Савва¹, надеюсь, много других дорогих мне людей. Зову и всех будущих «иркутян»: Варламова, Кострова, Золотусского, Толстого. Сам, к сожалению, приехать не смогу. На предстоящей неделе со вторника по пятницу буду по делам в Пекине, да и после дела не отпустят.

Дела наши близки и едины, а вот города, к сожалению, два лаптя по карте. И хотя для России это не расстояние, а посмотришь в сторону горизонта, да и опустишь руки. Одна отрада — интернет.

Обнимаю. Привет Наташе².

Твой Г.С.

¹ С.В.Ямщиков.

² Жена Д.Шеварова.

13 апреля

Да, конечно, письмо твое получил... Приглашай на выставку всех своих добрых знакомых. Чем больше добрых людей будет вместе, тем легче жить в этом всеобщем радостном мраке.

Посылаю верстку книги. Сообщи, как дошло.

Обнимаю. Привет твоему красивому семейству.

Ваш Г.С.

26 апреля

Дима! Ты не совсем меня понял. 4 мая я только жду от вас с Лешей Варламовым принципиального решения о том, что вы готовы забирать книги. Если сможете сообщить раньше, тоже хорошо. 4 мая я заброшу в типографию свое письмо, в котором точно пропишу, кому и сколько выдать книг. После позвоню тебе и Леше, а также изложу все письмом — как, где и что забирать. Так что планируйте «операцию» на любой день с 5 по 8 мая. Если вы будете забирать все книги, то приблизительно это будет 55—60 пачек примерным весом 230—250 кг. Я не знаю, какая у Леши машина, но, в принципе, все это должно войти в нормальную иномарку. 20 пачек надо будет завезти Агнесе¹, 15 для школы, по 5 пачек авторских.

С 28 по 30 апреля я буду в Саянске и Братске по делам будущих наших Литературных вечеров.

Поздравляем с Леной все ваше замечательное семейство со Светлым праздником Христова Воскресенья! Света вам и Добра на долгие годы!

Обнимаем.

Ваш Г.С.

¹ Агнесса Федоровна Гремичкая — многолетний редактор книг «Издательства Сапронова» и друг Геннадия.

Д.Шеварову и А.Варламову
9 мая

Здравствуйте, дорогие Дима и Леша!

Все необходимые бумаги для получения книг находятся в типографии «Новости». Вам надо приехать в типографию... Вы забираете следующие книги... Дима, со школой и книжной лавкой Литинститута мы связались, все обговорили...

Вы уж простите, други мои, что обременяю вас своими издательскими хлопотами, но вы, действительно, окажите мне неоценимую помощь. Поить мне вас не перепить!

Обнимаю. Ваш Г.С.

18 мая

Дима!

Спасибо за добрые слова. Звонили Костровы и Агнесса. Они тоже в восторге от книг. Валентину Яковлевичу я pošлю все четыре книжки из Иркутска экспресс-почтой. Он пока еще в Питере на обследовании и подлечении.

Просьба: скажи, пожалуйста, в понедельник хозяину лавки в Литинституте, что пачку книг Кострова, которую вы по ошибке передали им, заберет внук Костровых.

Готовимся к вечерам. Осталось две недели. Вроде все готово, но многое будет на экспромте. Теперь весь успех зависит от наших авторов. Жаль, что не будет Валентина Григорьевича...

Привет Наташе!

Обнимаю. Ваш Г.С.

13 июля 2008

Дима привет!

Лето, действительно, как маленькая жизнь течет стремительно. Оглянешься, вчера только радовались первой травке, а уже покосы, отцветают последние луговые цветы — середина лета. И маленькая жизнь завтра покатится к своему увяданию. А я сижу на своем дачном чердачке, копаюсь в каких-то мелочах, хватаюсь и увлекаюсь чем-то не совсем важным и нужным, так что вот и маленькая жизнь проживается впустую. Только у моей Лены в огороде все так и прет, цветет и пахнет.

Сейчас занят сдачей в производство трех книг, готовим альбом Сережи Элояна к его 50-летию. Готовлю видеоотчет о прошедших вечерах, хочу успеть сделать и полиграфический отчет о вечерах прошлого и нынешнего года.

Занимаемся планированием вечеров 2009 года. Решено, что будет у нас в гостях село Михайловское (вместе с Курбатовым и Василевичем) и Валентин Непомнящий. Хочу, чтобы все-таки доехал до нас Юрий Кублановский. Правда, есть идея провести вечер двух поэтов. Хочу пригласить еще и Надежду Кондакову. Мы с ней давно знакомы.

А вот с прозаическим вечером вопрос пока открыт. Есть много и разных кандидатур (Екимов, Прилепин, Поляков, Маканин, Лихоносов), правда, они еще не знают о том, что они кандидатуры. Так что решил все окончательно решить и определиться в сентябре, когда приеду в Москву, буду в Ясной Поляне, встречу с Курбатовым и Распутиным. Из авторов давно ушедших и незаслуженно забытых скорее всего издадим Олега Куваева.

Кстати, в конце ноября в дни non/fiction задумали провести в ЦДЛ вечер-презентацию литературной серии «Этим летом в Иркутске». Все-таки уже шесть книг. Вечере примут участие все авторы (Курбатов, Кураев, Золотусский, Костров, Варламов). И конечно же Валентин Григорьевич.

Так что надеюсь, Дима, что увидимся в сентябре. А может, и до Ясной проедем на денек другой? Заодно и наши совместные дела обсудим.

Обнимаю. Привет Наташе с пожеланием безудержного урожая.

Твой Г.С.

13 августа

Дорогие Дима и Наташа!

А у нас неделю назад родился внучик! Нарекли Алешей. Так что мы теперь с Леной дед да бабка!

Поэтому, все теперь внимание ему и жизнь потекла как бы сначала.

Дел сейчас выше крыши. В производстве шесть книг. Наиболее важные из них: новый альбом Валентина Григорьевича «Земля у Байкала» и альбом к юбилею Сережи Элояна.

На выходе две книги новой серии «Библиотека семейного чтения»: сборник Вал. Распутина «Век живи — век люби» и сборник рассказов для детей и юношества В. Астафьева «Далекая и близкая сказка».

Кстати Дима, а не подумать ли нам с тобой о составлении для выпуска на будущий год двух книг в эту серию? Подумай, кто бы из авторов мог войти в эту серию. Как только книги выйдут в свет (конец сентября), я пришлю их тебе.

Приехать в Ясную я не смогу. Думал, что дела и обстоятельства как-то распределяются, но все собралось до кучи именно на эти дни и уехать нет никакой возможности. Тут и сроки поставки, и платежи, и т.п. Так что увидимся теперь уж наверняка в конце ноября на non/fiction.

Если получится как запланировали, то в эти же дни проведем в ЦДЛ вечер-презентацию серии из шести книг «Литературные вечера в Иркутске» со всеми ее авторами и участниками.

Привет Наташе и всему вашему милому семейству.

Обнимаю.

Твой Г.С.

13 августа

Димочка! Спасибо за поздравления!

Насчет твоей повести — ты совершенно прав. В той рукописи, действительно, не хватает стержневого текста, который бы и по объему был солиднее рассказов, и в структуре книги стал бы остовом. Насчет Валентина Яковлевича не беспокойся, когда все будет готово с нашей стороны и дело приблизится к издательской работе, он все сделает оперативно и, как всегда, гениально.

А вот насчет предложений для книг семейного чтения, я бы поискал авторов ближе к нам по времени, может быть, это были бы даже сборники.

Короче, думаем и обсуждаем все при встрече.

Обнимаю.

Твой Г.С.

16 ноября

Дима!

Буду в Москве с 25 ноября по 1 декабря. 23 ноября прилетаю в Москву. 24-го съезжу к отцу в Кострому. С 26 ноября начинается non/fiction в Доме художника. 28 ноября в большом зале ЦДЛ вечер-презентация книжной серии «Литературные вечера в Иркутске» с участием всех ее героев, включая тебя. Будут Распутин, Курбатов, Кураев, Золотусский, Варламов, Костров.

Поэтому, очень прошу тебя быть и представить книгу Казакова. А заодно пригласить всех ваших с Наташей друзей и знакомых, и обязательно Тамару Михайловну¹. А она, в свою очередь, пусть пригласит своих друзей и знакомых, друзей и знакомых Юрия Павловича. Так мы миром соберем зал единомышленников — зал одного дыхания.

Дима, очень тебя прошу быть в Москве в эти дни. Зазывай интеллигентный люд. Думаю, что начать представлять Казакова вам надо вместе с Лешей, а потом добавят и Распутин, и Курбатов, и Золотусский. Свяжись с Лешей.

Обнимаю.

Привет Наташе и всему семейству.

Твой Г.С.

¹ Тамара Михайловна Судник-Казакова — жена Юрия Павловича Казакова.

2009 год
1 февраля

Привет, Дима!

А я не знаю об этой книге Евгения Ивановича Носова. Это книга писем или переписки? И что там за мои письма? Я уж и не помню, писал ли я ему? Но, все равно приятно. А где можно добыть эту книгу?

Дела мои трудны, но, пока, не столь уж печальны. Не было бы хуже. Кризис невидимым прессом придавливает вполне ощутимо, и где он остановится, непонятно. Держусь пока. Лишь бы не раздавил в лепешку, хотя до этого осталось не так уж и много.

Сейчас заканчиваю свой давний и многолетний проект — эпистолярный дневник Астафьева. Книжища вырисовывается аж на 800 страниц в большом формате. Назад дороги нет — пока экономические обстоятельства не задавили окончательно, надо успеть ее выпустить к 1 мая — 85-летию Петровича. А во второй половине года придется залечь и ждать улучшения «погоды». Чувствую, что даже своих немногочисленных работников придется отправлять в отпуска. Не знаю, будут ли у нас нынче и «Литературные чтения». До середины февраля все должно определиться. Если будут, то тогда удастся выпустить книжицу В.Непомнящего и второе издание «Созвучия», а дальше, пока, — тишина.

Так что с тобой, Дима, книжкой придется пока подождать. Возьмемся за нее, когда дела наши наладятся. А пока можно ее окончательно сформировать в оглавлении, написать к ней предисловие, может, даже покумекать с оформлением. Главные же затраты в основном полиграфические. Вот на них и нет сейчас денег. Возможен вариант и кооперации. Мы делаем всю редакционно-издательскую работу, а найдутся где-то деньги — печатаем. Да вот только где сегодня найдешь меценатов и спонсоров?..

Не знаю пока, появлюсь ли в Москве весной. Все будет по обстоятельствам и средствам.

Обнимаю тебя, друг мой.

Обними от меня и все твое замечательное семейство.

Твой Г.С.

2 февраля

Дима!

Нет у меня такой книжки. Есть «Книга о мастере», выпущенная в 1998 году и подаренная мне Е.Спасской¹. Дима, не напомнишь ли ты мне ее адрес и телефон. Я постараюсь с ней связаться. Большая просьба, а не смог бы ты мне набрать и прислать письмо Петровича Евгению Ивановичу из этой книги. У меня его нет. А эпистолярный Астафьева я буквально днями заканчиваю. Пока я еще доберусь до самой книги о Носове, а «поезд» уже уйдет. Да и мое письмо было бы любопытно вспомнить. Ну, его, надеюсь, прочту уже в книге.

А почему ты мне не присылаешь свою повесть?

Обнимаю.

Приветы от нас с Леной Наташе.

Твой Г.С.

¹ Е.Спасская — литературный секретарь Е.И.Носова, составитель книг о нем.

3 февраля

Да, письма Сбитневу из «Москвы» я использовал. А вот письма Мишинева¹ у меня нет. Как его достать? Может, если у тебя есть возможность, ты бы его сканировал (чтобы не набирать самому) и переправил мне по электронке. И писем Потанину² у меня нет. Сообщи мне его курганский телефон. У меня остается недели две, чтобы еще успеть что-то добавить в книгу.

Сообщаю адрес и телефон Шолохова³ для Тамары Михайловны. Поклон ей от меня и пожелание доброго здоровья.

Обнимаю.

¹ В.Мишинева — вологодский писатель.

² В.Ф.Потанин — писатель, друг В.П.Астафьева, живет в Кургане.

³ Речь идет о внуке М.Шолохова, директоре музея в Вешенской.

26 марта

Димыч, привет!

Посылаю тебе полную верстку эпистолярного дневника Виктора Петровича. Четыре месяца, не поднимая головы, трудились и вот в нынешний понедельник отослали в типографию. Объем книги 800 страниц при большом нестандартном формате.

Работа над книгой заняла у меня 8 лет, со дня выхода «Креста бесконечного». Много сейчас о ней говорить не буду — прочти мое предисловие.

Одновременно с этой книгой выходит наиболее полный библиографический указатель. Он делается по заказу Красноярской библиотеки.

В середине мая совместно с Новой оперой выпускаем второе дополненное издание «Созвучия». Книга теперь будет уже с двумя CD, а также дополнена текстом Астафьева. «Созвучие» делается к Литературным вечерам «Этим летом в Иркутске», которые состоятся нынче с 21 по 25 июня. Два вечера будет посвящено 210-летию со дня рождения А.С.Пушкина (это вечер о Михайловском с участием Курбатова и Василевича и вечер Валентина Непомнящего). Третий вечер будет посвящен памяти Астафьева и Колобова. В ходе вечера будет полноценный концерт солистов Новой оперы.

21 апреля я прилетаю в Москву. 23 апреля решили все собраться на вручении Виктору Петровичу Солженицынской премии. В этот же день я и покажу уже готовую книгу «Нет мне ответа» и вручу ее Наталье Дмитриевне¹. Подарю, конечно, и тебе, но, посылая текст книги заранее, хотелось, чтобы ты, может, успел в Астафьевские юбилейные дни где-то сказать о ней.

Так что скоро увидимся! Из Москвы вместе с Курбатовым и Агнесой Федоровной улетим в Красноярск.

Обнимаю тебя! Привет Наташе!

Твой Г.С.

¹ Н.Д.Солженицына.

9 апреля

Дима, дорогой, здравствуй!

Завидую тебе и жалею тебя. Завидую от того, какие чувства ты сейчас испытываешь при чтении дневника¹. Мне их уже не пережить, так как жил с этим последние восемь лет. Надеюсь, что компенсацией станет выход в свет самой книги и мгновение прикосновения к ней. А жалею, что приходится напрягать зрение.

Книга называется: Виктор Астафьев «Нет мне ответа... (Эпистолярный дневник)». Эпиграфом к ней взяты заключительные слова Петровича из «Царь-рыбы»: «Все течет, все изменяется — свидетельствует седая мудрость. Так было. Так есть. Так будет. Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет мне ответа».

В книге будет пять вставок на меловке по 16 страниц (всего 80 стр.) с фото из семейного архива. Объем книги 800 стр. Большой формат.

21 апреля книга уже будет доставлена экспресс-почтой. Я 21-го с Леной прилетаю в Москву. Так что 22-го книга может быть у тебя в руках.

А в какое издание ты готовишь заметку?

Обнимаю тебя дорогой! Привет Наташе!

До скорой встречи!

Твой Г.С.

¹ Эпистолярный дневник Астафьева Г.Сапронов переслал Д.Шеварову в электронном виде незадолго до выхода книги.

10 апреля

Димыч, привет!

Посылаю обещанные фото для выбора.

Кстати, забыл тебе сказать, что с превеликим удовольствием прочитал твою повесть¹. Осталось, правда, ощущение недописанности (в хорошем смысле) от того, что хочется ее еще читать, а она уже кончилась. Такое впечатление, что ты намного

больше насыщен материалом, чем изложил в повествовании. Очень хороша прямая речь героев. Я бы на твоём месте кое-какие места ещё бы прописал, а то и добавил пару-тройку сюжетов. Уверен, они у тебя есть. Уж больно «вкусно» писано, хочется ещё читать и читать.

Обязательно в следующем году будем издавать. Только вот как эта повесть встанет с теми рассказами? А может, напишется что-то ещё?

Поздравляю тебя с повестью! Рад за тебя!

Обнимаю.

До скорой встречи!

Твой Г.С.

¹ Д.Шеваров. Петрофит. Повесть. — «Дружба народов» № 3, 2009.

12 апреля

Димочка, привет!

Спасибо за заметку. А рукопись дневника отложи, если ещё не дочитал, и не мучайся больше — через десять дней книга уже будет в Москве.

Давно так не волновался, ожидая книгу из печати. Не могу даже сформулировать для себя это чувство, одно понимаю, что сделанное, наверное, в определенном роде итог моих издательских дел. А может, рубеж. А может, начало какого-то продолжения. Не знаю.

Что-то действительность за окном мало внушает мне оптимизма. Теперь все во власти Всевышнего и резонансе читательской души. А может, и не будет никакого резонанса. Разве что в очередной раз выплеснется на меня раздражение родных Виктора Петровича, да недовольство, зависть и злорадство некоторых его собратьев по перу. На этом все и успокоится. Для любителей «изучать» жизнь через замочную скважину, сам понимаешь, в книге нет ничего интересного. Уж больно мало тут «материалу», чтоб посудачить в кулуарах. А читателей, страдающих душой, у нас все меньше и меньше. Ну, да ладно — будь что будет.

Что-то на нытье потянуло. Это, видимо, меня в уныние вводит еврейская пасха, что сегодня за окном. Хотя, обратно, Вербное воскресенье сегодня, Господь вошел в Иерусалим, а мы обязательно во что-нибудь вляпаемся.

Еще раз спасибо тебе, Димочка.

До скорой встречи. Привет от нас с Леной всему твоему семейству.

Твой Г.С

19 апреля

Дорогие Наташа и Дима!

Со Светлым Христовым Воскресеньем! Счастья вам, света и спокойствия душе, лада внутри себя, здоровья всему семейству. У нас день по-настоящему светел, солнышко блестит, воздух промыт и свеж. Готовимся в путь. До скорого обнимания в Москве. Троекратно целуем!

Лена и Гена.

7 мая

Дорогие мои!

Спасибо за добрые, сердечные слова, адресованные к Сереже Элюяну. Сейчас только вернулся с открытия его выставки, которая, к сожалению, не состоялась в прошлом году к его 50-летию, но вот все-таки — случилось! Письмо завтра же передам. Я уже в Иркутске, а Лена пока в Красноярске. Скоро приедет. По интернету просто обвал просьб о приобретении книги. С понедельника начинаем рассыл. В ЛГ пока не видел публикацию.

Дима, в Москве за книгой можно всех отправлять в книжную лавку Литинститута. Это будет самое удобное и дешевое место ее приобретения.

С Победой все ваше красивое семейство!

Обнимаю!

Ваш Г.С.

16 мая

Дима, дорогой!

Стоит вопрос о срочной допечатке тиража книги. Ты говорил, что нашел по тексту несколько «очепяток», очень тебя прошу, сообщи о них, мы внесем изменения в текст. Добавляю письма Кураеву, Золотусскому, Кострову, будут еще ряд дополнений.

А что с письмом В.Татарскому¹? Он будет делать об этом передачу на радио? Может, я сделаю об этой истории от составителя пояснение в тексте?

Очень много рассылаем книг почтой, так как обращаются люди от Владивостока до Калининграда. Если у тебя есть желающие приобрести книгу в других городах, сообщи их адреса, мы вышлем. А в Москве самая дешевая цена книги — в книжной лавке Литинститута. В московских же магазинах она под целую тыщу. И ничего мне, издателю, с этим книготорговым беспределом поделаться нельзя! Даже некоторые москвичи просят прислать почтой, это обойдется им дешевле, чем идти в магазин. Очень много просьб из твоего родного Екатеринбурга.

Обнимаю.

Твой Г.С.

¹ Речь идет о письме, написанном в 1980-е годы В.П.Астафьевым ведущему передачи «Встреча с песней» Виктору Витальевичу Татарскому. Письмо тогда не дошло по назначению, и Татарский узнал о нем лишь из книги «Нет мне ответа...»

17 мая

Димочка! Жду от тебя «очепятки». В начале июня засылаем допечатку тиража, поэтому сейчас срочно вношу правку и дополнения, которого будет с лихвой (письма Кураеву, Золотусскому, Кострову, Волокитину...), установлены многие адресаты. Давай нуждающимся книголюбам мой эл. адрес, будем высылать им книги.

Обнимаю.

Твой Г.С.

30 мая

Дима, дорогой, спасибо за ценную подсказку. Я обязательно найду эту беседу¹. Но, во-первых, книга в понедельник отсылается в типографию. Первого тиража уже нет. Отовсюду по-прежнему идут просьбы выслать книгу. А, во-вторых, как бы ни ценна была эта беседа, не стоит нарушать чистоту «жанра» книги. А то, конечно, можно было вместить в нее еще очень много из сказанного В.П. У самого в архиве много чего есть. Но, это, наверное, уже другая книга.

Обнимаю тебя. Поклон Наташе и детям.

Как планируете лето?

Весь июнь буду занят подготовкой Литературных вечеров. С 1 по 10 июля пойдем с Валентином Григорьевичем, Курбатовым, Элояном и с киногруппой Мирошниченко по Ангаре. Пройдем всю нашу многострадальную кормилицу до Енисея-батюшки. Оставшиеся летние деньки буду на даче (надо будет делать книгу Курбатова), может, на неделю вырвусь на Байкал. А вот в сентябре, скорее всего, увидимся — буду в Москве по пути к Курбатову на юбилей. Может, вместе рванем на пару деньков?

Еще раз обнимаю.

Твой Г.С.

¹ Речь идет о давнем интервью В.П.Астафьева.

3 июня

Все! Выхожу из леса¹. Консервирую свой таежный партизанский интернет-блиндаж. Но посты и пароли пока сохраняю.

Обнимаю.

Твой Г.С.

¹ Шуточное письмо, написанное после сообщений в прессе об угрозах в адрес Г.Сапронова, связанных с выходом эпистолярного дневника В.П.Астафьева.

4 июня

Дима, привет!

Согласен, конечно...¹ Но, что поделать, раз уж однажды дал согласие на выбор писем из книги и тем самым выпустил «джина» из бутылки, то теперь есть то, что есть.

И все-таки, по гамбургскому счету, дело не в сиюминутных интересах прессы, они лишь катализировали эту волну. Дело все же в нашем народе. Он и без газеты прочухал бы об этих письмах и излился наболевшей душой по этому поводу. Посмотри на форуме «Новой газеты» или на форуме «Нового региона» — как там люди словесно рубятся во всей русской красе.

А позицию «Новой» можно понять и так, а можно и по-другому. Думаю, что многие издания думают именно так, только им этого не позволено. А «Новой», в качестве паровыпускалки, это из-за кремлевской стены разрешено, вот и создается впечатление, что они по уши в конъюнктуре. Была бы иной идеологическая ситуация в стране, в эту дискуссию охотно включились бы многие издания (при этом тоже выбирая понравившиеся письма), и это был бы уже действительно общественный форум, а не ситуация, когда собака лает, а караван идет. Вон «Комсомолка» в прошедшую субботу запоздало анонсировала книгу лихо, в своем излюбленном бульварном формате, уже одним заголовком к публикации размазала Петровича «мордой об стол». Посмотри, ради интереса. А подборку писем, кстати, дали приличную.

Ну, ладно Дима, Бог с ними. Всем мил и сладок не будешь. Скоро вышлю тебе новое издание «Созвучия» и второе издание «Нет мне ответа...»

Радуйся лету! Торжества и радости вам в день бракосочетания дочери! Обними Наташу!

Представь себе будущую книгу, которую мы обязательно с тобой сделаем — и все будет хорошо!

Обнимаю тебя!

Всегда твой.

Г.С.

¹ Речь идет о многочисленных публикациях с взятыми из книги «Нет мне ответа...» письмами В.П.Астафьева.

10 июня

Спасибо, Дима!

Я весь в подготовке вечеров, ожидании приезда Курбатова и предчувствии поездки по Ангаре. «Созвучие» и второе издание Дневника вышлю после возвращения из экспедиции по Ангаре.

Обнимаю. Привет Наташе.

Твой Г.С.

Тофик Меликли

Назым Хикмет в Москве

(1951—1963 годы)

«Мне не остается ничего другого, как сделать своим оружием смерть, а себя самого — пулей. Я знаю, в бою это самое простое. Но это последнее средство протеста и сопротивления». Это строки из обращения к близким и друзьям «левого бунтаря» — турецкого поэта Назыма Хикмета. В 1950 году, после двенадцати лет заключения, тяжело больной Хикмет объявляет голодовку в тюрьме.

Голодовка вызвала невиданный отклик в турецком обществе. Тысячи людей, независимо от их политических убеждений объединились с единственной целью — потребовать освобождения поэта. Вскоре к движению присоединились крупнейшие деятели мировой культуры — Луи Арагон, Поль Элюар, Пабло Неруда, Бертольт Брехт, Фредерик Жюлио-Кюри, Пабло Пикассо, Жан-Поль Сартр, Жорж Амаду — многие международные организации, союзы писателей, партии и движения различных стран. Под влиянием мирового общественного мнения турецкое правительство вынуждено было объявить всеобщую амнистию и в июле 1950 года освободить Назыма Хикмета из тюрьмы. В августе того же года Всемирный совет мира (ВСМ) присудил ему Международную премию мира, а в ноябре избрал турецкого поэта членом президиума.

Хикмет хотел работать, писать стихи, воспитать Мемеда, единственного своего сына. Однако власти не оставляли его в покое. Слежка и давление на него продолжались. В 1951 году (Хикмету пятьдесят один) его призывают в армию, чтобы там расправиться с ним. Выбор был невелик: или смерть (понятно, что тяжело больной солдат не выдержал бы «службу» в армии), или бегство за рубеж.

В июне 1951 года Назым Хикмет решил покинуть страну. О его побеге из Турции написано много. Однако долгое время не были известны детали этого побега. Благодаря азербайджанскому ученому Джемилю Гасанлы были опубликованы архивные материалы, в том числе закрытые документы ЦК ВКП(б), проливающие свет и на побег Назыма из Турции, и на его жизнь в Советском Союзе.

В «Объяснительной записке», написанной в 1951 году после приезда в Москву, Хикмет подробно рассказывает о мотивах побега и о том, как он был осуществлен: «Вскоре после моего выхода из тюрьмы я получил телеграмму от Всемирного Совета Мира. Телеграмма была подписана его председателем Ф.Жюлио-Кюри, который приглашал меня на заседание Совета Мира в Англию... Спустя некоторое время я получил вторую телеграмму, в которой сообщалось, что Совет Мира состоится в Варшаве. Я знал, что не смогу поехать, так как турецкие власти не дадут мне паспорт... В турецких реакционных газетах началась кампания против меня. Газеты писали, что в Варшаве я был избран вторым вице-председателем Международного Совета Мира, что я платный агент русских, что русские опубликовали все мои произведения... Я, с согласия товарищей (по партии. — Т.М.), решил обратиться с просьбой о выдаче паспорта. Были выполнены все формальности. Прошло несколько дней, и меня вызвали в военкомат, где заявили, что я должен служить в армии. Я объяснил, что по состоянию здоровья освобожден от военной службы, что документы (о состоянии здоровья. — Т.М.) находятся в больнице. Я был подвергнут домашнему аресту. Из военкомата сообщили, что, если найдут документы, мне выдадут паспорт... Учитывая, что я нахожусь под домашним арестом, партия решила, что мне необходимо

нелегально выехать из Турции. Для того чтобы организовать мой побег, нужны были деньги. При посредничестве Сабихи Сертель я попросил Всемирный Совет Мира выдать ей половину денег, причитающихся мне как лауреату Международной премии мира, а вторую половину денег перевести в Швейцарский банк. Была возможность выйти через Босфор в Черное море и добраться до одной из стран народной демократии... Мы купили очень дорогую спортивную моторную лодку. 17 июня 1951 года я решил бежать. Часто меняя такси, я добрался до Босфора. Мой шурин (Рефик Эрдуран. — *Т.М.*) прибыл на моторной лодке в безлюдное место. Море было спокойным. Выйдя из Босфора (в Черное море. — *Т.М.*) мы встретили пароход «Плеханов», и тогда я решил вместо того, чтобы плыть в Болгарию, остановить пароход в море, назвать свое имя и, если меня согласятся взять на пароход, попасть в Румынию. Я громко называл свое имя морякам, которые были на борту. Некоторые из моряков, зная мое имя, сказали капитану, кто я. Он телеграфировал в Констанцу, оттуда в Бухарест, спустя приблизительно полтора часа меня взяли на пароход, а мой шурин вернулся. На пароходе не было пассажиров, так как он был товарный. 18 июня я прибыл в Констанцу. Пришли работники госбезопасности, которые повели меня в одно из зданий в порту, где они меня допросили. Через некоторое время пришел товарищ из партии и повел меня в обком. 19 июня приехал в Бухарест. Для того чтобы решить свои вопросы, я хотел поехать в Москву».

Председатель Союза писателей СССР Александр Фадеев обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой разрешить Союзу писателей пригласить Назыма Хикмета в СССР. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло положительное решение по письму Фадеева. Все вопросы по приему Хикмета были возложены на Союз писателей, Моссовету было поручено в течение 15 дней обеспечить его трех-четырёхкомнатной квартирой, а лечебным учреждениям Кремля — заняться его медицинским обслуживанием.

29 июня 1951 года Назым Хикмет прибыл в Москву. Как окажется — чтобы провести в этом городе остаток своей жизни. В аэропорту его очень тепло встретили Николай Тихонов, Константин Симонов и другие писатели. Примечательная деталь: в тот же день заместитель председателя внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) Борис Пономарев во всех подробностях информировал Сталина о церемонии встречи турецкого поэта.

Как отмечает Дж. Гасанлы, «советское руководство очень хотело использовать Н.Хикмета против Турции, особенно же против ближневосточной политики США, но в то же время опасалось его». На то были свои причины. Хикмет был человеком с убеждениями, искренне верил в социалистические идеалы и всегда ставил их выше политических игр, резко реагировал, когда политические и партийные лидеры отходили от этих идеалов и принципов. По этой причине его исключали из Коммунистической партии Турции и вновь восстанавливали — партия нуждалась в такой фигуре.

В Москве Хикмет почувствовал и радость, и разочарование. Ему было приятно вернуться в город своей молодости, где происходило его становление как художника и гражданина, где остались много друзей и товарищей, с которыми он создавал «новое искусство». И, наконец, он приехал в страну, где, как ему казалось, «социалистические идеалы становятся реальностью». Живя в Москве, он никогда не считал себя иностранцем. Высказывался по всем важным социально-политическим вопросам, защищал молодых талантливых поэтов и художников, боролся с партийно-бюрократической системой. Прав Евгений Евтушенко, когда пишет, что «такие люди, как Назым, не бывают иностранцами ни в какой стране. Их сердце становится всемирным паспортом». И, конечно, такой человек не мог остаться безучастным к тому, что происходило в Советском Союзе. За 12 лет жизни в Москве Назым Хикмет трижды испытал политический, духовный и нравственный кризис.

Это были годы сталинского культа, всеобщей подозрительности, страха говорить правду, репрессий. Великий режиссер Всеволод Мейерхольд, которого он боготворил, многие писатели, художники уничтожены или репрессированы, Николай Эрк — режиссер известного фильма «Путевка в жизнь», друг Хикмета, лишен возможности работать и, по существу, бомжует. Все это не могло не вызвать чувства глубокого разочарования.

Вскоре после приезда в Москву состоялась встреча Назыма Хикмета с теат-

ральными деятелями Москвы. В своем выступлении Хикмет сказал буквально следующее: «Братья! Когда я сидел в одиночке, я выжил, может быть, только потому, что мне снились московские театры. Мне снились Мейерхольд, Маяковский... Это была сама революция улиц, перешедшая в революцию сцены. И что же я увидел теперь в московских театрах? Я увидел мелкобуржуазное, безвкусное искусство, почему-то именуемое себя реализмом, да еще и социалистическим. А кроме того, я увидел столько подхалимства и на сцене, и вокруг нее... Разве подхалимство может быть революционным? На днях я должен встретиться с товарищем Сталиным, которого глубоко уважаю. Но я, как коммунист коммунисту, скажу ему прямо, что он должен распорядиться, чтобы убрали его бесчисленные портреты и статуи — это так вульгарно...»

Конечно, после подобных высказываний состояться встреча со Сталиным не могла.

В беседах с коллегами Назым называл Мейерхольда самым крупным режиссером XX века. Известный советский артист Аркадий Райкин отмечал: «Через всю жизнь он пронес любовь к Мейерхольду. И выступая на наших худсоветах, не раз вспоминал сатирические спектакли Всеволода Эмильевича. В то время мало кто позволял себе говорить о Мейерхольде так открыто и свободно, как Хикмет».

В 1955 году Генеральная прокуратура СССР приступила к рассмотрению вопроса о реабилитации Мейерхольда. Родственники и близкие великого режиссера обратились к деятелям культуры с просьбой написать свое мнение о нем. Назым Хикмет тут же откликнулся на эту просьбу. «Не только история русского театра двадцатого века, не только история советского театра, но и история мирового театра немыслима без Мейерхольда, — писал он. — То новое, что этот великий мастер внес в театральное искусство... несмотря на невероятные преграды, живет и теперь в советском театре, в прогрессивном театре мира и будет жить».

Хикмет неоднократно просит организовать встречу с Николаем Эчком, высказывается о современных литературных и художественных течениях, которые были отвергнуты и заклеены советской критикой, так что неудивительно, что с первых же дней по приезду в Москву он оказывается в поле пристального внимания сотрудников госбезопасности. Обо всем, конечно, тут же доносили в ЦК. Каждый его шаг, каждое его слово фиксировались и докладывались высшему руководству страны.

Буквально две недели спустя после приезда Хикмета в Москву, заведующий первой (секретной) частью Особого отдела ЦК ВКП(б) А.Стручков направляет А.Н.Поскребышеву секретную записку, «разоблачающую» турецкого поэта. В ней отмечалось, что Назым Хикмет «принадлежит к самой высшей аристократии Турции и там воспитывался», что его дед Ферид Энвер-паша — генерал, его дядя Али Фуадпаша был послом Турции в Москве, его отец Хикмет бей был редактором американофильской газеты «Новый Восток», что турецкая делегация на IV Конгрессе Коминтерна официально требовала исключить его из Университета трудящихся востока, что еще в 1935 году его обвиняли в ренегатстве и т.д и т.п.

В 1951 году, сразу после приезда в СССР, Назым Хикмет участвовал в фестивале молодежи в Берлине. Во время этой поездки его всюду сопровождал секретный агент Ф.Адилов, который 27 августа представил председателю внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) В.Г.Григорьяну подробный отчет о деятельности Хикмета в Берлине. Ф.Адилов писал, что на фестиваль приехали девять турок, с которыми Хикмет часто встречался и беседовал («если я подходил во время его беседы с Хромым или девушкой Севим, он сразу же менял тему своего разговора, и чувствовалось, что речь его не вяжется и они ожидают моего ухода»), что он встречался с руководителями сирийской, израильской и французской делегаций, что он говорил с участниками фестиваля только по-французски...

В сентябре-октябре Хикмет посетил Болгарию, он встречался с турецким населением страны, местной интеллигенцией и руководителями страны. Ф.Адилов сопровождал Назыма и в этой поездке.

В августе 1951 года по указанию советского руководства были подняты архивы Коминтерна, Министерства госбезопасности и собраны материалы, на основании которых В.Григорьян составил обширную «Информационную записку о Н.Хикмете в

1925—1939 годах». Она была направлена Сталину. В справке отмечалось, что Хикмет был враждебно настроен против Ферди — генерального секретаря компартии Турции, в 1926 году на партконференции в Вене был избран в ЦК, но никогда не находился на оргработе в партии, в 1933 году вместе с единомышленниками он хотел организовать новую компартию, защищал кемалистов и «в 30-е годы он, Ведат Недим, Ахмед Джавад, Вала Нуреддин, Шевкет открыто перешли на их сторону».

На основании донесений Ф.Адилова, составленной МГБ справки на Назыма Хикмета и других материалов В.Григорьян 15 января 1952 года информировал Сталина о неправильном поведении турецкого поэта в Советском Союзе, Берлине и Болгарии.

Советская творческая интеллигенция и читатели с уважением и любовью относились к Назыму Хикмету. Его книги расходились большими тиражами, он стал заметной фигурой в культурной жизни страны. Одновременно он сталкивался с доведенным до абсурда культом Сталина и всеобщего страха в обществе. И никак не мог понять, почему в стране, провозгласившей высокие идеалы, отсутствует свобода мысли и слова, стали нормой преследование и доноительство? Почему все проблемы общества решает всемогущий административный аппарат? Почему полностью исчезли удивительная творческая атмосфера и многоголосие, свойственные культурной жизни начала 20-х годов? Все это приводило его в отчаяние. Ведь не за это же он боролся всю свою сознательную жизнь и не за это 15 лет сидел в тюрьмах...

А тут еще тоска по родине, Стамбулу, по сыну Мемеду, который «взрослеет на фотографиях».

В груди — словно горечь ветки, с которой
сорвали плод,
в глазах — дорога, ведущая вниз, к Золотому Рогу.
Два клинка прямо в сердце мое вонзены —
тоска по дому и по Стамбулу родному.
Где силы найти — вытерпеть эту разлуку? (4,146)
(Перевод С.Северцева)

В 1953 году у Хикмета случился инфаркт миокарда. Врачи долго и упорно боролись за его жизнь. По словам одного из его лечащих врачей — Галины Григорьевны Колесниковой, «учитывая тогдашний уровень медицины, выздоровление Назыма было чудом». Он долгое время находился в реабилитационном центре в Барвихе. Врачи наотрез запретили ему курить, пить спиртное, волноваться, рекомендовали вести спокойный образ жизни. В ответ на это Назым 21 апреля 1953 года в Барвихе пишет стихотворение, адресованное одному из врачей, лечивших его, — «Разговор с Лидией Ивановной»:

Лидия Ивановна, мой умный друг,
надо выполнять ваши приказы, знаю,
иначе, как сказали вы,
если я отоьюсь от рук,
сердце лопнет, как граната ручная.
Понимаю. Все это так.
Но вы говорили, помнится,
что радость и гнев
вредней для меня, чем табак,
вредней, чем бессонница...
Но как не гневаться, когда вспоминаю,
как бьется моя родная земля,
от жажды и голода изнывая?
Могу ли, мой кареглазый доктор,
могу ли не тосковать,
как подумаю, что, может быть, не увижу Мемеда,
не увижу его терпеливую мать?

Короче говоря, не сердитесь, мой друг.
 если сведу на нет
 ваш милосердный труд.
 Лидия Ивановна! Не надо угроз,
 все равно обещать я вам не могу,
 что буду жить,
 как важный, равнодушный утес
 на морском берегу.
 Оставьте, доктор.
 Ведь это — сердце.
 Слышите, как оно бьется?
 И если от гнева или от радости
 разорвется —
 пусть разорвется.

(Перевод М.Павловой)

После смерти Сталина у Назыма Хикмета появилась надежда, что страна освободится от наследия тоталитарного режима и демократические принципы вновь восторжествуют. Он решает своим писательским трудом ускорить этот процесс и пишет поэму «А был ли Иван Иванович?». Ее герой — Петров, хороший рабочий парень, слесарь на заводе, в один прекрасный день становится начальником. Вначале ведет себя очень скромно, со всеми поддерживает хорошие отношения. Но со временем в нем просыпается второе «я», запрятанное глубоко в его сознании. Это второе «я» и есть тот самый Иван Иванович, который пробудил в нем тщеславие, любовь к лести, пренебрежительное отношение к окружающим. В учреждении «по требованию народа» появляются его огромные портреты, двойная дверь, обитая кожей и войлоком, чтобы «ни один звук не проникал из приемной в кабинет». Отныне Петров обедает в специально отведенном месте, плавает в «персональном бассейне», делает странные заявления, вроде «нельзя допускать в балете субъективизма и индивидуализма», и все эти его высказывания записываются и пропагандируются. Иван Ивановичу удается убедить Петрова в том, что его горячо любит весь город, что благодаря его «мудрой политике развивается, процветает и благоденствует область». Однажды его вызывает к себе вышестоящий руководитель, и Петров узнает в нем самого себя.

Завершив работу, Хикмет отдает один экземпляр рукописи Константину Симонову, тогдашнему главному редактору журнала «Новый мир», а другой — Валентину Плучеку, главному режиссеру московского Театра сатиры.

Константин Симонов, будучи хорошо знаком с нравами советской номенклатуры, предостерегал Назыма: «Мне кажется, что было бы очень хорошо сказать здесь в какой-то форме о том другом мире, мире капитализма, где язва этого второго «я» такого «Иван Ивановича» — язва закономерная, даже подразумевающаяся. Хорошо бы найти форму для того, чтобы сказать об особенной обидности и появления, и разрастания этих душевных лишаев в условиях социалистического общества, причем мне бы лично казалось очень важным сказать, что эти пережитки старого общества — а в своем корне, в своей основе это все-таки пережитки старого общества — подобно любым, самым вредоносным микробам стремятся приспособиться к новой, неизвестной для них окружающей среде, при этом деформируясь, изменяясь, обрстая новой мимикрией, выступая в новом обличье, но в сущности, в корне своем оставаясь все же микробами старого мира. Может быть, я выражаюсь дубово и упрощенно, но сущность этого вопроса мне кажется принципиально важной. Если у тебя ляжет к этому душа, я бы просил тебя над этим подумать».

Симонов просил подумать и над тем местом, где в пьесе вступает голос автора: «То, о чем ты говоришь там, страшно важно, но об этом, по-моему, либо не говорить, либо если говорить, то как-то веселее, сильнее. У тебя есть внутреннее право сказать об этом сильнее, глубже — и о мотивах пьесы, и о своей любви к Петрову, и о своей ненависти Ивану Ивановичу».

Хикмет внес в пьесу незначительные изменения, и она была опубликована в 1956 году в 4-м номере журнала «Новый мир».

Пьеса вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Уже через месяц, 11 июня 1956 года, состоялось ее обсуждение в Институте философии АН СССР. По словам секретаря партбюро института Н.П.Васильева, написавшего после обсуждения рапорт в ЦК КПСС, Назым Хикмет высказал критические замечания о некоторых явлениях в общественной жизни страны, например, о разгуле партийно-бюрократической системы, о фактах чрезмерного неравенства. «Он говорил о том, как в Сочи видят санаторий, поделенный забором — по одну сторону в лучших условиях отдыхают «хозяева» — партийная бюрократия, чиновники, по другой — «простой народ»... Н.Хикмет говорил об употреблении слов «хозяин» в отношении руководящих товарищей и «простой народ» в отношении массы трудящихся, как о последствии культа личности. Он говорил также о том, что у некоторых высокооплачиваемых советских работников появились дурные нравы и вкусы».

В июле 1956 года сотрудники отдела культуры ЦК КПСС Б.Рюриков и В.Иванов подготовили справку о деятельности Хикмета, в которой отмечалось, что самой большой ошибкой пьесы «А был ли Иван Иванович?» является то, что «культ личности изображался здесь в известной степени как порождение общественного строя стран социалистического лагеря». «Хрущевская оттепель» уберегла Хикмета от репрессивных мер, но отношение властей к нему резко изменилось к худшему.

Предвидя возможные претензии со стороны критики, прессы и «общественности», Назым устами Иван Ивановича озвучил их в пьесе. И ввел «голос автора», отвечающий оппонентам, которым и предстоит решать судьбу пьесы и спектакля.

«Иван Иванович. Эй, Назым Хикмет! Где вы там? Я знаю, Советский Союз — ваша вторая родина, вы любите советских людей, уважаете их, вы старый партиец — все это мы знаем. Но неужели ваша первая пьеса на советскую тему непременно должна быть сатирой? Титанический советский человек — это разве Петров или я? Зачем вы подрываете авторитет Петрова? И чего вы именно за нас взялись? Нам и так забот хватает. Оставьте нас в покое. Да, кроме того, неудобно как-то получается — как бы то ни было, вы здесь почти гость. Нехорошо злоупотреблять гостеприимством советских людей. Конечно, не принято гостей одергивать, но все это до поры до времени. Я хочу сказать: оставьте-ка эту пьесу, так будет лучше и для вас, и для нас, и для театра, где ее будут играть, если, конечно, такой найдется! Ну, а если уж обязательно хотите писать об этом, сделайте хоть хороший конец.

Голос автора. Зря стараетесь, Иван Иванович. Советский Союз действительно моя вторая родина, и я очень люблю советских людей. Поэтому-то я должен поступать, как поступает здесь каждый честный человек. Но, если я даже только гость в Советском Союзе, в этом самом прекрасном доме на земле, — все равно: раз я вижу, что в этом доме ползет змея, мой долг — раздавить ее (курсив наш. — Т.М.). Именно потому что я ненавижу вас, Иван Иванович, и верю, что Петров найдет в себе силы избавиться от вас, я допишу эту пьесу. А конец будет не такой, как вам хочется...»

Хикмет прекрасно понимал, что, если пьесу поставят, неприятностей не избежать. Но Валентин Николаевич Плучек и актеры Театра сатиры, получив пьесу, начали увлеченно работать над спектаклем.

11 мая 1957 года в Театре сатиры состоялась премьера спектакля «А был ли Иван Иванович?». Успех был ошеломляющим. Вспоминая об этом, Валентин Плучек писал: «На Бронной стоит кордон конной милиции. Обычно мы говорим о ней в переносном смысле, а тут действительно был единственно возможный способ поддержки порядка «на подступах» к театру. Был успех. Как говорят в таких случаях, зрители на люстрах висели. Во время спектакля случалось, что зал аплодировал по пять минут подряд и действие прерывалось...»

Несмотря на успех, после пяти премьерных показов спектакль был по указанию министра культуры СССР Екатерины Фурцевой запрещен. Плучека вызвали «на ковер» к министру культуры, а директора театра А.Глекова — в ЦК партии. После визита в ЦК А.Глеков уволился из театра.

Вся история с запретом спектакля стала достоянием общественности только в

1994 году, когда «Литературная газета» опубликовала закрытые материалы из архива ЦК КПСС.

Во время премьеры пьесы Назым Хикмет находился в Варшаве. Узнав, что спектакль запрещен, по словам Галины Колесниковой, он пытался покончить жизнь самоубийством, приняв снотворное.

«Хрущевскую оттепель» Назым Хикмет встретил с энтузиазмом. Большие надежды возлагал на XX съезд партии. В архиве Г. Колесниковой мы обнаружили его письмо, адресованное Н.С. Хрущеву с просьбой дать ему приглашение на съезд. Приводим его, сохранив его стилистику и орфографию:

«Уважаемый товарищ Хрущев! Я вступил в Коммунистическую партию Турции в 1924 году.

В Турции — моей Родине я был приговорен к 56 годам тюремного заключения, из них 17 лет сидел.

Я писатель. На Родине напечатано 15 моих книг. Мои произведения переведены на разные языки. В Советском Союзе и разных странах играют мои пьесы.

В настоящем я являюсь членом Бюро Всемирного Совета Мира. Я просил, чтобы мне дали пригласительный билет для присутствия на заседании XX съезда хотя бы на один день.

Как член Всемирного Совета Мира и как турецкий писатель, коммунист, я считаю своим долгом написать впечатления о съезде, но это мне не разрешили.

Я считаю, что товарищи, не дав мне пригласительного билета, хотя бы на один день, поступили неправильно.

Прошу Вас принять во внимание мою просьбу.

С товарищеским приветом,

Назым Хикмет».

Хикмет не был приглашен на XX съезд. Но, несмотря на это, живо откликнулся на разоблачение культа личности Сталина. Обращаясь к коммунистам, он писал: «будь ты секретарь ЦК или рядовой, будь у власти или в тюрьме закован» — ты должен жить по Ленину. В его образе Назым видел честного, принципиального коммуниста, отстаивающего высокие идеалы социализма.

На XX съезд пришел товарищ Ленин,
улыбнулся, постоял немного у дверей,
до начала в зал вошел, уселся на ступени
у трибуны, положил тетрадку на колени:
даже не заметил статуи своей...

На XX съезд пришел товарищ Ленин.
Над страной в небе предвесеннем
собрались благодатные надежды,
словно белые густые облака.

(Перевод М. Павловой)

Вскоре «благодатные надежды» рассеялись как облака. Снова была разрушена мечта о справедливом, прекрасном мире, снова разочарование и сомнение мучают поэта, который «увлечся больше не в силах ложью, даже самой красивой». Эти переживания находят выражение в стихотворении «Полночь. Последний автобус», написанном в 1957 году:

Полночь. Последний автобус.
Кондуктор выдал билет.
Меня дома не ждет
ни черная весть, ни званный обед.
Меня ждет разлука.

Я иду разлуке навстречу
без страха и без печали.
Великая тьма подошла и встала со мной рядом.
Меня теперь не обескуражит
предательство друга —
нож, который он в спину всадит,
мне пожимая руку.
И не в силах меня спровоцировать враг.
Я прорубался сквозь заросли идолов.
Как легко они падали наземь!
Все, во что я когда-то верил,
я снова проверил на зуб...
И теперь — как ни жалко это, —
я увлечусь больше не в силах
ложью, даже самой красивой.
И не пьянят меня больше слова,
ни мои слова, ни чужие.

(Перевод Р.Фиша)

Прав Евгений Евтушенко, когда пишет, что «трагедия коммунистов-идеалистов состояла в том, что когда их идея материализовалась в сталинском варианте, то она оказалась кровавой карикатурой мечты. Мечта была изнасилована циниками. Коммунизм стал убийцей коммунизма».

Начиная с 1957 года меняется характер лирики Назыма Хикмета, она становится более приземленной. Радикально меняются и стилистика, звучание, тональность его произведений.

Усиливаются мотивы разлуки, смерти, одиночества, еще более жгучей становится тоска по Родине, по сыну, по Стамбулу:

Родина, родина,
не осталось на мне даже шапки работы твоей,
ни ботинок,
носивших дороги твои.
Твой последний пиджак из бурсской материи
износился давно на спине...
Ты теперь у меня
только в этих морщинах на лбу,
в свежем шраме на сердце.
Родина, родина.

(Перевод М.Павловой)

В эти годы Хикмет «пьет по глотку тоску», размышляет об одиночестве, которое «раньше себя присылает смерть», о «самой трудной работе — привыкании к старости, к стуку в дверь в последний раз, к беспрерывному расставанию», о «листопаде своего поколения» и собственных похоронах...

В конце 50-х в творчестве Хикмета на первый план выходит любовная лирика. Все эти годы он тоскует по любимой женщине — Мюневвер ханым:

Тебя в лицо не видал я сто лет
сто лет — не вел с тобой бесед,
сто лет — не встречал с тобой рассвет,
сто лет — тебя рядом нет.
Сто лет не впивал теплоту твою.
Сто лет меня женщина ждет,
сто лет — в далеком краю;
на ветке одной мы были как два плода,
с ветки упали — если встретимся, то когда?

Сто лет, как разлука назначена нам судьбой,
 уходят года —
 сто лет в мерцающей тьме бегу за тобой.

(Перевод Е.Витковского)

В это время Назым влюбляется в молодую, красивую женщину — Веру Тулякову. В результате появляются замечательные стихи, посвященные женщине «с волосами цвета соломы». Лирический герой его становится более искренним, более человечным и — одновременно — более сложным и глубоким.

Если раньше поэт обращался к широким массам, возвещал грядущее, прекрасные дни, завоеванные в боях, то сейчас ведет тихую, доверительную беседу о нескончаемых, будничных земных делах, его стихи насыщены глубоко личным восприятием жизни. Новое качество поэзии Назыма Хикмета особенно отчетливо прослеживается в поэме «Солома волос».

Хикмет был убежден: лишь идя по непроторенной дороге, где нередки не только находки и открытия, но и неудачи, можно двигаться вперед: «Мы признаем право экспериментировать за математиками, атомщиками, врачами... почему же не оставить этого права за художниками? В поэзии, как в любых других областях, эксперимент не всегда сразу дает прямой результат, но он готовит почву для будущих открытий». Итог своих поисков поэт подвел в мае 1963 года, за несколько дней до смерти: «Я хочу вместить содержание в такую форму, чтобы она подчеркивала содержание, но сама была бы не видна, как тонкий дамский чулок «паутинка», которая придает красивой женской ноге еще больше красоты, хотя сам и остается незамеченным... Это то, что я предпочитаю сегодня. Но завтра, конечно, я могу предпочесть «яркие» формы».

В одном из своих последних стихов Назым Хикмет писал:

Хочу быть словом, чтобы звать
 к справедливости, правде, красоте.
 Хочу быть словом, чтобы сказать
 о любви слово любви.

«Роль, которую сыграл Назым в истории, была ему предназначена. И он сыграл эту роль гениально», — написал о нем Евгений Евтушенко.

Умер Назым Хикмет 3 июня 1963 года в Москве, в городе своей юности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Джамиль Гасанлы. Хрущевская «оттепель» и национальный вопрос в Азербайджане (1954—1959). М.: Изд-во «Филинта», 2009.
2. Евгений Евтушенко. Гениальная роль в бездарной пьесе. — «Общая газета», 18.05.1998.
3. Т.Д.Меликов. Назым Хикмет и новая поэзия Турции. — М.: Изд-во «Наука», 1987.
4. Назым Хикмет. Чинара в Стамбуле. — М.: РИК Русанова. 2003.
5. Назым Хикмет. Избранные сочинения. Том 1. — М.: Изд-во «Художественная литература», 1957.
6. «Новый мир», 1985, № 11.
7. Аркадий Райкин. Воспоминания. — СПб-М., 1993.
8. В.Плучек. ...В сражениях изувечен. — «Театр», 1988, № 5.
9. А.К.Сверчевская. Известный и неизвестный Назым Хикмет. — М.: Изд-во ИВ РАН, 2001.
10. А.Февральский. Записки ровесника века. — М., 1976.
11. Радий Фиш. Служение истине несовместимо со служением власти. — «Вопросы литературы». 2000, № 2.
12. Nazim Hikmet. Kemal Tahir'e mektuplar. Ankara, 1968.

Объятие свободы

Рубрику ведет Лев Аннинский

Где раскинул он шатер?
Где царят его мечты?
Депрессивное проклятье
Спит в объятьях темноты.

Андрей Заботкин

Уточнить в этом четверостишии мне хочется только слово: «шатер». Не в шатре произрос *он*, то есть лирический герой Андрея Заботкина. Не на Востоке, не на Юге царят его мечты (если брать земшарные координаты), а царят они на Западе, и даже на Северо-Западе (если иметь в виду Европу). Конечно, для души, парящей в пространстве, земная прописка не так уж важна, но в данном случае она имеет значение. Дело в том, что родился поэт в пограничном (во всех смыслах) городе Калининграде. Окончил университет имени Иммануила Канта (добавив толику немецкого духа к русской основе).

Основа же тут изначально ощущается как подвижная (отец — морской инженер, город стоит на берегу Мирового океана). Дух Британии, Царицы Морей, впитан с молоком матери (мать — профессор английской филологии). Так что инженерно-системный каркас самосознания вмещает, кроме русского и немецкого начал, еще и начало британское, причем до такой степени, что английский язык в качестве родного становится рядом с русским: стихи Заботкин пишет большею частью по-английски.

Естественно, что при таких данных профессионализируется он как переводчик, всю свою недолгую жизнь проводит в Западной Европе и гибнет в 2005 году двадцати семи лет от роду в Париже.

В лермонтовском возрасте? Это обстоятельство наталкивает на аналогии, не лишённые загадочности (гибель Лермонтова хоть и описана детально, но тоже не лишена загадочного оттенка, символизированного спрятавшимся в камнях казаком). Но не будем строить далеких аналогий, вернемся к близнему факту: сборник Андрея Заботкина, выпущенный в 2009 году в Москве, построен по билингвистической модели. Слева — английские оригиналы, справа — русские переводы.

Кто переводчик? Все ж ткань стиха, его чисто метрическая выделанность, уровень словесного мастерства — зависят и от переводчика, имя которого должно красоваться где-то на видном месте... Так нету! После долгих поисков я обнаружил имя переводчицы С.Лихачевой — знаете где? Ниже выходных данных, мелким шрифтом, в строчке, удостоверяющей авторские права.

Но не буду придираюсь. Все-таки из сорока пяти стихотворений три (финальные) написаны Заботкиным по-русски, так что есть возможность оценить у поэта его собственный постав руки:

Где бы ты меня ни вспоминала
Моя дорогая, я ветер
Солнцем согретый, землей охлажденный
Моя дорогая, я ветер
Где я ни буду, и с кем я ни лягу
Моя дорогая, я ветер

И что ни увижу, о чем ни припомню
 Моя дорогая, я ветер
 Протри свой висок проспиртованной ватой
 Моя дорогая, я ветер
 Пей ли кагор, пробивай ли мне руки
 Моя дорогая, я ветер
 Так выйди сегодня под ясной луною
 Ты все же почуешь — я ветер

Спирт на вате и кагор в бокале, а также романтический ветер и пробитые руки (навеянные, не исключено, евангельской легендой) побережем для анализа фактуры жизненной. А вот фактура стиховая: отсутствие строгой просодии (столь важной для русской традиции), отсутствие знаков препинания (столь нам привычных) и вообще прихотливое течение ассоциаций, которое держится повтором ключевой строки, — все это так похоже на свободную западную манеру, хорошо знакомую университетским филологам, что в книжке Заботкина воспринимается как еще один перевод с английского оригинала, но сделанный самим автором.

Посему оставим открытым вопрос о его поэтической «поступи», а также о «месте», которое он достоин занять в строю русской лирики.

Что же важно помимо этого?

Важно — умонастроение лирического героя. В данном случае это самое интересное. Важен психологический склад, выработавшийся у человека, который нашел себя на краю «Русской Европы», в точке пересечения национальных трасс, и жизнь прожил на ветру, дувшем с Запада.

Перед нами замечательный пример приспособления (преображения) русской души, впитывающей правила западной культуры. Можно сказать, чистый опыт, ничем не замутненный. Свободный выбор на вольном ветру...

На вольном??

Люди, знакомые с русской философской традицией, знают, сколь принципиально различаются в нашем менталитете эти два начала: «свобода» (западный принцип: моя свобода кончается там, где начинается твоя свобода) и «воля» (до этой черты — мое, а за этой чертой — мое же; принцип, проверенный русскими бунтами за тысячелетие истории и русским гуляньем от края до края, от моря до моря).

В поэтическом арсенале Заботкина «воля» незаметна. Разве что в строке «пил бы волю». Зато «свобода» поминается на каждом шагу.

«Незнакомые дети непостижной свободы» (следом сказано, что они увешаны «бриллиантами скуки»). «Гимны свободы» звучат «в проеме окна» (в том же проеме — «бутыл сортового портвейна»). «Мы вновь обретем свободу» (а перед этим — «шагнем в пустоту»).

«Поверь в свободу, сдайся покорно тому, что видишь, и будь собою...» — как стать собою, если свобода и покорность неразделимы?

«Общности нашей миги тают — лови не лови... Где же наши свободы? В неизменной любви». То есть: люби — не люби, а тают.

Хрестоматийные рывки из этой магической петли: или вниз или ввысь.

Низ у русской души известен какой: это зрак раба, коего наш общий учитель Чехов советовал выдавливать из себя по капле.

Оставим чеховедам интересный вопрос о том, способен ли русский человек что-либо делать по капле (а не наотмашь), и посмотримся в то, как исполняет чеховский завет лирической герой Заботкина, выросший на берегу Балтики в стенах, помнящих Канта:

Держусь за каждую каплю
 Рабство впиталось в плоть
 Врастаю корнями в землю
 Натиск стихий побороть...

Вслушаемся внимательно: натиск стихий — это беда.

...Вижу мученики идеи
Терпят, томясь и скорбя
Эгоцентричность единства
Славы и веры в себя.

Ловим лейтмотивы: преодолев стихию, мученики идеи не могут преодолеть эгоцентричность той веры в себя и той жажды славы, которая в поле свободы начинает отдавать тщеславием.

Главная беда — «игра без правил». Если игра идет по правилам, то «пути бытия» можно «замерить». По капле. По договору. По закону. А если закон не писан? Если все покрыто безмерной, то есть безразмерной общей благодатью? Если не соединить небо с землей какой-нибудь здоровой лестницей, то все рациональные ступени бытия — «только снятся»? И если человек с памятью о такой воле оказывается на свободе?

Тут начинаешь понимать зафиксированную в стихах Заботкина драму.

Как и бывает в свободном стихе, не скрепленном магией просодии, переживание удостоверяется точностью деталей. Помимо бутылки сортового портвейна это коктейль водка-мартини, пенящееся шампанское, стынувший кофе, сигаретка, выкуренная взасос или отложенная из-за стресса. Антураж международного переводчика. Круг заданий и задач: царства, приходящие в упадок, их подданные, среди разрухи готовые подняться на бунт. Еще шире... нет, выше: «законы открытого космоса». Соединение фундаментальной законности и дипломатической толерантности. ВИП-яды в лечебных дозах. ТОП-горечь в выверенных дезах.

А внизу — что?

А внизу — «суицидная заря мегаполиса». Банальщина быта, в котором тонет алгебра. И — невыносимое чувство пустоты, едва ощущаешь свободу. Невыносимость крушения небес, расколотых громом. Невыносимое ощущение «раскрепощенности общей постели». Та же свобода, но в сексуальном поле.

Кровь, закипающая от неукротимого чувства бесконечности. Притянутые к эмпирике эмпирии. Вольная русская душа, оказавшаяся в объятиях свободы.

И любовь не спасает?

Любовь выщупана на том же «нижнем» этаже. Отпадное платье. Белизна открытого горла. Ступени стыда, на которых не удержаться, потому что обледенели. Бедро к бедру. Буйство любви на пустынном пляже. Транс экстаза. Медно-рыжие пряди. Дикарка с ножом. Низ.

И верх. Середины нет. В середине — любимый пес, эпитафия которому держится на остроумной строчке: «Мы с тобой спали в одной постели». Так что не будем заикливаться на постельных грехах. Они лишь тем интересны, что сочетаются с небом, которое в проеме.

И ангелов не видать? Все ж, в отличие от православной неизъяснимости святынь, в Западной Европе и грехи переписаны, и ангелы пересчитаны. Бог-то, он, вообще говоря, чувствуется ли в стихах, рожденных «на краю», на границе той и этой ойкумены?

С Богом тут рассчитывают сыграть в пятнашки. И не испугаются! И надеются «разделить свободу». И чтобы убить в себе зверя — запустят «речитатив молитвы».

Поразительное ощущение тесноты и пустоты — разом. Реальность охлестывает, но и небо не отпускает. И кажется, что все это сон. А как спохватишься — и бутылка на месте, и кофе не остыл.

Что же он бросил там, на той стороне наличного бытия, что оставил, что забыть не может?

Ответ:

Была б у меня веревка —
К земле притянул бы я небо
Никто бы так и не понял,
Что эта веревка мне снится
Мы жили бы в облаках
Я пил бы и пил бы вволю
Осенний дождь морозящий
Забыв о брошенной боли.

Summary

NICKOLAY VEREVOCHKIN. Mammoth's Tooth. A novel.

Two doomed men met in a dead city and saving each other both have saved themselves. Because only he who is saving can be saved. To survive and to be saved is not the same when the soul is concerned. It's difficult for a person who is saving another to destroy the human being in himself. Though our times dispose to that, temptation is strong, and many have succeeded.

KAZAT AKMATOV. Forgotten Frontier Post, or Thirteen Steps of Erica Klaus. A long short story.

Erica Klaus, a young volunteer from Norway, prompted by her best inducements went to the distant Kirghiz village of Chet to teach the local children English. Very soon it turned out that the customs prevailing here definitely differ from those she had accustomed to at home and in other places she had occasion to visit.

POETRY.

Asian poetical circle of this issue is ringing with high voices of three young women-poets: GUZAL BEGIM from Tashkent, AYGERIM TADGY from Almaty and ALTINAY DZUMANAZAROVA from Bishkek. They all, though very different, belong to the same generation and are published in "DN" for the first time.

ALEXANDER DJUMAEV. "In My Dogma Both True Believer and Unbeliever Are Equal".

After the disintegration of the USSR everything is still vibrating and balancing at the post-Soviet territory. Will our peoples and cultures draw together again at a new turn of development or will Russia "cling" to the USA and Europe and we will go (or rather will be led away) to the East — to Afghanistan, Iran and Pakistan? Or maybe a multipolar picture with different vectors of movements and kind feelings will win? This is the subject of thinking of the author — the well-known scholar from Tashkent A. Djumayev.

SAODAT and MUZAFFAR OLIMOVS. Migrants in the Zone of Crisis.

One tenth of Tadjikistan's population is now working in Russia. This article gives a wide panorama of the life of Tadjik gastarbeiters, of their fight for the work and earnings in the situation of the first really deep capitalist crisis in the post-soviet countries.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2010 г.
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Нашиндекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожаеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhba/>

Сдано в набор 20.05.10. Подписано в печать 21.06.10. Формат бумаги 70 x 108 1/16. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл.кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2000 экз. Заказ 1974. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. <http://www.redstarph.ru>